

Сергей
КАЛЕДИН



ЗАПИСКИ
ГРОБОКОПАТЕЛЯ

ВАГРИУС

Сергей
КАЛЕДИН

ЗАПИСКИ
ГРОБОКОПАТЕЛЯ

Повести



ВАГРИУС МОСКВА 2001

УДК 882-32
ББК 84Р7
К 17

РЕДАКТОР СЕРИИ ЕЛЕНА ШУБИНА

ДИЗАЙН СЕРИИ Т.ГУСЕЙНОВОЙ

**В ОФОРМЛЕНИИ ПЕРЕПЛЕТА ИСПОЛЬЗОВАНА
КАРТИНА «РАЗГОВОР» СВЕТЛАНЫ ФИЛИПОВОЙ**

**ОХРАНЯЕТСЯ ЗАКОНОМ РФ
ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ.**

**ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ
ВСЕЙ КНИГИ
ИЛИ ЛЮБОЙ ЕЕ ЧАСТИ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ
БЕЗ ПИСЬМЕННОГО
РАЗРЕШЕНИЯ ИЗДАТЕЛЯ.**

**ЛЮБЫЕ ПОПЫТКИ
НАРУШЕНИЯ ЗАКОНА
БУДУТ ПРЕСЛЕДОВАТЬСЯ
В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ.**

ISBN 5-264-00715-2

© Издательство «ВАГРИУС», 2001

© С.Каледин. автор, 2001

КАК Я НАЧАЛ ВЫШИВАТЬ

ХАРАКТЕРИСТИКА

Ученика 2 класса «Б» сан-лесной школы № 5

Каледина Сергея

Каледин Сережа обучался в данной школе в течение всего второго полугодия.

За время пребывания в школе проявил себя как недисциплинированный ученик.

Способности имеет хорошие, но нет совсем никакого прилежания к учебе. письменные работы выполняет неаккуратно, не чувствует ответственности за свою работу

Любит читать книги, слушать рассказывания, увлекался вытплевыванием, игрой в шахматы, начинал вышивать, очень любит подвижные игры, но ни на чем не может долго сосредоточиться. С детьми без конца ссорится, бьет их, бывает грубым. С мнением их совсем не считается.

Часто мешал им хорошо отдыхать.

По отношению ко взрослым допускал грубость.

Сережа совершенно не владеет санитарно-гигиеническими навыками.

Учебный год закончил на «3» и «4». Дисциплина «4».

Переведен в 3-й класс.

25 мая 58 г. Воспит. Смелянская.

Значит, «начинал вышивать»...

Но так ничего хорошего и не вышил. До такой степени ничего, что в девятом классе остался на второй год, а кроме того меня вышибли из школы. Сначала было даже весело, а вскоре захотелось повеситься. Потом вешаться раздумал. Отцов брат в Моссовете устроил в экстернат, а уж потом забрали в стройбат. После армии мать, имевшая блат в Литинституте, определила меня туда на переводчика с... татарского языка. С татарским языком романа не получилось, перевелся на заочного критика, а защищался по прозе. Проза называлась «Записки гробокопателя». Таким обра-



зом, так называемая творческая жизнь началась с того, где обычно всякая жизнь заканчивается, — с кладбища.

В дальнейшем повезло — десять лет не печатали. Говорю серьезно. За эти годы осеменил все издательства и журналы страны, узнал редакционную кухню, приобрел опыт, короче, обопсовел. Была возможность писать не торопясь дальше, что хочется (все равно ведь не напечатают).

Врожденная лень помогала писать коротко, некоторая истеричность — с удовольствием переписывать по многу раз. Дело оказалось не таким уж и сложным; весь инструментарий: нетугое ухо, промытый глаз и 33 буквы алфавита. Ну, и желательно, конечно, жизненный опыт.

В пятьдесят лет обнаружил, что все написанное почти документально, практически без выдумки, все из биографии. Ну, разве малку где приврал для благозвучия.

Надеюсь, читателю будет интересно заглянуть на мою кухню — она же лаборатория писателя.

А санитарно-гигиенические навыки, с которыми у меня была напряженка в 1958 году, осваиваю и по сей день.

ТАХАНА
МЕРКАЗИТ

ИЗРАИЛЬ ПО-ДЕРЕВЕНСКИ

Давно уже чувствую, что я не москвич, хотя по рождению, происхождению, прописке таковым являюсь.

Живу большей частью в деревне, ношу ветхое, ем скромное. Понять, как люди постоянно живут, а, главное, пишут в городе, не могу даже в дурном сне.

В деревне печка потрескивает, разноцветные коты мурлычут, ходики тикают, по ночам иной раз из лесу старый беззубый кабан помой жрать приходит. Благодать!

Местная общественность даже отличила меня, возвела в ранг старшего по улице: наблюдать за содержанием помоек, собирать подати, бороться с кровососущими насекомыми — комарами.

...Возвращаюсь, значит, я из Израиля (у меня там сын живет). И, конечно, прямиком на дачу. Писать. А о чем писать? Не об Израиле же. О нем уже написано-перенаписано. И вот тут-то мама моя и помогла. Видит — чего-то сынок ее смурной бродит. Она мне и говорит: напиши-ка, ты, сыне, повесть. Хорошо, соглашаюсь, говори про что.

— Вот ты соседа своего любишь — Меркулова Владимира Ивановича.

— Любить-то люблю, но маловато мне его, на повесть не хватает.

— Маловато... А ты его в Израиль запусти и погляди, что из этого выйдет.

Поразмыслив над маминым предложением, я вдруг вспомнил, что давно собирался развенчать вздорную идею о русском якобы врожденном антисемитизме, и тут мне мой дачный сосед Владимир Иванович Меркулов (Петр Иванович Васин в повести) очень оказывается кстати. Как многие из нас, бытовой антисемит, незакоренелый, неидеологизированный, он, попав в Израиль, обнаружил, что никаких таких враждебных верований нет, а есть люди, есть ощущение человечества как общего тела. Все встало в его голове на свои места. Но, к сожалению... Что «к сожалению» — о том в повести.

Ну, перетеплился малость, что поделаешь. А с другой стороны, если как Мерцалова велела — в шортах да в майке, — уж лучше совсем без порток, чтобы прямиком в дурдом.

Так рассуждал Петр Иванович Васин, спускаясь по трапу на летное поле аэродрома Бен-Гурион. Первое, что он увидел за пределами аэродрома: пальмы натуральные, будто в Сочах. И жару увидел — марево над бетоном колыхалось, как прозрачный желей.

Одет Петр Иванович был по-солидному: черный костюм, джемпер, сорочка — с галстуком, разумеется. На голове шляпа. В одной руке плащ, в другой — портфель (пожрать на первое время, мыло, то-се...).

На транспортной карусели уже крутились оба его чемодана. Один деревянный, сработанный специально под плотницкий инструмент; второй обычный, фибровый — там инструмент электрический: лобзик, рубанок, точило...

Мартин, дурак, все смеялся, зачем ты с собой такую тяжесть прешь, там все дадут. Дадут, куда кладут! Кто ж это, интересное дело, свой инструмент чужому человеку даст? Пришлось Мартина маленько осадить: ты в своей яме сидишь и сиди, палочкой дирижерской маши, я тебя не учу. А в мое дело не суйся.

Петр Иванович подхватил чемоданы.

На специальных столах шмонали багаж. Не у всех, на выборку. К Петру Ивановичу подошла девушка, блондиночка рыжеватенькая. На левой грудке у нее табличка на прищепке, написано не русскими буквами, но и не местными крючками, а, может, по-немецки. Петр Иванович все-таки разобрал имя – Сара.

– Это ваш багаж? – по-русски, но как-то чудно спросила девушка.

– Мой, – кивнул Петр Иванович.

– Вы уже посещали Израиль?

– Первый раз, Сарочка, – улыбнулся Петр Иванович, но, видать, рановато.

– С какой целью вы предприняли свой путь?

– У меня родственница есть непосредственно, сватья мне, Ирина Васильевна Мерцалова. По всему миру поет. Ей тут у вас один еврей, муж бывший, дом подарил. Она просила меня его взглянуть. Я сам-то строитель.

– Вы читали Тору?

– Тору?.. – опешил Петр Иванович. – Это Евангелие, что ли? Читал.

– Вы посещаете синагогу?

– Зачем она мне надо? В церковь хожу иной раз... Может, вы не поняли... Я ж не в евреи приехал записываться. Я в гости. Русский я. В командировку как бы...

– Откройте ваш багаж.

Петр Иванович заволок оба чемодана на операционный стол и отомкнул деревянный.

– Зачем вам это? – строго спросила таможенница.

— Инструмент мой, — недоуменно пробормотал Петр Иванович и сразу вспотел. — Я плотник...

Таможенница не стала его слушать, подозвала уже на своем толстого дядьку, видать, начальника. Плотницким инструментом толстый остался доволен, а на электрический — привычился.

— Кто компоновал ваш багаж? — чистым русским, без примесей, спросил он. — Через посредника или лично?

— Сам собирал.

— Зачем вы везете это в Израиль?

— Ты что, издеваешься?! — Петр Иванович почувствовал острое желание слегонца захватить жида в волосатое ухо. Он полез за папиросами, наткнулся на письмо Мартина по-английски, написанное на всякий случай для израильских властей.

Таможенник заглянул в письмо.

— Мерцалова — это кто?

— Мерцалову не знаешь?! Да она же у вас тут была! Вы ей премии сами надавали!..

— Релакс, — сказала Сара. — Спокойно. Отвечайте только на вопросы.

Петр Иванович аккуратно поплевал на незажженную папиросу, замаз для верности о ладонь и сунул в карман.

— Чего вы от меня хотите, черти? — произнес он потухшим голосом и присел по-плотничьи на корточки, считая разговор законченным. Теперь ментов ихних ждать, говорить без толку. А он еще в самолете выпил на халяву — могут и в трезвиловку засунуть... Пстой, пстой... Он встал, пошарил в пиджаке и протянул толстому фотку.

— Вот она.

На зарубежной фотографии мэра Тель-Авива вручал Ирине Мерцаловой приз. Она стояла возле белого рояля. Но самое главное было на обороте: «Желаю тебе, Петя, счастья в прекрасном Израиле. Ирина».

Толстый повертел фотку, только что не понюхал, вернул ее Петру Ивановичу, прижав руку к сердцу:

– Шабат Шолом!

Наклонулось было у Петра Ивановича желание развернуться и улететь назад, благо билет на полгода безразмерный... Ладно! Он плюнул на мраморный пол, теранул по плевку черным, специально для Израиля купленным полуботинком. Будем считать типа анекдота непосредственно!

Стеклянные непрозрачные двери бесшумно открылись. Петр Иванович вышел за пределы таможенной зоны. В Израиль!

Мог ли он подумать месяц назад, что окажется вдруг на этой ихней земле обетованной?..

2

Месяц назад перед участком номер один садового товарищества «Салют» притормозил, чиркнув низко посаженным брюхом по разбитой дороге, белый «Мерседес» народной артистки бывшего Союза Ирины Васильевны Мерцаловой.

На бревнах, сваленных вдоль забора, сидел невеселый ханыга в меховой шапке с ушами и в синих милицейских галифе.

Ирина Васильевна шагнула во двор. Посреди участка возвышалось грандиозное сооружение. Строение до половины было выполнено из красного кирпича, выше – сруб. Далеко, однако, сруб не ушел: три венца ощерялись поверху мощными шкантами. Вокруг были навалены готовые к кладке бревна с выдолбленными пазами. Меж бревен блуждали куры, поклевывая опилки, нервно дергал башкой цветастый петух, недовольный появлением нового человека.

В углу, у забора, притулилась крохотная времянка, обитая драным рубероидом. На оторванной дверце холодильника «Север-6» был сервирован стол. Ирина Васильевна подошла, заглянула в кастрюлю, вилкой поддела содержимое... Это оказался разваренный бычий хвост, опутанный водорослями петрушки. Окружали кастрюлю мутные стаканы, штук пять чесночин, две полубуханки черного хлеба и несколько яиц с прилипшим сором.

Рядом со столом, на земле, убранный щепой и завивающей душистой стружкой, лежал сват Ирины Васильевны Петр Иванович Васин.

Три года назад сын Петра Ивановича Игорь женился на дочери Ирины Васильевны Наташе. Знакомство их состоялось по вызову. Игорь работал врачом на «Скорой помощи». Ложный приступ аппендицита у Наташи оказался судьбоносным, и, как результат, Петр Иванович чохом — хоть и не сразу ладом — приобрел кучу родни. Оперную певицу с мировым именем, невестку, тоже певицу, но без имени, и внучку Машку — дочь Наташи от первого брака с молодым полузнаменитым балеруном. А также назревающего в настоящий момент во чреве невестки внука, однозначно обнаруженного неопасным рентгеном. Да еще свата, Мартина, дирижера музыкального. Его, правда, Ирина Васильевна как неродного держала в черном теле — он и не высовывался.

Ирина Васильевна достала из сумочки дымчатые очки на золотой цепочке, пригляделась к свату. Лежал Петр Иванович бескровно. Она выбрала из яиц которое почище, отшелушила соломинку, расковыряла макушку и выпила.

— Курям кинь! — крикнул с бревна мужик в ушанке.

Ирина Васильевна послушно бросила скорлупу петуху под ноги и, обернувшись к ханыге, кивнула в сторону свата.

— Живой?

— Вчера освежались, — ответил тот и, помолчав, продолжил странно: — Просыпаюсь — ничего не слышу, посмотрю — ничего не вижу... Вот братан галифе подарил. Из милиции. Говорит, носи, Евгений, менты не загребнут. Слушай, у меня комбикорм для курей кончился, давай на твоей машине в Глухово сгоняем, а? Пока он спит.

Ирина Васильевна не удивилась.

— У тебя ноги есть? — ласково спросила она своим знаменитым на весь мир контральто. — Ходить умеешь?

Мужик безропотно снялся с бревна и, придерживая рукой галифе, поплелся прочь.

Ирина Васильевна поддернула на коленях тесные джинсы, склонилась над распростертым родственником и пропела ему в ухо:

— Вставать пора! Именинник! Царство небесное проспишь!

Петр Иванович зашевелился, оторвал голову от земли:

— Не понял. — И снова уронил лицо в стружку.

Ирина Васильевна мотанула вокруг шеи длинные концы шарфа и направилась к «Мерседесу».

Сват между тем поднялся. Провел расщеперенными ладонями по распавшейся густой волосне и — порядок: какой тебе пьяница-пенсионер, спортсмен на параде из пятидесятих годов. Одну за другой он принялся подымать с земли пустые бутылки — смотрел их на свет, переворачивал и снова кидал на землю. Гостью он не видел.

— Было, — убеждал он себя густым басом. — У, Женька, паразит!.. Забью, как муху на стекле!..

— С днем рождения, Петр Иванович! — укрощая голос, но все равно раскатисто приветствовала свата Ирина Васильевна.

Петр Иванович мотанул похмельной головой, пытаясь стряхнуть наваждение: к нему направлялась Ирина Васильевна Мерцалова, держа на плече большую картонную коробку.

— Помоги, — она протянула коробку свату. — Дары-подарки.

Петр Иванович озадаченно напрягся.

— Ты как тут оказалась? Ничего не случилось? Сразу говори непосредственно.

— Все в порядке. Все живы-здоровы, просто в гости к тебе. Поздравить с днем рождения.

Петр Иванович поставил глухо звякнувшую изнутри коробку на дверцу «Севера-б», силясь осмыслить ситуацию. Да — она, Мерцалова Ирина Васильевна, собственной персоной... Надо же! Год полтора морду воротила, не только зрить, слышать не хотела ни о каком Игоре, тем более Петре Ивановиче. Но и Наташка, даром что на вид фитюлька, с норовом девка оказалась. Год скрипела-терпела материно выкобенивание, а потом уперлась, и ни в какую. Это, мол, моя судьба теперь. И муж, и тесть, а для Машки он вдобавок еще и дед. Не принимаешь всех — нас с Машкой не при-

нимаешь... Смирилась Ирина Васильевна — никуда не денешься, дочь дороже. Да и то сказать: за год Машка так к новому деду прикипела — водой не разольешь. Ну, и он к ней, старый дурак, соответственно. Больно уж ласковая девчонка оказалась. «Деда, — все, — деда...» Каково родной бабке слышать такое на каждом слове? Познакомились, встретились. Раз, два... А там как-то само покатилося-поехало. Сроднились непосредственно, сами как не заметили. Своя баба оказалась Ирина Васильевна, несмотря что знаменитость, по всему миру песни распевает. Но чтоб вот так — сама, сюда к нему, на участок, — такого еще не случилось. Петр Иванович был озадачен, даже чуток растерян.

А Ирина Васильевна, словно не замечая растерянности свата, собирала уже стаканы, споласкивала их под рукомойником, ставила обратно на дверцу холодильника и безмятежно вела свой рассказ:

— ...Мотаюсь с раннего утра. Сперва в консерваторию, потом в театр...

Петр Иванович выкопал из-под ног чинарик и безуспешно пытался его запалить.

— ...в театре устроила разнос, так, для острастки, профилактически. Совсем распустились. Трудовой коллектив, трудовой коллектив!.. Я вам покажу трудовой коллектив! Демократы вшивые! Ишь ты, забастовкой они грозятся!.. Я говорю директору: забастовку объявят — в шею гони!.. Что ты никак не прикуришь? Спичку ближе поднеси. — Она надела дымчатые очки. И сразу помолодела.

— Без очков красивше, — отметил Петр Иванович, — хотя и постарше чуток. Ресницы-то у тебя! По очкам изнутри шоркают. Не приклеенные?

Ирина Васильевна засмеялась, сняла очки.

— Подергай.

— И так вижу, — кивнул Петр Иванович. — И зубы тоже хорошие, — добавил он одобрительно. — Как у Аллы Борисовны. У Пугачевой.

— Сказал! — Ирина Васильевна обиженно дернула головой, свернутая в пучок коса упала на плечо. — Алка-то какого года? Да и у нее небось искусственные. Она ж из косме-

тических лечебниц не вылезает. То жир снимать, то еще чего. Молоденького себе завела!..

— Васильевна-а! — пробасил Петр Иванович. — Аллу Борисовну не замай. Я ее уважаю.

— Виски, джин, пиво... — хмуровато перечисляла Ирина Васильевна, выставляя дары на крышку холодильника. Похоже, сильно задело ее сравнение с Пугачевой. Достала из коробки стеклянную банку, протянула хозяину. Петр Иванович подозрительно оглядел ее, поморщился.

— Это что за гады?

— Кровать очищенные, не смертельно. К пиву. Да сядь ты, не суетись. — Ирина Васильевна потянула свата за карман брюк. — Ты ж именинник.

— Какие тут именины! Стройка вконец зае... Ладно, — отрезал Петр Иванович. — Гулять так гулять! — И свернул у джина крышку. — Будешь?

— Немножко, я за рулем... Ну, ты уж совсем, будто корвалол льешь — сорок капель... Вот та-ак. Не зовет сват, думаю, надо самой нагрнуть. За три года ни разу не пригласил!..

Петр Иванович промолчал. «Не пригласил!..» — хитра баба.

— Поехали, — Петр Иванович поднял стакан. — За все хорошее... Легко пошла, мягонькая, словно мышка... Как там молодые-то, бываешь у них? Или, может, Игорь опять чего... не в строчку? — не удержал-таки себя Петр Иванович, уколол.

— Оставь, Петя, проехали уже, — с досадой махнула рукой Ирина Васильевна. Но, помолчав, тоже не удержалась: — Конечно, я-то хотела, чтоб кто-нибудь из наших — театр, музыка, балет...

— У тебя уже один балет дома был, — проворчал Петр Иванович. — Завели дома пидора, как хорошо! А нормальный мужик, значит, врач, уже не подходит, не в строчку?

— Да подходит, подходит! Не заводись, сказала же. Сам знаешь — хороший парень, зря нос воротила. Признаю. Нет, честно. Петь! Я даже не ожидала. И Наташка другая стала, не узнать. Это она ведь меня сегодня к тебе отправила. Поезжай, говорит, у деда сегодня день рождения, а

он на даче застрял. Сюда, видно, не приедет. Проведай хоть, поздравь, приятно деду будет... А, Петь! Или, может, я не ко времени? — Ирина Васильевна засмеялась, довольная.

Петр Иванович встал, освежил стаканы.

— Ну, ладно, — проговорил он растроганно. — Поехали. За сказанное!.. За тебя, за молодых! — Он выпил, постоял несколько секунд с закрытыми глазами. Поправился непосредственно. — Ты чего ж на «Мерсе»? По нашим дорогам — джип в самый раз...

— Сперли джип. Мартин сигнализацию забыл включить. Сейчас у всех угоняют. Уланову зимой остановили на шоссе, забрали машину. Чуть не замерзла старуха.

Петр Иванович выждал паузу из уважения к знаменитой балерине, кашлянул для перебивки темы.

— А у меня катер... слышала? Сожгли...

— Да я уж знаю, ребята сказали. Не повезло тебе, Петруша.

— А почему должно везти? Сам живешь, сам и вези... Главное, десять лет строил. Движок от «Волги». Авиационный охладитель масляного редуктора. Длина семь метров... Короче... Прям у пирса. Белым днем...

— Денег хотели?

Петр Иванович кивнул.

— Откуда у меня деньги? Знал бы прикуп — жил бы в Сочи! Да и были бы, не дал!

Они помолчали.

— Так один и живешь, Петь? — Ирина Васильевна решила отвлечь свата от грустной темы, но переехала неудачно, тоже на невеселую.

— Да я вроде как, Васильевна, уже приодолбился в одинаре-то. Хотя иной раз и скучновато, врать не стану... Ладно... Надо успех закрепить.

Ирина Васильевна накрыла свой стакан ладонью. Петр Иванович закрепил в одиночку, заел креветкой.

— Как Машка?

— Горюет, — вздохнула Ирина Васильевна. — Хомяк у нее сдох. Реву было...

— Давай я ей петушка молодого подарю, — предложил Петр Иванович, — кукарекать будет...

Он извлек из кастрюли хвост, раздербанил его, кости кинул кошкам, похлебку — на плиту. Пока он кухарил, Ирина Васильевна зашла внутрь недостроенного дома. Походила, вернулась.

— Небоскрёб!.. Не справится тебе, Петя, с ним. Нанял бы мужиков...

— Кого?! Женьку?.. — неожиданно разозлился Пётр Иванович. — Рвань эту. Уж лучше я Машку подожду. Она говорит, погоди, дед, я вырасту — помогать тебе буду.

— А я все понять не могу, чего ее сюда тянет?.. У нас в Пахре дача с бассейном, а ее отсюда за уши не выгатишь.

— Здесь природа живая: пруд, курочки, кот Полкан, Мурка с котятками... Андрюха вон, сторожа сын — жених, — Петр Иванович мотнул головой в сторону калитки.

Ирина Васильевна обернулась. Возле забора стояло странное существо — лысое, толстое, с полуоткрытым ртом. Андрюха блаженно улыбался, катая на ладони пингпонговый шарик, и помыкивал.

— Бабка его покойница, — продолжал Петр Иванович, помешивая варево, — на участке у себя поебень-траву выращивала. Вроде жень-шеня, только наоборот — людей изводить. Она Андрюху, бывало, на все лето из дурдома брала. Хворостиной его стегала за непослушание. А как таблетку ему забудет дать, он на нее кидается: то доской, то зубом непосредственно. Озорной.

Поспел суп-кондей. Дымящееся варево Петр Иванович разлил по кружкам. Ирина Васильевна не совсем уверенно приняла свою порцию.

— До Чикаго-то долечу после него?..

Под ногами мякнула пестрая полусиамская кошка с впальными боками. Петр Иванович мельком взглянул на нее, потом наклонился.

— Ну-ка, ну-ка, Мурка, иди сюда... Так. Точно. Оценилась утром непосредственно. Теперь все, Мура, хана тебе. В лес отвожу, на пенек ложу — разрубаю надвое: пусть бежит в разные стороны! Три раза в год! Никакого прокорма не

хватит! Да плюс подушку сегодня обгадила, сучонка! Хотя это вроде Полкан...

— А где котятка?..

— Котятка!.. Дура она тебе! Попрятала. Знает, сучка, что пока слепые, я их запросто купну.

— Топишь?!

— Мя-мя-мя, — напомнил о себе Андрюха.

— Вот тебе и «мя-мя-мя», — Петр Иванович побарабанил ложкой в кружке, попробовал, не горячо ли, и протянул Андрюхе. — Ну, ступай. Отцу привет пионерский. Кружку вернешь.

— А дом ты свой, Петя, никогда так и не достроишь, — задумчиво сказала Ирина Васильевна.

— Не дострою, — покорно согласился Петр Иванович. И подняв с земли ржавую железяку, добавил малопонятное: — Люблю металл, особенно чугуны.

— Вот что, Петр Иванович! У меня ведь к тебе разговор. — Ирина Васильевна решительно закрутила косу в пучок и воткнула в голову костяную шпильку-рогатку. — Отставь-ка ты пока свою стройку века. Тебе денег надо заработать?

— Ну, надо.

— Так вот, ты знаешь — мой первый муж, отец Наташки, был еврей...

— Знаю. Бывает.

— Странный у нас был брак, по молодости. Да и он странный был товарищ. В университет пешком ходил: туда — два часа, обратно — два. А по дороге думает — работает. И дома спросишь его что-нибудь, а он: «Не мешай, Ирочка, запомни свою мысль, я думаю». Ученый, солнечные батареи все выдумывал. А у меня, сам понимаешь, жизнь совсем другая... Развелись. Ему, правда, ходу не давали. Не печатали, на симпозиумы не пускали. Когда мы развелись, он уехал в Израиль. Больше не женился. Живет один с экономкой. Ну вот — в прошлом году была я в Израиле на гастролях, он меня нашел и, представляешь, дом подарил! Дачу на озере. Я ему говорю: мне таких подарков, Наум, не надо, я сама богатая. Хочешь, запиши

дачу на внучку. Так он взял и переписал на Машку... — Ирина Васильевна помолчала. — Надо бы поглядеть, что там. Я не знаю, попаду еще когда в Израиль... У меня гастроли на два года вперед расписаны. И жару я не переносу, да и евреев, если честно, не очень-то. Съездил бы туда ты, Петь, а?.. Взглянул, что за дом. Может, сделать что надо... И вообще там люди с хорошими руками нарасхват. Страну заодно посмотришь. Колыбель христианства... Ты в Бога-то веришь?

— Вот сподобился, — Петр Иванович достал из кармана брюк бечевку с крестиком, надел на шею. — В прошлом году вместе с Женькой крестились. С бодуна пошли... Когда отдыхаю, — он кивнул на бутылку, — снимаю, грех как-никак.

— Вот и грехи свои замолишь. В Иерусалиме. Поедешь?

Петр Иванович выкопал в щепе бычок, раскурил.

— Там же все по-еврейски говорят.

— По-русски тоже.

Петр Иванович в раздумье взял трущуюся о его штаны Мурку за голубой хвост и со словами «не мешай» кинул кошку за дрова.

— Петь! Мужик ты или нет?! — Ирина Васильевна пошла в наступление. — Съезди, помоги сватье, беспомощной, слабой женщине!.. — Она рассмеялась. — Поезжай, Петь! Отдохнешь, поглядишь, что за дом, может, и подзаработаешь... Там хорошие руки в цене.

— В пустыню загнать хочешь?..

— Да на озере у него дом! На Тивериадском озере. Где Иисус ходил. На яхте покатаешься. У Наума яхта с мотором.

— С мотором?..

— Ага. Да и мужик он хороший. Только старый очень и больной.

— Чем?

— Чем-чем. Тем самым. Только у стариков это все дольше тянется. Ладно, думай, а я разомнусь немножко.

Ирина Васильевна пошла по участку. Петр Иванович залюбовался ею. Тоже ведь под шестьдесят, а выступает —

пава. Взгляд его сполз вниз по ее статной фигуре и вдруг загнулся: за ажурным высоким башмачком что-то волочилось, как портянка из худого солдатского сапога. Пригляделся: бинт эластичный.

— Ирина Васильевна, — окликнул он, не зная, как подступиться, — на левой ноге у тебя, не споткнись... — И подхватил ведро — воды набрать якобы.

Ирина Васильевна поставила ногу на бревно, задрала брючину.

— Вот так, Петенька. Звезда, знаменитость. А ты постой тридцать лет у рояля. Булавки маленькой нет?

Петр Иванович нашел булавку и, присев на корточки, сам заколол бинт. И даже захотелось ему погладить больную ногу. Но не погладил.

Ирина Васильевна спустила брючину.

— Ну, поедешь?

Петр Иванович улыбнулся.

— А споешь мне?

— Что, сейчас?

— Непосредственно. А то ведь я здесь так тобой и не похвастался. Скажут, врет Васин с похмела...

Гори-и, гори-и... моя звезда!..

Председатель садового товарищества прервал подкормку смородины элитного сорта «Минай Хмырев» и замер с вонючим черпаком в руках.

— Это у кого ж радио в такую силу?! — крикнул он через забор сторожу.

— Васин развлекается, электру жгет. А ведь киловатт — сто двадцать целковых с августа... День рождения у него, вот и куролесит.

...Звезда-а любви... Заветная-а!..

Председатель, заслушавшись, рассеянно пролил пенный раствор себе на ноги.

— Знаешь, кто поет?

– Мерцалова, – слегка обиделся сторож. – Ирина Мерцалова. У меня с ней пластинки есть...

– погоди, дай послушать.

...Умру ли я, ты над могилою
Гори-сией, моя звезда-а!..

– В Большом театре выступает, – сказал сторож. – Мы с супругой еще на балет с ней ходили.

– На оперу, – поправил председатель задумчиво.

Накидано, насоломлено,
На меня, на атаманку, наговорено.
Что хотите, говорите – будет все по-моему,
А твои штаны в полосу оболью помоями!..

– То есть?.. – пробормотал ошалевший председатель. – В смысле? Это не радио...

Возле участка Васина стоял белоснежный «Мерседес». За забором на ошкуренных бревнах восседала не очень молодая красавица. Она пела, простирая роскошные руки к Петру Ивановичу. Тот стоял перед ней со стаканом желтого питья.

Ах тын-перетын,
Перетынина,
Любовь, как огонь,
Перекинется!

Красавица закончила свою партию. Петр Иванович плескнул из граненой бутылки в ее стакан, они чокнулись, выпили и поцеловались. И только тогда она небрежно заметила:

– Петя, к тебе гости.

Петр Иванович обернулся.

– Заходи, мужики. Сватья моя – Ирина Васильевна Мерцалова.

...И зря он сомневался насчет экипировки. Встречающие — в основном мужики — все были в черных костюмах, в шляпах. Только у евреев шляпы черные, а у Петра Ивановича — беж. И рубашки у них почему-то без галстуков. Зато волосня какая-то по бокам. Может, это пейсы и есть? Скорей всего. А у некоторых еще из-под пиджаков бахрома белая вылазит... Так. А кто ж меня встречает?.. Должны с плакатом...

— Васина кто встречает?! — гаркнул он.

Из толпы выпростался запыхавшийся лысый бородастый мужик лет сорока пяти в толстых очках. На груди у него висела табличка: «Встречаю Васина Петра Ивановича». Петр Иванович никогда еще не видел свою фамилию, написанную такими большими буквами.

— С приездом, Петр Иванович! — Лысый без разговоров перехватил у него чемодан с электричеством и, к немалому удивлению Петра Ивановича, не помер тут же на месте. Похилился малость, но попер без особой натуги.

— Может, тележку взять? — предложил Петр Иванович.

— У меня машина рядом, метров триста.

«Дает еврей!» — улыбнулся Петр Иванович, и настроение у него пошло на поправку. Он кивнул на окружающую среду:

— Тель-Авив?

— Он самый. Не люблю. Жлобский город. На Бескудниково похоже. Иерусалим увидите, это да!

В зарубежной машине, иномарке, сидела баба, помоложе лысого, но тоже в очках, правда, не таких толстых. Малость вислоногая.

— Алка, жена моя, — сказал лысый и только теперь сунул гостю вялую руку. — Миша. По-здешнему Моше. Так ведь и она по-тутошнему не Алка...

— А чего, Алла — очень красивое имя, — сказал Петр Иванович, загружая чемоданы в багажник. — Вот Пугачева Алла Борисовна...

— Петр Иванович, — перебил гостя лысый, — тут вот какие у нас осложнения, не знаю, говорила вам Ирина Васильевна, Наум бен Арон, ну, в смысле Наум Аронович, он...

болен. Сейчас ему хуже, положили в больницу. Остановитесь пока у нас, потом разберемся. Алка, падла невеселая моя, врубай, поехали! Кушать хочется.

Алка устало улыбнулась. Петр Иванович сразу просек, что балабона своего она любит.

— Курить можно?

— У нас все можно. Алка, включи мазган. Он же кондиционер.

— А разве жарко? — искренне удивился Петр Иванович. Алка взглянула на него с такой страдальческой завистью, что ему стало неловко: — Припекает вообще-то... Как в Сочах.

— Мишке вот жара хоть бы что, — вздохнула Алка, вырывая на шоссе. — А я помираю. С мая по сентябрь ни одного дождя.

— Полукровка, одно слово. Лучше скажи, пожрать пригостила? Алкоголь есть в доме?.. Молчит, зараза. Значит пусто.

Петр Иванович деликатно перевел тему:

— Природа здесь, как в Крыму, непосредственно?..

— Какое! Там рай! Алка сама из Ялты кстати, я ее там на пляже отловил...

— Ну вот же — вроде пальмы?..

— Так не росло ж ничего! Посадили. Ничего не было — каменная пустыня... На севере в Галилее получше. Алка, ты мне не ответила на поставленный вопрос: есть в доме жарка с питьем или нет?

— Я ж сутки дежурила, — уныло отозвалась Алка. — Не отвлекай меня, а то врежусь. Я работаю, понимаешь?

— Она работает, а я?

— Тоже мне работа!.. Сидит до двух в университете, с девками треплется!..

— Это — да, — скромно подтвердил Мишка, кивая лысой головой. — Очень девок люблю. И они меня, отдать должное, тоже.

— С такой-то лысиной? — усмехнулась Алка.

— Борода компенсирует. И вообще: укороти метлу, женщина, следи за базаром.

Петр Иванович приятно оторопел, уж больно лексикон знакомый. И вопросительно взглянул на Алку.

— Да не сидел он, не сидел! — засмеялась она. — Он просто книгу пишет по бандитскому языку, по жаргону.

— И, между прочим, спецкурс веду в Иерусалимском университете, прошу не забывать.

— А кому ж ты его ведешь, этот курс? — поинтересовался Петр Иванович, само собой перейдя на «ты».

— Студентам-славистам. Они русский язык всесторонне знать должны. Алка, у нас газета есть? Когда сегодня звезда взойдет?

Алка достала из бардачка газету и, не оборачиваясь, протянула мужу. Мишка зашуршал бумагой.

— Та-ак... можно не спешить. Звезда сегодня в семнадцать тридцать две. А сейчас семнадцать тридцать семь. Всё! Спасибо тебе, золотушница моя. Поясняю гостю наши туземные порядки. Вы, Петр Иванович, попали в гости к мудакам. До завтрашнего вечера все магазины закрыты. Алка, тормози у танка, я тебя убью, ты будешь моей прошедшей женой.

Действительно, на каменистом откосе, поросшем колючим кустарником, стоял крашенный суриком допотопный броневик. Рядом на камне была табличка. Алка останавливаться, разумеется, не стала.

— Памятник войне сорок восьмого года, — сказал Мишка.

— Кто победил? — поинтересовался Петр Иванович.

Мишка на секунду примолк, внимательно разглядывая гостя в зеркало заднего вида.

— Как кто? — стараясь погасить в себе удивление, ответил он. — Евреи, конечно. Арабы воевать не умеют.

— Ну, не скажи-и... Я на Кавказе служил, там грузины...

— Так то грузины, — перебил Мишка, — а здесь — арабы. Кстати, о грузинах. Вот Иосиф Виссарионович умный был человек, а дурак. В сорок седьмом году своей собственной рукой организовал государство Израиль. Вернее, не запретил, не наложил вето. Хотя евреев, как известно, люто ненавидел. Уверен был, что, разреши Израилю сегодня воз-

никнуть, завтра коалиция арабских стран объявит Израилю войну и сметет его с лица земли до основания, а затем... А перед всем миром Ёся, значит, будет интернационалист и миротворец. Не вышел фокус. Евреи размолотили арабов за себя и за того парня...

Петр Иванович понимал, конечно, — тюлю порет лысый, однако осаживать Мишку не решался, в гостях как-никак. Только морщился незаметно.

— А что если нам к арабам заехать? — вслух подумала Алка. — У них все и купим. В Вифлееме?

Петр Иванович вздрогнул.

— Да, да! — закивал в зеркале Мишка. — Туда, где Иисус родился! Сейчас там арабский город, одни арабы живут. Машину нашу камнями закидают, а нам отрежут яйца...

— Поедем в Вифлеем, — твердо сказала Алка, притормозила и стала разворачиваться.

Мишка покорно сложил руки на животе.

— Господи Иисусе, спаси, сохрани и помилуй!

Вифлеема никакого не оказалось. Был прокаленный пыльный пригород без единого кустика. Грязно-белые одинаковые двухэтажные дома с плоскими крышами. Пацаны на замызганных улицах гоняли в футбол. О стену терся осел, и минарет торчал на площади. Поехали дальше и уткнулись в некрасивую кубастую церковь.

— Храм Рождества, — сказал Мишка.

— Это... где Иисус родился? — неуверенно предположил Петр Иванович.

— Точно. Хотите, зайдем?

Храм Рождества больше был похож на крепость. Двое из трех ворот были замурованы. Алка осталась в машине. Петр Иванович с Мишкой вошли в храм.

— Шестнадцать веков церквушке, — заметил Мишка. — Остальное все покрушили, поломали, кому не лень, а этот вот не тронули почему-то.

Они подошли к алтарю. Петр Иванович, не заметив, чуть не наступил на заделанную в пол серебряную звезду. Рядом со звездой надпись. Мишка перевел: «Здесь Девочкой Марией рожден Иисус Христос».

Слева от алтаря была большая икона Богородицы. Под иконой стеклянный ящик для пожертвований. Петр Иванович достал портмоне. Засомневался: в одном отделении доллары, в другом — рубли. Мишка помог:

— Не надо доллары, рубли нормально.

Петр Иванович вытянул все русские деньги и сунул в ящик.

Машину за время их отсутствия камнями не закидали, Алку не изнасиловали. Правда, сидела она с поднятыми стеклами.

Остановились у какой-то лавчонки.

— Сидите в машине, — вдруг приказал Петр Иванович. — Я сам. Нужно будет, кликну.

Он зашел в магазин.

— Салям алейкум!

Пожилой, обычно одетый араб — костюм, рубашка, — перебирал четки. На приветствие кивнул.

— Из Москвы я, — сказал Петр Иванович. — Русский. По-есть надо. А у них шабат назревает. И выпить. — Петр Иванович выразительно пощелкал себя по горлу и пожевал вхолостую.

Араб вышел из-за стойки и повел его по магазину. Ткнул пальцем в круглые лепешки: «Пита?» Петр Иванович кивнул, ткнул пальцем в пиво: «Бира?» Опять кивнул Петр Иванович и дальше уже обходился без поводыря. Забуксовал он только на алкоголе. Араб снова пришел на помощь, стал предлагать одну бутылку за другой. На каждой из них был нарисован плод, а водку на растениях Петр Иванович отвергал в принципе. Араб наконец достал с полки большую прозрачную бутылку, на которой по-русски было написано «Водка».

— Годится, — кивнул Петр Иванович. — Две.

Расплатился он долларами и подарил арабу притаившуюся в дальнем отделении пятитысячную русскую денежку. Араб от себя кинул в пластиковый мешок Петра Ивановича зажигалку «Крикет» и пакетик орешков. Белозубо улыбнулся.

— Бай-бай.

Петр Иванович в знак дружбы пожал сморщенную коричневую лапку араба.

— Чудеса, — только и сказал Мишка, заглядывая в наби-
тую доверху суму Петра Ивановича.

Но настоящие чудеса ждали Петра Ивановича позже, уже в Иерусалиме.

Проезжая часть улицы была перегорожена.

— Ремонт? — предположил он.

— Шаба-ат, — плохо скрывая застарелое раздражение, проскрипел Мишка. — Ехать нельзя. Камнями кидать начнут.

— Арабы? — озабоченно спросил Петр Иванович.

— Да нет, евреи. Религиозники, хасиды. В шабат ничего делать нельзя. Работать нельзя. На машине ездить нельзя. По телефону нельзя. Дурь, короче. — Мишка поморщился. — Одну войну из-за этого чуть не проиграли. Воевать-то тоже нельзя. Евреи молиться ломанулись, тут арабы и налетели. Еле выкрутились. Алка, давай в объезд!

Машина развернулась.

— И давно у вас эта канитель?

— Давненько, — сказал Мишка. — Три тысячи лет. А может, и все четыре. Раньше-то от этого хоть прок был: неделю работаешь, а в субботу хочешь не хочешь отдыхаешь, сил набираешь, помолишься, подумаешь, как дальше жить...

Из машины они вылезли за километр от дома: дом был в полурелигиозном районе.

— Чего ж вы так не продумали, когда квартиру брали?.. — удивился Петр Иванович, вытягивая из багажника чемоданы.

Мишка пожал плечами:

— Так я же вам сказал: вы приехали к мудакам. Мы сперва квартиру купили, а потом только и стали соображать, что к чему. А продавать вроде жалко, принюхались...

Возле подъезда карабкалась вверх виноградная лоза с гроздьями черного винограда. Петр Иванович отщипнул — сладкий, типа нашей «Изабеллы».

Лифт не работал. Почтовые ящики висели косо. Дверка одного была оторвана.

— Лифт мог бы и работать, — пояснил Мишка, взволакивая чемодан на пятой, последний этаж. — Говорю это как профессионал — пять лет в Москве лифтером сидел в отказе. Есть шабатные лифты: кнопки не нажимаешь, лифт сам останавливается на каждом этаже. И Богу хорошо, и грыжи не заработаешь. Это в дорогих домах. А у нас евреи экономят. Выключают на шабат, и все дела.

Алка потянулась к звонку. В это время из квартиры напротив вышла дама с выводком детей. Алка резко отдернула руку от кнопки.

— Шабат шолом!

— Шабат шолом, — ответила дама без особой радости, обозревая подозрительно всю компанию. Потом, слава Богу, стала спускаться. Алка раздраженно повела головой — видеть, все это крепко ее доставало.

За дверью послышался ор.

— Мири, открой! — крикнула Алка.

Дверь распахнулась — на пороге стояла маленькая зареванная девочка.

— Мама, набей Пашку. Он меня бьет!..

Петр Иванович замешкался. Алка махнула рукой:

— Идите, ничего...

4

В большой, изуродованной боем комнате Мишка, нелепо жестикулируя, доказывал что-то огромному — за метр во семьдесят — румяному толстому балбесу в военной форме. Пилотка торчала у балбеса под погоном. Вопил он не по-русски. На просиженной до пружин зеленой тахте валялась незнакомая Петру Ивановичу винтовка, похожая на удлиненный автомат. Покрывало сбилось на каменный пол.

— Немедленно прекрати, Павел! — орал Мишка. — У нас гость из Москвы! Васин Петр Иванович!

Павел замолк. Стало тихо. Мерно гудел, поматывая зарешеченной головой, голубой вентилятор на длинной

ноге. Мири, точь-в-точь московская его внучка Машка, такая же зубастенькая, высунув от старания язык, на цыпочках подобралась к братану и со всего размаху заехала ему ногой чуть не по зубам. Пашка взвыл, кинулся за сестрой, но та уже нырнула в кухню к матери.

— Каратэ занимается, — не без гордости пояснил Мишка. — Третий год.

В комнату заглянула Алка.

— Петр Иванович, идите сюда, пускай сами разбираются.

Кухня была такая же, как у него в Чертанове. Гарнитурчик едкого для глаз салатного цвета, плита чистая, без прижарок, посуда на полочке... Но вот тараканы!.. Отдать должное, у него тараканов не было, а здесь расхаживали по-хозяйски.

Мири сидела в углу кухни на табуретке, разглядывала комикс и одновременно ошкуривала банан.

— Хочешь? — спросила она Петра Ивановича, протягивая ему фрукт. Петр Иванович отрицательно помотал головой.

— А кошки нету?

— Тут и без кошки зоопарка хватает, сами видите, — отламывая у дочери полбанана, сказала Алка.

Петр Иванович не случайно спросил про кошку. Уж больно Мири похожа была на Машку, внучку Ирины Васильевны, ну и его, выходит, непосредственно, несмотря что от первого брака. Когда Машку привозили к нему на садовый участок, обычно вечером в пятницу, Петр Иванович прекращал стройку, и они шли на пруд. Машка с разбегу кидалась в черный, неприветливый, холодный от ключей пруд, проныривала его насквозь, потом долго не отзывалась на его крики. Это была их игра в водяного, хотя каждый раз Петр Иванович был не до конца уверен, что Машка откликнется.

Потом шли домой. Петр Иванович варил суп-кондей и учил Машку кухарить: кидал в кипяток все, что было в доме и росло в огороде: вермишель, картошку, капусту, репу, морковь, свеклу, лук, чеснок, зелень, крапиву, лебеду, ябло-

ки ветхие, горсть ягод. Туда же разбивал три яйца. Варился кондей на свиной голяшке, либо на обрывке свиной же кожи, или за основу шла часть свиной башки. Короче говоря, Машка уплетала варево только так. А привезенный припас оставался почти нетронутым. Вечером Машка укладывала спать Полкана, рыжего старого кота, бессменного отца всех Муркиных детей. Петр Иванович смастерил для него тюфячок, одеялко. Машка укладывала старого кота на матрасик, покрывала попонкой и выпрастывала ему лапку поверх одеяла. Полкан вяло выбирал лапку. Машка снова выкладывала лапку поверх. Полкан опять прятал ее. Через некоторое время Машка своего добивалась — обессиленный Полкан засыпал с лапкой поверх одеяла...

— Настал черед доставать гостинцы.

Петр Иванович выложил на стол буханку бородинского, розоватое сало с прожилками, три банки килекпряного посола. От приятного занятия его отвлек непривычно крупный таракан, который, дойдя до края стола, вдруг взял и полетел. Петр Иванович возмущенно проводил его взглядом.

— Это ладно. Насекомых мы ликвидируем, — решил он вслух. — Это я умею.

— А вот она не умеет! — поспешно выпалил Мишка. — Биолог, кандидат наук!.. Мало того, пять лет уборщицей ишачила, когда в отказе сидели! Все без толку!

Алка молчала, устало сторбившись на табуретке, собираясь с силами.

— Алла, — не удержался Петр Иванович, — ты меня извини, конечно, но детей твоих, Алла, надо лупить. Посмотри на себя: заморенная, как морская свинка. Куда же это, к черту?.. Так ведь можно и ласты склеить непосредственно.

— Как-как? — оттопырил ухо Мишка, выдергивая из-за ворота майки ручку. — «Ласты склеить»? — и записал на ладони, потому что Алка успела вовремя вырвать у него журнал мод.

— Помереть, в смысле, — кивнул Петр Иванович, а про себя подумал, что если дело пустить на самотек, то позвать сегодня не придется.

— Аллочка, давай курячьи ножки в духовке зажарим. Духовка работает? — И, не дожидаясь ответа, вытянул из духовки противень. Достал ножки — он их приметил, когда водку крал в холодильник для охлаждения. Отсчитал пять штук по количеству едоков.

— Почему так мало? — озабоченно спросил Пашка, неожиданно появившись на кухне. — Я много буду кушать, тебе разве мама не говорила?

— Не успела, — сказал Петр Иванович, посыпая курей незнакомыми приправами. — Перец где?

Пашка отыскал перец.

— Ты, Павел, если в кендюх будешь харч кидать непосредственно, такой пупин отрастет, что башмаки зашнуровать не сможешь.

Но Пашка не отставал.

— Положи мне, Васин, пожалуйста, еще две ноги. Пожалуйста.

Мири оторвалась от комикса.

— Васин, не дай ему, пожалуйста, есть ноги. Он ест все наши шекели.

Петр Иванович удивился, с какой легкостью этот толстый и сопливка эта стали называть его на «ты» и «Васинным». Главное, почему-то не было обидно. Уж больно Пашка вежливо слова произносил. По-иностранному как-то, а у пигалицы вообще смешно получалось. Петр Иванович положил на противень еще одну ногу.

— Всё. И чтоб без претензий. У тебя родители не миллионеры. Машину взяли, квартиру купили, а ты еще жрать, как потерпевший. Ясно?

— Спагеттей побольше, пожалуйста, — твердил свое Пашка. — Если в шкафу не имеется, у нас есть резерв. Мама, где у нас резерв?

— Не трог мать! — Петр Иванович укоризненно покачал головой, но полпачки макарон все же дозасунул в кипящую кастрюлю. — Всё.

Но Пашка продолжал нависать над кастрюлей.

— Я смолоду тоже здоров был жрать, — сказал Петр Иванович, помешивая макароны. — В войну пацаном на-

голодался... У нас в деревне немцы стояли. Охотиться любили. А зайцев, несмотря, почему-то не ели. Повар у них Макс в нашей избе поселился. Сварит ведро супа перлового и на помойку волочит — солдаты, мол, с зайчатинной жрать отказываются. А мне мигнет. А вместо, чем на землю, мне в кастрюлю перельет. Потом узнали — за Можай Макса загнали.

— Зачем?

— За суп. За то, что меня с матерью тишком подкармливал. Не положено. А вообще у нас немцы были люди, как люди. Матушка моя, если б грамотная была, ушла бы с ними. У нас много с немцами ушло...

— Врешь! — крикнул Пашка.

— Рад бы, Павел, поднаврать малку, только это голая правда.

— Павел, немедленно извинись перед Петром Ивановичем! — взвизгнула Алка.

— Да ладно, Аллочка. Мне бы сказали, я бы тоже не поверил. Было, куда денешься. Люди как люди. А вот ваших они, несмотря, передушили сто миллионов.

— Десять...

— Какая разница, где десять, там и сто. Вот как-то понять, не знаю... — И, чтобы перебить тему, сказал Пашке: — У тебя вон синячина под глазом. Только тройным одеколоном. Слушай лес, что дубрава говорит...

Петр Иванович вскрыл банку, выложил кильки на тарелку, посыпал лучком.

— Васин, — сказал Павел, озабоченно наблюдавший за действиями гостя. — Голову у рыбы сними и хвост сними — так кушать нельзя.

— Иди-ка ты, Павел, лучше стол накрой, — отправил его Петр Иванович. — И туда и сюда — один не управлюсь.

Водка, вынутая из морозильника, текла медленно и тягуче, как жидкий кисель. Пока выпивали и закусывали, Пашка умял две куриные ноги и сейчас принаравливался к недоеденной отцовой. Наконец, выбрав удачный момент, сдернул с отцовой тарелки недоедок. Мишка в это время отвлекся на телевизор, где арабам собирались передать

Голанские высоты. Не отрываясь от экрана, он ткнул вилкой в пустую тарелку, близоруко склонился над ней и заорал:

— Пашка, сволочь, верни отцу мясо!

Петр Иванович уступил хозяину свою неначатую еще ногу.

— Кильку без водки не есть! — скомандовал он, заметив, как Павел, умявший курей, нацелился на кильку. — Не положено.

— Васин, — робко сказала Мири, — а можно мне кильку без водки?

— Возьми, — разрешил Васин. — А тебе, Павел, со всей апломбой заявляю: будешь притеснять сестру, увезу ее к себе на дачу. У меня там кот Полкан, Мурка с выводком. Умная такая кыса эта Мурка: поймает грызуна и несет свою жертву детям, а ведь ничего не кончала. Машка, внучка у меня есть. Скоро внук будет.

— А у тебя дети есть, Васин?

Петр Иванович опешил.

— Если внуки есть, стало быть, и дети есть. Игорь. Врач на «Скорой помощи». Кто заболит, любого вылечит. И еще у меня сватья, певунья знаменитая. Ох, баба! Красавица!.. Живем все дружно, только по-разному нитку сучим.

— Васин, а тебе сколько лет? — вдруг спросила Мири.

— Мне? Шестьдесят один.

— Ты тоже имеешь красивую жену?

Задумался Петр Иванович.

— Не очень-то.

— Странно, — сказала Мири как-то по-взрослому. — Ты имеешь сексопиль. Ты знаешь, что такое сексопиль?

— Мири! — одернула ее Алка. — Не приставай к человеку. — Она сунула Петру Ивановичу колесико ананаса. Но Петр Иванович ананас отверг.

— От ананаса у меня узда зажевывается. Во рту заеды получают, кислота теребит... Лучше я покурю, пожалуй.

Мири пододвинула к нему пепельницу.

— Рассказывай, пожалуйста.

— Да что рассказывать? Один я остался, как сундук с товаром. Шутка такая. В общем, это все ерунда непосредственно. Катер вот у меня сгорел — это жалко...

Поели-попили. Алка, нарушая шабат, ушла в ванную включить стиральную машину. Отключится она сама по себе, все выстирав, отжав и просушив. Так что если и навредит шабату, то самую малость.

Петр Иванович, сытый, довольный, откинулся на спинку дивана. Расстегнул рубашу.

— Мири, мне Машка заказала привезти лошадь для Барбия. Кто такой Барбия?

— Это просто, — кивнула Мири, — это мы купим. А что у тебя висит на шее? — Она пересела поближе. — Покажи, пожалуйста.

— Крест православный. Павел, включи!

Пашка, кряхтя, включил вентилятор. Но прохлады он не добавил, только месил жару. Петр Иванович снял с шеи крест.

— Каждый человек русский должен носить крест. Ты, например, Мири, человек еврейский, тебе крест тоже подходит...

— Ну, не совсем, — улыбнулся Мишка, не отрываясь от Голанских высот.

— А ты чего не разливаешь, Михаил? Ты что, с водкой «на фе»? Смотри, приходиться не будет.

— Где ручка, Пашка? — крикнул Мишка. — И бумагу.

— И еще: убить — гасить в шубу, — довольный своей нужностью, сказал Петр Иванович. — Записывай, Павел, подмгни отцу.

— Я не умею писать по-русски, — виновато опустил голову Пашка, протягивая отцу ручку. — И читать по-русски не умею. Не ругай меня, Васин, пожалуйста.

Петр Иванович опешил. Такого он не ожидал.

— Не понял. Раз просишь, ругать не буду. Но все равно — не понял. А эта, мелкая? — он кивнул на Мири.

— Я тоже не умею, — радостно отозвалась девочка, вылизывая остатки мороженого из коробки. — И читать, и писать.

Мишка разлил водку.

— Не впрягайтесь, Петр Иванович, — он чокнулся с гостем. — Мы с Алкой ничего не можем поделать. Не хотят, сволочи. Может, убить?

Петр Иванович молча выпил и крикнул как положено.

— Ну, ладно. Так на чем тормознулись? Насчет креста?

— Я вот что ношу для Бога, — Мири вытянула из-за ворота маечки серебряную шестиконечную звезду на цепочке. — Мой могоендовид. Хочешь, он будет твой? Но ты ведь не еврей, ты можешь иметь проблемы с твоим Богом...

— Бог, Мири, запомни, один на всю хиву, — наставительно сказал Петр Иванович и для серьезности разговора даже застегнул рубашку на последнюю душную пуговицу. — У одних он — Будда, у русских — Христос, у чурок — Аллах... Тут главное — вера.

Мири стянула с себя цепочку.

— На.

Петр Иванович, не ожидавший такого поворота, вопросительно взглянул на Мишку. Мишка зевнул, лениво пожал плечами. Петр Иванович прицепил могоендовид на одну бечевку с крестиком.

— Ну, тогда будем здоровы!

— Лэ хаим!

5

Суббота. Шабат в разгаре. С утра опохмелялись, но не слишком.

— А что, музей открыт сегодня? — поинтересовался Петр Иванович. — Достопримечательности непосредственно?..

— «Метро закрыто, в такси не содют...» — пропел Мишка. — Шабат во всем околотке. Алка в лаборатории сегодня дежурит. Пашка! Будешь поваром.

— Ага, — въедливо усмехнулся Петр Иванович. — В лаборатории, выходит, можно. Не возбраняется. Гляди, как интересно: то понос, то золотуха. А музей, значит, аля-улю?

По правде-то говоря, Петру Ивановичу не больно хотелось на экскурсию. Это он скорее, чтоб хозяев не обидеть.

Тем более где Христос родился, он уже видел. В Вифлееме. Где харч покупали.

— А что если Петр Иванович у нас на крыше позагора-ет? — предложил Мишка. — Павел, отнеси гостю матрац.

Настроение у Петра Ивановича было отличное. Да у него всегда было хорошее настроение, кроме когда живот с перепоя гудел или остеохондроз в руки стрелял. Или — не к столу будь сказано — в мошонку. От хребта туда боли иной раз отдавались. Но это все чепуха, так сказать непосредственно. Главное, жив. В оккупации не подох; после войны голодуха — снова живой; отец в штрафбате сгинул, матери на переезде «кукушкой» голову отсекло — обратно живой! И на зоне не пропал. Там, правда, уже взрослым был. Бога гневить не надо. Главное, чтоб из жопы пыль не шла!

— Ладно, Михаил, не мни водку! — весело призвал он хозяина. — По последней, и — на крышу!

Плюсовая крыша, залитая раскисшим от жары гудроном, была густо заставлена солнечными батареями: их-то, оказывается, и выдумал на весь Израиль, а также для всех арабов Наум Аронович, первый муж Ирины Васильевны. Ячеистые стеклянные щиты батарей усталились в синее прокаленное небо. В некоторых ячейках стеклышки были выбиты, в пробойнах валялись окурки, смятые пачки сигарет и даже пустые банки из-под пива. На веревках между солнечными батареями сушилось разноперое белье. Рядом стояло несколько стульев из белого пластика, такой же столик на невысоких ножках.

Петр Иванович, покуривая, облокотился о заграждение — обзирал субботний иерусалимский двор. Пашка притащил на крышу матрац, пепельницу и зачем-то еврейскую газету. Он стоял рядом с гостем, готовый комментировать происходящее внизу и вокруг.

— Дай я покурю из твоей сигареты, — робко попросил он, поглядывая на дверь.

Петр Иванович удивился, но оторвал у беломорины обмусоленный конец, сунул папиросу Пашке.

— А мать узнает?..

Пашка задымил отчаянно и башкой замотал: не узнает.

— Васин, а что ты ешь, чтобы от тебя не пахло с водкой? — поинтересовался он, выпуская дым колечками.

Петр Иванович пожал плечами.

— Ничего такого не ем. Закусываю активно, и все. Лучше суповину, похлебочку... Хватит тебе курить, дурака валить! — Он перегнулся через парапет. — Рассказывай, чего тут? Куда это они? В церкву, грехи замаливать? Пускай, дело хорошее.

Внизу евреи, все в черном, все как один в очках, шли в синагогу. Вернее, как объяснил Пашка, в пять синагог, помещавшихся в одном длинном, похожем на барак строении с разными входами.

— А рядом что? — Петр Иванович отобранным у Пашки окурком показал на непонятное сооружение, напоминавшее перевернутый горшок.

— Миква. Бассейн для женщин, когда водой так делают...

— Баня, что ли?

— Только без мыла. Баня для религии.

Петр Иванович вспомнил правила гигиены на Кавказе, где он служил пять лет, и, чтобы не конфузить дальше парня, остановил расспрос.

— Ясно. Почему все в очках? По религии?

— От книг зрение уменьшается.

— Отец и мать у тебя почему в очках обоя?

— Они ученые были в Москве, кандидаты наук.

— А здесь, выходит, не заладилось? — посочувствовал Петр Иванович.

— У папы с работой проблемы, — Пашка кивнул чуть виновато: — Нагрузка маленькая, и кончается грант в университете... А мама имеет работу в больнице, но — анализы: кровь, моча...

— Кал, — продолжил перечень Петр Иванович. — Выходит, глаза-то они себе еще в Москве посадили? Ясно. Ну они-то хоть ученые, а эти? — он потыкал вниз мощным прокуренным пальцем. — Чего эти вот под мышкой с собой целую библиотеку тащат? Дома почитать не могут?

— Им везде положено читать, — сказал Пашка, явно думая о другом. Чего-то он хотел, но стеснялся сказать. Потом все-таки решился: — Ты кушать не хочешь, я могу нести сюда. Скажи, Васин.

Петр Иванович рассмеялся.

— Ну и проглот ты, Пашка. Поясни мне еще чуток, и покушаем. Почему кто в шляпах, кто в тюбетейках. А вон и вовсе в малахае меховом пилит?

— Все хасиды, но все по-разному.

— А вон с мальцом в халате стеганом, этот кто?

— Опять хасид.

Петр Иванович агрессивно закричал и стряхнул пепел не в пепельницу, стоявшую на ограждении, а вниз, где возле подъезда сидели с детьми бабы в одинаковых прическах.

— Это знаешь, как называется?! Это сектанты называется! Непосредственно. У нас их на кол сажали и в избах жгли, чтоб не баловали!

Пашка, не желая включаться в компрометирующий его страну разговор, сделал вид, что углубился в газету. А может, и правда, читал.

— Чего там? — буркнул Петр Иванович, недовольный, что на старости лет сцепился с мальчишкой.

— Голаны арабам отдают, — повторил Пашка фразу, сказанную вчера отцом.

— Ну и что? На всех земли хватит, ладно уж вам чурок пригнетать. Я вон когда в армии служил, в дивизии Дзержинского, у нас поперву-то тоже над чурками мудрвали. Мне не понравилось. Пару раз в клюв кое-кому дал и прекратил безобразия. У меня с левой хорошо идет.

Пашка тяжело, как взрослый, умудренный жизнью человек, вздохнул и сложил газету.

— Васин, ты этого не поймешь. Они стрелять начнут. Или взрывы делать. Как раньше...

— Ну уж так уж?

— Васин... Когда первые поселенцы землю, как это порусски, — делали?..

— Обрабатывали, — подсказал Петр Иванович.

— ...обрабатывали, арабы стреляли по ним. Пришлось ездить в тракторах с броней. Землю делать. А когда делали землю руками, томаты и прочее так дальше — рядом был автотомат. У мужчин, у женщин, у детей даже. И старые тоже имели вооружение. Так было.

— Не врешь? — Петр Иванович почему-то безоговорочно верил этому жирному балбесу. — Ну, так нельзя. Так люди не делают. Война войной. А крестьян на поле зачем? Тут арабы не правы. За это надо наказывать.

Петр Иванович совсем не собирался вступаться за евреев, но за них вступалась деревенская его душа.

— Ладно! — оборвал он неприятную тему. — Скажи лучше, почему вот у баб лица в основном приятные, одеты чисто, даже, можно сказать, модно, а прически одинаковые? Опять религия?

— Опять, — засмеялся Пашка. Почему-то здесь, на крыше, с Петром Ивановичем он стал говорить по-русски нормально, не как вчера. — Это не прически. Это парики. Из волос.

— А под париком?

— Бритвой так делают, — Пашка погладил себя по голове.

— Брют? — ахнул Петр Иванович. — Налысо? А... мать твоя?.. Алка, в смысле, тоже?..

Пашка, заливаясь хохотом, схватился за живот.

— И нечего жрать... — недовольно пробормотал Петр Иванович, понимая, что сказал что-то не то, но не понимая — что. — Ладно, иди уж, жратву тащи...

Пашка, продолжая хохотать, мигом скатился с крыши. Но, похоже, не за одной жратвой, а чтоб и семью посмешить. Только чем вот?..

Вслед за Пашкой, который минут через пять приволок обед с ледяным пивом, показались на крыше и Мишка с Мири. Они весело лопотали что-то между собой по-ихнему и, смеясь, поглядывали на Петра Ивановича. Мири сразу бросилась к парапету, выискала внизу какую-то товарку и тоже начала лопотать ей что-то, смеясь, на своем еврейском. Петр Иванович, которого не оставляли сомнения, по-

дошел и наклонился над ее головой, пристально изучая макушку. Потом протянул руку и, погладив девочку по голове, несильно дернул ее за волосы.

— Ай! — взвизгнула Мири.

Пашка с Мишей, молча наблюдавшие за действиями Петра Ивановича, опять покатались с хохота.

— Да парики — это только у хасидок, когда они идут жениться!.. — задыхаясь и вытирая проступившие от смеха слезы, проговорил Пашка.

Посмеялись уже все вместе. Потом принялись за обед.

— Миша, объясни ты мне, Христа ради, — сказал Петр Иванович, нарезая окостеневшее в холодильнике сало. — Вот все талдычат у вас про терроризм. Да и меня вчера два часа с чемоданами шмонали. Ну, когда война, это я понимаю. А сейчас? Да и кого взрывать, скажи на милость? Этих? — Петр Иванович, брезгливо сморщившись, простер руку в сторону двора, где внизу мельтешили евреи. Он за ними опять успел понаблюдать, пока Пашка отсутствовал. Спешили они по своим делам молча, сосредоточенно, и эта их повышенная деловитость производила какое-то несерьезное впечатление. Будто придуриваются, в бирюльки играют. — Ну кому их взрывать?!

— В общем-то, да-а... — протянул Мишка. — Эти-то, может, и не очень нужны. Но...

Но что «но», так и не сказал, а принялся за курицу. Петр Иванович решил, что опять сунулся куда-то не туда, и не стал допытываться. Помолчав, он тоже выломал у холодной курицы ногу, полил ее кетчупом. Закончив с курицей, заел ее картофельной стружкой — чипсами. Допил пиво.

После обеда посидели еще, покурили. Мири опять отправилась к парапету, свесилась вниз, что-то выискивая там глазами. Но Петру Ивановичу крыша уже осточертела, а загорать — так у него и на даче загара хватает.

— Слушай, Миш, — сказал он, — если транспорт не работает, так ведь можно и пехом, по карте? А?.. Я думаю, посмотреть маршрут поточнее непосредственно и вперед с песнями... Как считаешь, Миш?..

— Попаля, попаля! — радостно завопила вдруг Мири. — Я в мальчика внизу плювала и попаля. Я несла Голе уроки, был шабат, он меня бил.

— Нормально, — недовольно сказал Петр Иванович, думая о своем. — Взрослых перебиваешь...

— Васин, ты не любишь теперь меня?

— Люблю, люблю... Понимаешь, Миша, своими силами хочу добраться до Гроба Господня. Ты мне адресок черкани по-русски и по-жид... по-еврейски. Не заплутаю. А заплутаю, прогуляюсь.

Мишка почесал лысину.

— Пашка?

— Папа, я очень устал. Оставь меня, пожалуйста, в моем покое.

Мири подняла руку как школьница.

— Можно, я с Васиным пойду в Старый Город?

— Ты?.. А почему бы и нет? — Мишка положил руку на плечо дочери. — Значит, так. Идете в Старый Город. Покажешь Гефсиманский сад. Крестный путь. Стену Плача. Повтори.

— Мы купим...

— Вы ничего не купите, — нахмурился Мишка.

Мири тоже нахмурилась и, по-отцовски повторяя интонацию, сказала мрачно:

— Мы ничего не купим. Васин будет молиться в Стену Плача...

— Не надо ему молиться в Стену Плача! — рассердился Мишка. — Просто покажешь. Потом где Иисус ходил...

— Не надо ему молиться в Стену Плача! — воскликнула Мири. — Просто покажешь! Так?

Мишка кивнул. Потом почесал свою наморщенную лбину.

— Жалко, черт... Там по пятницам монахи-францисканцы ходят по Крестному пути. К ним хорошо бы пристроиться. А может, и сегодня кого нелегкая занесет, почему нет?!

— Главное, где Иисус с мучениями ходил непосредственно, — уточнил на всякий случай Петр Иванович. — Не устанет она? А то я и в одинаре могу без проблем.

— Я сильная! — Мири сердито погрозила ему кулачком. Подпрыгнув, она повисла на самодельном турнике и, улыбаясь, стала подтягиваться на одной руке.

Петр Иванович захлопал в ладони.

— Прошу прощения.

Подозрительными, напряженными взглядами провожали Васина с Мири дворовые евреи. Очаровательный рыжий пацаненок лет пяти, еще без очков, но уже с длинными, до плеч пейсами, подбежал к Мири и что-то залопотал ей угрожающее. Мири показала ему язык. Пацан, явно озадаченный, запихал палец в нос и тоже высунул язык.

— Ми-ри-и! — донесся сверху голос Мишки.

— Чего?! — крикнул Петр Иванович, задрал голову.

— В арабском квартале поаккуратней как-нибудь!..

6

Ну и город! Что за город! Улиц не было вовсе. Они шли по проезжей части шоссе, серпантином спускавшегося с верхотуры в котловину, к центру. Правда, и машин не было. Солнце лупило в темя, но Петр Иванович предусмотрительно надел шляпу. Пальм не было, зато по обочицам росли кактусы в человеческий рост, колючие, как положено.

— Здесь можно раздеть себя, — сказала Мири, — а в Старом Городе надеть.

Петр Иванович послушно снял рубашку, сложил ее, как в прачечной, убрал в пакет. Мири тем временем достала из красного рюкзака пластмассовую бутылку с водой, принялась жадно пить, косясь на татуировку полуголого своего спутника. Потом завернула на бутылки крышку, спрятала, отобрала у Петра Ивановича пакет с рубашкой и аккуратно сложила в рюкзачок. «Бабенка маленькая», — усмехнулся Петр Иванович.

— Зачем тебе это? — она ткнула пальцем в плечо Петра Ивановича, на котором красовалась роза.

— Это когда я был в неволе, мы так делали. В тюрьме.

— Зачем ты бьешь в турме?

— Негодяя побил.

Жара была не жаркая, с ветерком, прям-таки курортная. Иерусалим раскинулся по далеким оплывающим холмам бело-розовыми домами, похожими на россыпь камешков. Дома иной раз вырастали из ущелий, возле обрывов. Петр Иванович шел легко, насвистывая романс Ирины Васильевны.

Неожиданно из-за поворота завиднелся Старый Город. В самом центре его горел на солнце золотой купол.

Петр Иванович остановился.

— Гроб Господень, — хрипло пробормотал он, засовывая незажженную папиросу в карман.

— Мечеть Омара, — бесстрастно поправила его Мири, продолжая рассматривать пронзенное сердце на другом плече. — У нас тату делают цветные. Хочешь, и тебе сделают? Я буду делать на моей ноге здесь. — Она задрала юбочку. — Посмотри. Я буду делать тут, у-у, как это по-русски?.. Батерфляй. С крылами такую... бабочку.

— Ляжку-то зачем портить? — буркнул Петр Иванович. — Где ж Гроб Господень?

— Я не знаю, — пожал плечиками Мири. — Храм царя Соломона сломал Навуходоносор... Посвистуй еще.

— Насвистелся уже. Ладно, хрен с ним, с Соломоном. Гроб Господень должен быть непосредственно...

Странное дело, они были уже недалеко от центра города, а где-то совсем рядом блеяли овцы, козел вроде замекал. Петру Ивановичу хотелось передохнуть перед дальнейшей экскурсией, но на травке не больно-то посидишь: с виду зеленая, а на самом деле — опять колючки.

— Пойдем через Львиные ворота, — сказала Мири. — Здесь наши парашютисты на танках в Старый Город поехали и катались шесть дней всю войну...

— Здесь Иисус Христос на ослиати въехал! — наобум перебил ее раздраженно Петр Иванович. — А вы его распяли непосредственно...

— Не знаю, — капризно изогнула губы Мири. — Танки катались и победили арабов...

— Чего вы все: арабы, арабы? Арабов они победили...

— Потому что евреи самые умные и самые сильные. Как ты. Ты рубашку сделай. — Она достала из рюкзака пакет.

— Самые умные, главное дело, — бурчал Петр Иванович, заправляя рубашку. — Арабы вон математику выдумали, спирт, порох...

— У тебя рубашка сзади не так. — Мири обошла его и засунула в брюки незабранный кусок. — Порох китайцы выдумали. Ты купишь мне айскрим?

— Кого?

— Лед сладкий. А себе ты купишь биру, пиво.

На площадке перед воротами с львиными мордами лежал плешивый оседланный верблюд. Он жевал вхолостую, по привычке.

— Близо не подходи, — Петр Иванович взял Мири за руку. — Оплюет.

К верблюду подошла толстая туристка с фотоаппаратом. Эх, забыл фотоаппарат попросить! Верблюд даже башки не повернул в ее сторону. Туристка забралась на него, верблюд по частям поднялся и, покачивая худыми, развалившимися в разные стороны горбами, медленно побрел по пыльной площади, ведомый под уздцы арабом в белом длинном плаще.

Петр Иванович огляделся. За столиком пили пиво мужики европейского вида в шортах, в панамках с козырьками; араб соломенной метлой шоркал улочку; две пожилые туристки с розовыми воздушными прическами тыкали пальцами в карту — выбирали маршрут.

В стороне во что-то играли чернявые парни, окруженные любопытствующими. Петр Иванович подошел поближе. Точно, в наперстки. Как в Москве грузины. Лихая бригада! Все то же — он сразу понял. Бутор гоняет наперстки, а двое подставных выигрывают без перерыва, заманивая лехов. Вот и свежий дурак попался, не турист, из местных. Выиграл раз, выиграл два, а потом стал проигрывать.

Недалеке остановился джип. Из джипа вышли два молодых парня, тоже туристического типа, тоже в шортах. Здоровые. Какие-нибудь скандинавы шведские. Неспешно поозирались, закурили и подбрели к играющим. Неужели

и эти дураки? Постояли, посмотрели. Потом один без особой поспешности заехал бутру по затылку, схватил его руку и замкнул на ней браслет. Второй браслет он даже не стал раскрывать, просто держал пустое кольцо в кулаке. Подручные бросились наутек. Полицейский лениво крикнул им вдогонку два слова, показывая на арестованного: мол, все равно же он вас заложит. Парни остановились и понуро поплелись к джипу. Туда же пошел и второй полицейский — принимать товар.

Держа в поводу бутра, полицейский ногой расшвырял наперстки, выплюнул сигарету, снял черные очки, презрительно оглядел собравшихся и процедил сквозь зубы: «Фраерин!» Потом он отомкнул бутра и без слов заехал ему по загривку, сильно, но лениво, будто паута надоедливого хлопнул. Фраер припал к земле, немного поверещал и пошел к машине своим ходом.

Петру Ивановичу стало немножко не по себе, неудобно. Ловят их для нашего же блага, а мы, как олухи, потакаем, смотрим. Правильно сказал мент: фраера.

— Мы можем идти, где Стена Плача или где ваш Иисус Христос гулял с мучениями, — перебила его невеселые мысли Мири.

— Куда ближе?

— И туда, и туда, — Мири сосала розовое прозрачное мороженое и, глядя на него снизу вверх, терпеливо ждала ответа. Петр Иванович решил посмешить девчонку, устала ведь. Присел на корточки спиной к туристам, плюнул на ладонь, ребром другой ударил по плевку — слюна метнулась вправо.

— Мы в ремеслухе так вопрос решали непосредственно. Куда летит, туда идем.

Мири вытерла задетую плевком щеку и сама повторила процедуру. Маршрут опять лег вправо.

— Стена Плача, — сказала она. — А на верблюде гулять не будешь?

Дорога к Стене Плача шла кривенькими улочками. Мимо сновали туристы, то и дело сворачивая в бесчисленные лавчонки, набитые медной посудой, побрякушками,

сластями, кожаными изделиями, преимущественно ярко-рыжими. Лавки располагались не на самих улочках, а в выдолблённых стенных нишах. Снаружи висела только мелочевка, чтоб не мешать проходу: цветастые платя, косынки, шарфы...

Продавцы зазывали покупателей, но невесело как-то зазывали, будто трудодень обрабатывали. Никакой ожидаемой Петром Ивановичем восточной активности. С чего же они тогда навар делают? Может, наркотой приторговывают?..

От запахов пряностей, приправ, маринадов, кофейного духа пощипывало ноздри. Петр Иванович старался держаться солидно, особо не балдеть. Хотя, конечно, неплохо было бы расспросить Мири, что за приправы в таком изобилии, чему соответствуют по-русски. Может, и прикупить чего-нито. Его так заинтересовали маслины всех сортов и размеров, что он остановился, забыв про сдержанность. И еще лучки маринованные, маленькие, беленькие, с ногой величиной в ушате медном у араба плавали. Тоже бы спросить рецепт, наверняка несложно. Соления у Петра Ивановича круглый год, но можно было бы разнообразить. Хохла соседа позлить, думает, один он умеет.

Народ тек тугой струей по улочкам, в основном туристы, но иногда и местные мелькали. Вон две бабы пошли в длиннополых темных платьях, головы обмотаны белыми платками, как у наших баб на сенокосе. Один турист навел было на них фотоаппарат, а они — хоп, и увернулись. И правильно, тут тебе не моды Слава Зайцев показывает, не театр.

Стену Плача сторожил солдат. Он стал проверять Петра Ивановича машинкой. Тот усмехнулся.

— Зачем вы смеетесь? — по-русски спросил солдат. — У нас есть террор.

— В кого террор? — презрительно спросил Петр Иванович и прошел вместе с Мири на территорию Стены.

Стена была с трехэтажный дом. Серая, изъеденная временем, ноздреватая, как пемза. Слева молились мужики, справа, за оградой, — женщины. По Стене расхаживали ав-

томатчики. Чуть в стороне из выкопанных котлованов высовывалась опалубка: историки искали старину.

За Стеной горел купол мечети Омара.

— Там арабский Иерусалим, — сказала Мири притомленным от затянувшегося гуляния голосом. — Я буду ждать тебя там, — она показала на крытую галереечку.

Петр Иванович подошел ближе к Стене, остановился метрах в десяти перед ней, возле ограждения. Дальше не пошел: не хотел менять шляпу на дурацкую картонную кипу-тубетейку, которую брали посетители в коробе с той стороны забора при входе. Хотя в черных шляпах вон молятся за милую душу. Но у него же не черная — беж. Может, на цвет убора тоже регламент непосредственно?

— Курить можно?! — крикнул он вдогонку Мири.

Та кивнула.

Петр Иванович закурил, облокотился на заборчик. Разный возраст стоял у Стены, кто с книжками, кто без. Но все как один подергивались верхней половиной тулова туда-сюда, вперед-назад, даже смотреть неловко. Причем песен, псалмов там, не пели. Всухомятку дергались. Ихнее дело. А у нас в церквах, когда бате руку лижут или на полу валяются грязном, или иконы всем гамузом мусолят?.. Тоже ведь не каждому по нраву. А этим вот подергаться, может, хочется, ну и пусть себе...

В Стену, на высоте человеческого роста, в трещины, выбоины вставлены были свернутые бумажки. Наверное, как у нас: за здравие, за упокой? Типа молебна. Только здесь без попа, прямо Господу Богу адресуют непосредственно. Это правильно. И короче.

Насмотревшись на Стену, Петр Иванович неспешно побрел, закинув руки за спину, в сторону Иисуса Христа. Рядом плелась Мири. Она совсем, видать, притомилась, Петр Иванович взял ее за руку.

— Поговори со мной, — попросила она. — Ты не злой?

— А зачем мне на такую хорошую девочку злиться? — Петр Иванович погладил Мири по голове. — Вспотела, — вытер ладонь о брюки. — Про что рассказать?

— Про русское.

— Про русское?..

Петр Иванович помолчал. Вспомнил, как он решил сходить на Пасху в церковь. Пришел вечером. Глазам не поверил: не церква — дискотека. В ограде парни поддатые, девки курят.. Матерятся в голос. Вдруг топот. Казаки. Бабка рядом: «Артисты приехали». А тут еще староста церковный прожектор над папертью врубил. Ну точно, киносъёмка! Одного «казака» он узнал. Парторг бывший в ДРСУ-5. Он у него песок, гравий для фундамента брал слевака, без квитанций. Батюшка вышел в облачении, говорит «казаку»: «В нашем храме сложился хороший дружный коллектив». Плюнул Петр Иванович, ушел. Даже Пасхи не дождался. Потом все переживал, что крестился у этого бати вторично, наверняка ведь мать в детстве крестила. С будна был, на гвоздях, вот и повело креститься по второму заходу...

— Значит, про русское. А ты совсем там не была, в России?

— Меня моя мама родила в Иерусалайме. Десять лет назад.

— Хм... А у меня прошлой осенью три козленочка родились непосредственно. Две ярочки и один барашек. Жили в ящике фруктовом, бумажкой я им там застлал. Когда они родились, я пленочку им с головы снял и посыпал солью...

— Зачем? — испуганно спросила Мири.

— А затем. Посыпал солью и дал матери, козе, она соль любит, она их вылизала до полного блеска. Барашка-то я на семена оставил, а ярочек...

— Где живут сейчас ярочки? — заподозрив неладное, спросила Мири и остановилась. — Ты их ешь?

Петр Иванович понял, что влип.

— Упаси Господь, — соврал он. — Подарил там... соседке одной...

— А главную козу. Маму?

— Козу продал, — с облегчением сказал Петр Иванович, ибо козу он действительно продал в Можайске. — Отвез на рынок и продал.

— Сколько шекелей ты получишь? — не унималась Мири.

— Не помню уж, когда дело-то было... Сколько стоит, столько и получил...

— Хм, — сказала Мири, но допрос закончила. — Мы — уже. Иисус здесь.

7

Пройти сегодня, в неурочный день, Крестным ходом собралась большая разномастная толпа. В основном японцы христиане. Самолет у них задержался на сутки, и они не успели к пятнице, когда отцы-францисканцы устраивают шествие по Скорбному пути. В связи с этим экскурсия начнется не от Гефсиманского сада, объяснили им, а по укороченной программе. Экскурсовод по-английски извинился перед группой за японцев, Мири переводила. Оказывается, она и по-английски секла, вот девка! Машку его, правда, тоже английскому обучали. Японцы почему-то все время виновато кланялись. Потом японцы разложили привезенный с собой металлический складной крест. Экскурсовод с неудовольствием рассматривал его.

Пройти Крестным ходом стоило десять шекелей — нашему три доллара. Петр Иванович заплатил положенное, за девочку вполонину и, покуривая, ожидал команды.

— Экскьюз ми... — обратился экскурсовод к нему, но, посмотревшись, тут же перешел на русский. — Можно вас?

Петр Иванович затушил папиросу и растерялся: все же Иисус Христос, а урны мусорной нет. Сунул окурочок Мири.

— Подержи.

Экскурсовод завел его в подсобку, где давали напрокат кресты деревянные в человеческий рост, если не больше. Петр Иванович подошел к крестам.

— Кипарис, по запаху чую.

— Кипарисовый быть не может, — возразил экскурсовод. — Кедровый, наверное, — из Ливана...

— Кедровый тяжелее был бы в два раза. Кипарис, как отдать... Вот этот, думаю, сосна. Не наша сосна, но сосна. Советую его.

Экскурсовод согласился. Петр Иванович взвалил крест на плечо.

— А японский не подошел?

Экскурсовод поморщился:

— Галантерея.

— Почему? Я смотрел — титановый, крепкий. И полегче... Больше ничего брать не будем?

— А что еще? — удивился экскурсовод.

— Ну, венец там?..

— Креста достаточно. Это ж символика!

Петр Иванович вышел из подсобки. Подскочила Мири.

— Крест руками не трог, — окоротил ее Петр Иванович. — Символ непосредственно.

— Лэдис энд джентльмен!.. — загундосил экскурсовод. — Виа Долороза...

— Не понял, — пробормотал Петр Иванович, поудобнее укладывая крест. — А я?

— Идем, идем. Я тебе все буду переводить, — дернула его за рукав Мири. — Будешь понимать.

Пошли. Той самой дорогой, которой Петр Иванович с Мири перли от Стены Плача. Только обратно, выходит. Те же лавки, та же небойкая торговля... Вот он в Баку был в командировке — насосы авиационные для МиГ-21 отработывали, — его дружок на базар водил, вот это да, базар! Каждый к себе зовет, пробуй, дорогой, на части рвут, мамой-хлебом клянутся, по рукам колотят — звон стоит...

— Стой, — сказала ему Мири. — Кури свой сигарет.

Петр Иванович опустил крест на землю, вытер пот, достал «Беломор».

— Про что говорят?

— Здесь Иисуса били, когда он шель на Гольгофу.

— Понятно, — Петр Иванович закурил, потер натруженное плечо.

Японцы во всю щелкали фотоаппаратами. Жестами они вежливо просили попозировать с крестом на плече. Петр Иванович, не вынимая папиросы изо рта, взвалил крест на плечо. Защелкали фотоаппараты. Японцы, сложив руки на груди, — как чурки молятся Аллаху — благодар-

ственно поклонивались Петру Ивановичу. Петр Иванович сдержанно кивал им: «Ничего, ничего, пожалуйста...» Сойбой он остался недоволен. Проверял со стороны: смешон он был или все нормально? Да вроде ничего.

Невдалеке старый араб жарил шашлыки, кебабы. Вентилятор раздувал угли. Готовое мясо шашлычник упаковывал в лепешки, добавляя зелень и соус. Кусок мяса съехал с шампура на землю. Араб поднял его, обдул и сунул в лепешку.

Петр Иванович протянул Мири деньги.

— Поди купи два штуки.

— Уже надо идти, — помотала головой девочка. — Потом еще будет.

Петр Иванович взвалил крест на другое плечо, сбил шляпу с головы. Шляпа укатилась к часовне, где, оказывается, бичевали Христа. С алтарной стороны светились мудреные витражи. Пока Мири догоняла шляпу, Петр Иванович хотел узнать у экскурсовода про технологию изготовления витражей, но тот уже забарабанил по-английски. Вернулась Мири, принесла шляпу. Петр Иванович повлек крест дальше.

Возле одной из четырнадцати станций — остановок на последнем мученическом пути Христа — у маленькой часовенки пацанята играли в футбол. Экскурсовод отогнал их. Группа остановилась. Петр Иванович тяжело вздохнул: и здесь они с Мири уже были.

— Здесь ваш Христос упаль первый раз, — прошептала Мири.

— Почему?

— Крест тяжелый несет. Он устал. Он идет на свою Гольгофу.

Петр Иванович невольно подергал плечом: действительно тяжело.

— А где Голгофа?

Мири пожала плечами.

— Мешаете, господа. — Экскурсовод недовольно посмотрел на них. — Вопросы потом.

Солнце уже не висело над головой, но жара и не думала униматься.

На следующей станции Петр Иванович курить уже не хотел — в горле пересохло. Он кивнул Мири: чего здесь?

— Ему пот вытерла проститутка.

— Мария Магдалина? — Петр Иванович сглотнул слюну.

— Нет, другая. Вероника. Он на Гольгофу идет.

Петр Иванович разочарованно вытер пот свободной рукой.

— Вероника какая-то... Магдалины мало им... Гольгофа где? Спроси у него, где Гольгофа?

— А зачем ты его сам не спросишь? — испуганно прошептала девочка. — Он знает русский язык. Будешь пить? — Она достала бутылку с водой.

Петр Иванович смочил волосы под шляпой, поправил крест. Затем дождался паузы.

— Извиняюсь, товарищ. Я, конечно, плохо знаю по религии. Я сам-то христианин... — В подтверждение своих слов он вытянул свободной рукой из-за ворота бечевку, на которой висел его православный крест. Рядом с крестом болтался могоид. Петр Иванович несвойственным ему суетливым движением зацепил крест обратно. — Но не в этом дело непосредственно... Я хотел...

Экскурсовод великодушно улыбнулся, вежливо оттеснил его в сторону, нажав на перекладину креста. Петра Ивановича под силой рычага как миленького развернуло от разговора к стене часовни.

— Лэдис энд джентльмен...

— Нет, ты погоди! — Петр Иванович вместе с крестом рванулся к экскурсоводу. — Я тебя только спросить хотел, где Гольгофа? А то хожу, как пешка.

Группа недовольно зашумела. Только японцы на всякий случай виновато улыбались, не забывая при этом щелкать фотоаппаратами. Экскурсовод что-то объяснял группе и, раздраженно жестикулируя, кивал в сторону Петра Ивановича.

— Ты руками-то не меси! — окрысился вдруг Петр Иванович, слизывая каплю пота, дотекшую до рта. Достали они его все — евреи эти, японцы, прочие чурки... — Я сам месить умею. Ты скажи, где гора? Гольгофа где?

— Так ведь и нет, собственно, никакой Голгофы, — меняя тон, сказал экскурсовод. — Это легенда... Символика. Может, ее и вообще не было...

— Как не было?! — опешил Петр Иванович. — И не будет?! А какого ж хера я эту балалайку таскаю, народ смешу?!

Он мощным движением плеча скинул тяжелый крест, крест с грохотом упал перед входом в монастырь.

— Поліс!.. — слышались голоса из группы. — Поліс!..

Мири дергала его за рукав.

— Васин, я боюсь! Идем домой...

Петр Иванович потянул девочку к себе. Рука его дрожала.

— Салам алейкум! — крикнул он взбудораженной толпе. — Дуй до горы непосредственно! — И наклонился к Мири. — А ты не тушуйся.

— Домой не пойдем еще, — сказал он строго, уводя Мири в глубь Старого Города. — Надо еще этот пренцидент заесть. Забыть, короче, чтоб. Где здесь кофу можно, лед твой мороженный?..

Мири нашла кофейню. Молодой красивый араб вешал на стену цветной фотопортрет мальчика лет пятнадцати. Хорошая фотка, и пацан красивый, волоокий такой, на девушку похож, только ретуши многовато...

— Он хозяин, начальник кафе, — сказала Мири, когда араб подошел, улыбаясь, к их столику.

— А мальчик кто? — Петр Иванович показал на стенку, где висела фотография.

Мири спросила.

— Его сын, — перевела она. — Он умер от пули. На территории. Это где живут арабы. Там стреляют пули. Не всегда.

— Скажи ему, что я из Москвы и все такое прочее... Соболезнование непосредственно сыну...

Мири залопотала. Араб сдержанно улыбался и благодарственно кивал, уважительно поглядывая на Петра Ивановича. Потом принес кофе, пиво, мороженое... На прощание он вымыл кофейную тоненькую чашечку, из которой пила Мири, красиво завернул ее в кулечек, перевязал лен-

точкой с бантиком и, вопросительно взглянув на Петра Ивановича, с поклоном вручил девочке.

— ...Я же ничего против вашей истории не имею, пойми меня, Михаил. Я сам за Иисуса Христа жизнь отдам непосредственно. И за Феликса Эдмундовича. В дивизии его имени даже служил... Но ты мне голову не морочь. Скажи прямо — так, мол, и так: нет Гюлгофы. И — по рукам!

Мишка почесал лысину, пошебуршил бороденку, помычал чего-то невыразительное и потянулся к бутылке.

Но Петр Иванович не мог успокоиться.

— Выходит, театр разыгрываем под открытым небом непосредственно?! Кресты таскаем?! Может, еще разок распнем кого-нито для хохмы?!

— Может, и распнем, — Мишка бубнил чего-то непонятное, Петр Иванович напрягся. — Если из цивилизации исключить художественную ложь, цивилизация рухнет...

Вот те на-а! Петр Иванович лихорадочно припоминал нужные слова.

— Это знаешь, как называется?.. Это цинизм называется!

А Мишку будто подменили. Уже не балабон лысый, а прямо лектор политграмоты на их заводе:

— Тот, кто испытал на себе цинизм в квадрате, имеет право на цинизм в третьей степени.

Матушки ты мои, совсем рехнулся парень!.. Дальше, правда, Мишка серьезности не выдержал.

— Да черт с ними, Петр Иванович! А в остальном нормально сходили?

— Нормально.

Мири достала свой кулечек с подарком. Мишка повертел чашечку.

— Плохи твои дела, Мири. Продам в гарем, когда с работы выгонят. Кстати, через год, наверное, наша лавочка закрывается в университете. Чего тогда делать? Пускай Алка, падла, тогда кормит.

— А саму Алку кто покормит? — слышалось из прихожей. Незаметно как и пришла.

— Мама! — вскричал Пашка. — Нам всем очень хочется кушать. Васин очень хочет. Он устал.

Ужинали под телевизор. Телевизор как раз показывал новости из России — заседание в Думе. В Думе шла драка. Похабная, неумелая — один козел сдернул с попа крест, другой душил немолодую тетку. Отдушив, еще потаскал за волосы.

— Глаза б не смотрели! — сердился Петр Иванович, стыдясь за отечество. — Павел, переключи лучше на баб голых!

Пашка голых баб не нашел, зато накрутил какой-то сериал типа «Богатые тоже плачут». Индейский вроде.

— Сегодня заходил ко мне в лабораторию Наум, — сказала Алла. — Ему получше. Предлагает завтра поехать на Кинерет, дом Петру Ивановичу показать. Вот ключи. Вы ежайте с утра, он тоже подьедет. Его на денек отпустят из больницы.

— Слава тебе, Господи! — воскликнул Петр Иванович. — А то знай, кресты таскаю без толку, а с человеком до сих пор не познакомился! А он мне родня непосредственно. Сват.

— Васин, возьми меня на Кинерет! — взмолился Пашка. — Я тебя очень прошу. Я прошу тебя как старшего друга и русского человека!

— Тебе же в армию завтра поутряку! — опешил Петр Иванович. — А самоволку я лично не одобряю...

— Мири, я запрещаю тебе раз и навсегда смотреть эти поганые сериалы! Сосульку эту стометровую! — Алка с хрустом выключила телевизор. — А ты, Павел, не сходи с ума!

— Мама, папа! — не отступал Пашка, решив зайти с другой стороны. — Кто поможет Васину завтра нести его тяжелые чемоданы? Больной старый человек Наум?

— Не суетись! — отрезал Петр Иванович. — Не возьму я никаких чемоданов. На кой они мне сейчас?

Мишка налил жене вина.

— Много работы было?

— Дури вашей еврейской много было! — раздраженно бросила Алка. — Шабат. Анализы-то шабат не отменяет. А к аппаратуре я прикасаться не могу. Автоклав открыть не могу, препараты из холодильника достать не могу, в гистологию

звонить не могу... Полный идиотизм. — Алка безнадежно махнула рукой. — Завязывать нужно с этим Израилем!

— Винца попей, винца, — Мишка подлил ей красненького.

— У нас начальник религиозник, не хуже этих, — объяснила Алка, кивнув на стену, за которой громко кончали субботу соседи.

— И как же ты управляешься? — спросил Петр Иванович, сочувственно взглянув на стену. Все у них не полюдски, все через хвост по-волчьи.

— Они араба на субботу берут, — пояснил Мишка. — Он за ней как привязанный ходит: она велит — он делает.

— А сегодня его понос пробрал, — рассмеялась Алка. — То и дело убегал — все анализы пропали. Пашка! Ладно, черт с тобой. Позвони своей командирше, пока спать не легла — скажи, на пару дней задержишься. Будут проблемы, дашь трубку мне. Если будут проблемы, — с нажимом добавила она и поднялась. — Устала я, как собака.

Через пять минут вопрос об увольнении Пашки на двое суток был решен положительно.

— По телефону? — не поверил Петр Иванович. — Баба — командир? Сколько же ей лет?

— Двадцать три.

Петр Иванович помотал головой, как мотал всегда, стряхивая похмелье. Но ни хмеля, ни похмелья не было, голова была ясной. Климат такой, курортный...

8

Воскресенье — рабочий день. Встали рано: Мишке в университет, Алке в больницу. Мири — в школу; Васин с Пашкой — на автовокзал. А дальше на Кинерет, то бишь на Тивериадское озеро. Куда Иордан впадает и откуда вытекает и течет дальше до самого Мертвого моря. И где Иисус Христос.

Утренние сборы шли споро, пока вдруг Пашка не забился в истерику. На этот раз, похоже, всерьез.

— Мама! — вопил он силным басом. — Подумай, мама! Твой сын Павел будет мучиться в военной тюрьме!..

Мири спрятала куда-то рожок с патронами от Пашкиной М-16. Это Пашка обнаружил, когда убирал винтовку подальше на время поездки.

— Прекрати, Павел! — Алка топнула ногой. — Мири, где патроны?

Мири молча собирала ранец.

— Мири, зачем ты это сделала?

Вместо ответа Мири по-прежнему молча принесла свиню-копилку. Дonyaшко у нее было аккуратно выбито.

— Я не дам Пашке патроны. Пусть он идет лежать в военную турму. Ты будешь отдыхать два года. Папа будет отдыхать два года. Я буду отдыхать два года. И Васин будет отдыхать.

— Миша, — простонала Алка, — не пускай ее в школу! Накапай мне кардиамин. Пашка, сейчас же верни деньги!

— Нет, мама, — твердо сказал Пашка, — эти деньги мне нужны более. Ей их не надо. Сейчас я деньги не имею.

Мишка накапал жене лекарство. И встал на страже у двери.

— Что будем делать, сволочи? — проникновенно спросила Алка.

— Я иду в свою школу, — предложила Мири, — Пашка едет с Васиным смотреть дом. Потом Пашка идет лежать в военную турму. Два года.

Пашка рыдал, но за деньгами, гад, не шел.

— Пашка, не доводи мать, — не выдержал Петр Иванович. — Отдай бабки. Не отдашь, ей-Богу врежу. Непосредственно.

Пашка взвился. От такой несправедливости у него даже слезы высохли.

— Васин! — вскричал он. — Скажи мне, Васин. Я ношу тебе холодное биру на крышу? Соленые чипсы, горячий картофель и матрас с сигаретами? Я хочу сегодня носить для тебя тяжелые чемоданы. Я прошу тебя, Васин, не ходи в мою личную жизнь!..

— Черт вас разберет... — Петр Иванович махнул рукой и побрел на кухню.

— Алка, — робко подал голос Мишка, — опоздаю, у меня сегодня кафедра.

— Мири, — тихо сказала Алка, — я могу умереть. Я не шучу. У меня нет больше сил вас разнимать.

Мири, демонстративно не слушая ее, окликнула Петра Ивановича:

— Васин! Я уезжаю с тобой в Москву. Я решила, — и, обернувшись к матери, сообщила: — Патроны в помойке.

Пашка вывалил помойное ведро на каменный пол кухни: масло от шпрот, остатки соуса, окурки, недопитый йогурт... С урчанием он извлек из общей пакости магазин с патронами и, подвывая от счастья, стал бережно омыывать его над раковиной.

— Ты забыл отдать сестре деньги. — Алка отобрала у него рожок, вытерла его вафельным полотенцем и машинально сунула в сушилку с тарелками. — Деньги верни.

Пашка побрел к себе в комнату. Мири спокойно с ранцем за плечами ждала, когда он принесет награбленное. Пересчитала деньги, открыла дверь и уже с лестничной клетки влепила Пашке ногой поддых. Пашка с воплем завалился на пол.

Петр Иванович, хотя и сидел перед открытым чемоданом, в зеркале углядел финал. И даже головой покачал.

— Надо же: третий год всего в каратэ, а наловчилась! — Он перебирал инструменты. — Рубанок взял, зензубель забыл. Ладно, прикупить придется. Ты, Павел, чем лежать, вставай помаленьку. Ехать пора. И не вой, ты свое заработал по-честному, как коммунист. В чем поедешь, в военном или гражданке? Лучше военное, у вас вояк уважают.

Пашка, кряхтя, поднялся с пола. На шею повесил солдатский жетон, где, оказывается, вся о Пашке информация: кто он, откуда, какая кровь. Такой же жетон Пашка сунул в правый башмак в специальный кармашек. Башка отлетит — по башмачному жетону найдут, нога с жетоном уйдет — на шеяке бирка. Все предусмотрено.

Воскресенье — ну, рабочий же день! — нет! Евреи опять с книгами под мышкой. Напротив автобусной остановки

группа хасидов читала в ожидании транспорта свои талмуды. Подошел специальный автобус, и без того уже набитый до отказа, местные погрузились, поехали.

— Куда опять? — Петр Иванович уныло проводил их взглядом. — Чего дома-то не сидится?

— Учиться надо, — улыбнулся Пашка. — В иешиву поехали. Они всю жизнь учатся. Это ж наши мудрецы, — он хохотнул.

— Не обоссись, — очень серьезно и задумчиво посоветовал Петр Иванович. — Куда ж их столько? Страна маленькая, я по карте глядел. Ископаемых нет. Вокруг арабы, того и гляди, война. Парни, девки под ружьем. А эти... Кто ж их кормит?

— Америка. Она богатая.

Подошел еще автобус. Оказалось — их, годится. Доехали до центрального автовокзала, пошли по подземному переходу, чтобы пересесть на загородный. В переходе Петр Иванович еще издали заметил смуглую красавицу, которая шла навстречу. Шла, не меняя курса, шла рассеяннo и устало, но одновременно и томно, не забывая ни на секунду, что она красавица. Спешивший на работу люд расступался перед нею, мужики оборачивались, бабы фыркали. Когда она прошла, обернулся и Петр Иванович. Красавица, покачивая бедрами, удалялась на длинейших ногах, воздетая дополнительно на огромные каблуки. В минимальной юбочке, грудь, конечно, большая, как здесь, на Востоке, принято, но без признаков лифчика. И с гаманком — кошельком на ремешке вокруг талии. Черные волосы распущены по спине до самой попы. Петр Иванович по мере удаления девушки все больше выкручивал голову, пока не врезался во встречного хасида. Тот уронил книгу, но ругаться не стал.

— Красавица, — пробормотал Петр Иванович, когда девушка скрылась из вида.

— Проститутка, — согласился Пашка, кусая мороженое. — Марокканка. Пятьдесят шекелей. Я у нее был. Ты хочешь, чтоб я с ней говорил для тебя? — Пашка собрался было дернуть вдогонку за девушкой, но Петр Иванович придержал его.

Автобус три часа катил меж полей. Один раз только речку переехали, выяснилось — Иордан. Иордан оказался узеньким, шустрым и коричневым на цвет. Никакой солидности в священной реке Петр Иванович не узрел. Пейзаж походил на наш среднерусский. Даже лесочки кое-где проносились мимо. Правда, приглядеться, лесочки все выровнены по струночке — посаженные лесочки. Так же пальмовые рощи: разбиты на квадраты, шашечками. Но поля-то, поля какие!.. Даже отсюда, из окна видно, как кусты ломаются от помидоров. А вот людей не видать — не шибко корячатся.

А где поля нет, бедуины скот пасут. Где пасут, там и живут — в огромных драных шатрах, похожих на залатанные солдатские палатки. Жилища необихоженные, на живую нитку. Хотя антенны телевизионные торчат над халабудами. И машины — иномарки. А рядом осел стоит, о бампер чешется. Грузовик без колес, раскуроченный вон загорает... Под него баба из таза помой выплеснула...

У самого шоссе высокий дед в белом балахоне с белой, обжартой обручем тряпицей на голове пас овец. Дед-пастух постоял, потом сел на бугорок, развернул газету. Что твой Иисус Христос. Поднял голову — и этот в очках! как сговорились! — проводил взглядом автобус и снова уткнулся в газету. Тут к шалашу их цыганскому подкатил желтый автобус, из него россыпью прыснула пацанва с яркими ранцами за плечами, как у Мири...

Да-а... виллочка оказалась, как на картинке. Маленькая, одноэтажная, ощекатуренная розовой шершавой шубой. По приметам, понятным только ему, опытному строителю, Петр Иванович, еще не заходя во двор, определил, что дом в идеальном порядке, ловить здесь нечего. Взять хотя бы оградку. Кованая, из крученого квадрата. А цоколь! Без единой выбоинки, раковины. А черепички на крыше: глянцевые, прямо пряники тульские глазированные...

Рядом с домом голубой бассейн в форме кляксы, вокруг него — гаревая площадочка, красные цветки по периметру,

качалка под голубым навесом. Столик круглый пластмассовый, креслица... Тут не заработок ему, тут санатория!.. И прекрасно это Ирина Васильевна знала. Отправила она его, выходит, погулять в Израиль на свой кошг. Мир в семье закрепить. Сделать его вечным своим должником и в себя влюбить навсегда. Ох, хитрая баба! А он и не против. Он согласен.

Пашка открыл калитку, вошли за ограду. Под каждым кустом по выжженной каменистой земле змеились мокрые шланги, из которых сочилась вода. Петр Иванович уже знал, что это не простая вода, а витаминизированная, управляемая компьютером чуть ли не по всему Израилю. Знал, но уразуметь эту фантастику не мог.

Из соседней дачи с тряпкой в руках вылезла тетка. Без парика — растрепанная, нормальная. Пашка покричал ей, тетка улыбнулась, смахнула упавшую на лицо седую прядь, помахала рукой...

— Они нам в бассейн воды сделали, — перевел Пашка. — Можно плавать.

Вошли в дом. Пашка отпер двухстворчатую дверь, на которой вместо ручки была приделана бронзовая львиная морда с кольцом в зубах, включил свет в передней. Потом — в салоне. Раздраил окна. Одно — огромное — выходило на Тивериадское озеро. По озеру порхали разноцветные бабочки — молодняк резвился на серфингах. Барышня без лифчика неслась вдоль берега на водных лыжах. Все, как у нас на Икшинском водохранилище. Только кроме лифчика, ну, в смысле, с лифчиком. Картинка была так хороша, что даже сожженный катер, пришедший на память, ее не испортил.

Между ног белого рояля в корзине на искусственных яйцах сидела искусственная утка. На единственной без окон стене висел портрет Ирины Васильевны — молодой еще, в полный рост. А напротив, в проеме между окон, — детская картинка в скромной рамочке: кривобочий гусь тащит мужика носатого с книгой под мышкой по желтому небу. Ущемил его клювом за ворот пиджака и прет по небесам. Машкина, скорей всего, работа. Та-

кие точно рисовала она, когда шел дождь и нечем было заняться.

Рядом с музыкальным агрегатом — полочка, на полочке пластинки. Петр Иванович вытянул одну Мерцалова. Все пластинки с Мерцаловой. Ишь ты, как ее еврей любит.

Тараканов он не обнаружил нигде. Почему-то именно они более всего беспокоили Петра Ивановича. Не мог он сопоставить вальяжную, белую, в драгоценностях Ирину Васильевну и здоровую усатую пакость, которая вдобавок еще и летает.

Пашка уже разделся и, тряся жирами, искал плавки. Плавки он, как выяснилось, забыл, а потому затрусил в бассейн в белых растянутых трусах.

— Слышь, Павел! — крикнул Петр Иванович. — У вас в религии жертвоприношения есть?

— Раньше были. Авраам сына своего хотел принести...

— Принес?

— Бог передумал, сказал: не надо сына.

— Ясно. Я вот что подумал: может, Наум ей как приношение дом отписал?

Пашка согнулся на краю бассейна, намереваясь нырнуть, солдатский жетон на цепуре, раскачиваясь, хлопал его по сиське.

— Ох, Пашка, ты и жирен! К Рождеству колоть будем...

— Я пойду скоро жир срезать.

— Ты что! Я пошутил! Сойдет со временем, рассосется...

— Он ее любит! — крикнул Пашка. — Он скоро умрет! — и нырнул в бассейн. Вынырнул. — Она будет сюда приезжать! И ты будешь сюда приезжать! Васин, принеси, пожалуйста, покушать.

Петр Иванович взял из холодильника ледяную биру для себя, Пашке воду коричневую, паштетик открыл индюшинный, сухарики достал, стружку эту ихнюю — чипсы, и маслинку подцепил к пивку. Благодать!..

И пошел купаться.

Он долго сидел на дне бассейна, задержав дыхание, сколько мог — охолождался. Когда воздух кончился, вы-

нырнул, поплавал, снова нырнул. А когда вынырнул окончательно и открыл глаза, увидел, что от дома к бассейну мелкими шажками, опираясь на палочку, медленно движется крохотный старикан — ну, прямо гном из Машкиной сказки...

— Приветствую! — сказал Петр Иванович и полез на берег.

— Купайтесь, купайтесь на здоровье! — Наум Аронович замахал на него палкой, загоняя обратно в воду. — Мы ж никуда не спешим...

Но Петр Иванович вылез-таки и, слегка стряхнувшись, направился к старичку здороваться. Тот протянул руку.

— С приездом вас, Петр Иванович! Рад познакомиться. Вы уж извините, что так сразу: у Ирочки все в порядке?

— Нормально, Наум Аронович.

— Ну, и слава Богу. Присаживайтесь...

Они сидели с Наумом Ароновичем на краю голубого бассейна, отделанного мрамором, и вели неспешную беседу — два солидных, умудренных жизнью человека. Пашка все еще бултыхался в бассейне. Наум Аронович уселся под грибом от солнца в удобном пластмассовом белом креслице, Петр Иванович расположился рядом, только не под грибом, а на солнышке. На столике перед ними стояло пиво, орешки, еще какая-то дребедень. Как в кино. Благодарить!..

— ...Ну, какой я ей был муж, Петр Иванович, посудите сами?.. — продолжал Наум Аронович свой рассказ об их с Ириной Васильевной молодости.

Хороший старикан, это Петр Иванович сразу усек. А что разоткровенничался так сразу с незнакомым человеком, тоже понятно — из Москвы человек, от Ирочки, с кем еще поделиться? Не с этими же, как их... хасидами. Да и осталось уж ему, видно, недолго...

— Я Ирочку-то практически и не видел: днем на работе, по ночам все сижу печатаю. Почерк у меня ужасный, машинистки не разбирали, приходилось самому, — пояснил Наум Аронович. — Допечатался до того, что пальцы стер до крови. Ходили с Ирочкой в «Галантерею», наперсток

покупали. В наперстке и печатал. Какая ж это семейная жизнь?.. — Старик вздохнул. — А потом она на гастроли уезжать стала...

Помолчали.

— А как у Ирочки с ногами? Когда сюда приезжала, я заметил, бинтует?

— Бинтует, — подтвердил Петр Иванович. — На концертах стоять тяжело... Но не смертельно.

— Это у нее давно, еще после родов... А Наташенька, я слышал, второго ребенка ждет?.. Я еще и первого-то не видел, Машеньку... Как она?

— Красивая, — пробасил Петр Иванович. — В бабу. И на пацана похожа. Хомяк вот у нее помер. Я ей петуха подарю, правда. Достойного, не клювачего...

— Значит, в доме все более или менее?

— Нормально... А ведь мы с вами тоже, выходит, родня, Наум Аронович? — Петр Иванович подмигнул старику. — Родственники непосредственно...

— Самые натуральные, — кивнул тот. — Сваты, — он прикрыл глаза. Долгая дорога сюда сильно, видать, его утомила. Хоть и ехал он не в автобусе, как они, а в такси. Прямо из больницы. Самое главное — сидела в нем страшная болезнь, о которой он все знал по ихним израильским врачебным правилам. Скоро он, по всему видать, и правда того... С крыльца двинется... Да...

Петр Иванович поднялся, постоял, выпил пива.

— Пойти, что ли, еще купнуться?.. — подумал он вслух негромко.

Но Наум Аронович услышал.

— Конечно, купайтесь, не обращайтесь на меня никакого внимания! — сказал он, открывая глаза. — Мне так приятно смотреть на вас с Павликом...

Петр Иванович поставил стакан на столик и присоединился к Павлу, который так и не вылезал из бассейна. Не вылез, и когда Петр Иванович, всласть накупавшись уже по второму разу, стал выбираться на берег, чтобы опять присоединиться к Науму Ароновичу. Неудобно все-таки.

Но тут он неожиданно столкнулся нос к носу с павлином, невесть откуда возникшим.

— Цып-цып... — Петр Иванович протянул нерусской куре сложенную в щепоть мокрую ладонь.

Павлин закричал благим матом, с негодованием отвергая такое обращение, и с легким шелковистым треском распустил хвост опахалом. Петр Иванович испуганно отдернул руку.

Старик в кресле согнулся пополам.

— Наум Аронович! — заорал Петр Иванович. — Плохо тебе? Лекарство?

Наум Аронович распрямылся, лицо его было в слезах.

— Смешно, не могу!.. — дохохатывал он, по-стариковски мешая смех с кашлем.

— Ну ты, Ароньч, ей-Богу.. — Одним махом выдохнув испуг, Петр Иванович подошел к столику и налил себе ледяного пива. — Напугал.

— Вот так бы и помереть от смеха, — сказал старик. — Как вы говорите, непосредственно. Это же счастье.

Павлин тем временем наорался и важно отступил к забору, в колючие кусты. Петр Иванович за ним — посмотреть, чего у него там, гнездо? Гнезда не было. Павлин не торопясь сквозь решетку пролез на соседний участок, оставив на земле нежное волнистое перо. Петр Иванович подобрал его...

Петр Иванович стоял со стаканом ледяного пива в руке на краю голубого бассейна. Солнце палило вовсю, на небе не было ни облачка, вдали виднелся Кинерет. Пол-Евангелия, объяснили Петру Ивановичу, провел там Иисус Христос...

— Хорошо здесь, — сказал он раздумчиво. — Лучше всякого Крыма.

— Да, это так, — откликнулся Наум Аронович. Он все сидел в своем креслице, ковырял палочкой кирпичный песок. — Мы с Ирочкой и отдыхали-то один-единственный раз вместе в Пицунде, а я весь отпуск только и думал, как бы поработать... Так уж получилось, вечно времени не хва-

тало. Так вот, были мы в Пицунде. Тридцать пять лет назад... Да, тридцать пять. Представляете себе Ирочку?

— Тут и представлять нечего, хм, — сказал Петр Иванович.

— ...И вот я ее спрашиваю, чего б ты, Ирочка, хотела? Дом, говорит, на море и яхту. А ты, думал, мороженое? И смеется. Вот, через тридцать пять лет и купил ей дом и яхту...

— С мотором? — с повышенным интересом спросил Петр Иванович.

— Разумеется.

— Дизель?

— Этого я вам не могу сказать... Да сами все увидите. Ключи у вас. Яхта там... — Он указал на озеро ветхой незагорелой рукой.

— А у меня катер бандиты сожгли, — вздохнул Петр Иванович. — Узнаю кто, персонально, — а уж я узнаю! — бить буду беспощадно. Око за око!..

— А зуб за зуб?.. — тихо продолжил Наум Аронович. — А знаете ли вы, Петр Иванович, что это значит? Этим законом Моисей много тысяч лет назад хотел освободить людей от мести несправедливой. Ведь за обиду тогда убивали. Вот он и решил, что, грубо говоря, за выбитый зуб обидчик отвечает только одним выбитым зубом. Это — справедливость. За два — двумя. Не более того. Это потом уж люди из формулы Моисея закон мести выдумали. Так им удобнее кажется. А катер вы себе новый купите, Петр Иванович.

— Ароныч! Извини, конечно, что я так называю...

— Да не волнуйтесь вы, Петр Иванович, называйте, как нравится. Меня тридцать лет никто не называл по отчеству... Соскучился.

— Вот ты говоришь — новый! — усмехнулся Петр Иванович. — Это нереальное явление. Я ж его десять лет строил сам. Своими руками, понимаешь. А купить?.. На какие шиши?

— Я думаю, вы здесь можете неплохо заработать.

— Ароныч, — Петр Иванович посмотрел на старика, как на слабоумного. — Ну у кого я тут заработаю? Ирина Васи-

льевна говорит: может, дом надо поправить... Починить чего. А дом у тебя с иголки. И яхта небось тоже в ремонте не нуждается. Точно знаю: новая.

— Новая, — виновато кивнул Наум Аронович.

Пашка выбрался наконец из бассейна, погонялся за павлином, из любопытства опять припилившего с соседнего участка. Павлин с кудахтаньем бегал от него, но два пера Пашка из павлиньего хвоста изъял.

— Павлик, — сказал Наум Аронович, — ты, наверное, меня так и не послушался: не учишь арабский язык?

— Наум, ну... — Пашка переминался с ноги на ногу, теребя павлиньи перья.

— Перья не мни, — проворчал Петр Иванович, — поставь в стакан на рояле. И русский не учит, Ароныч.

— Я английский знаю и французский, — вяло отбредивался Пашка..

— А надо еще обязательно знать арабский. Ты же израильянин. Иначе мира у нас с ними никогда не будет. Ладно, Петр Иванович, не будем его мучить, он мальчик способный, только... вот ленив немножко. А впрочем, все будет у него хорошо. Он добрый мальчик.

Пашка прошлепал в дом.

— Павлик! — слабым голосом крикнул вдогонку Наум Аронович. — Принеси, пожалуйста, телефон. И коньяк в шкафу. Пиво-то мне нельзя, — пояснил он Петру Ивановичу. И, помолчав, добавил: — Так вот. Работу я вам найду. Кругом виллы. Соседи то и дело спрашивают, нет ли хороших строителей.

— Во! Это то самое!.. — воскликнул Петр Иванович. — В точку, Ароныч.

— Я вас порекомендую таким людям, которые говорят по-русски. Чтобы без сложностей. Но об одном прошу: жить только тут, в этом доме. Мне тогда будет казаться, что вроде Ирочка здесь... — Старик как-то замаялся, снял очки, протер их... — Я прошу вас, Петр Иванович...

— Как скажешь, Ароныч, так и будет, — присевшим голосом пробормотал Петр Иванович. Впервые в жизни видел он человека, который всю жизнь любил одну женщину. —

Чего ж ты ее сюда не вывез, повторно с ней не сочетался, Ароныч? Может, я не в строчку, тогда не говори... Не оби-
дюсь.

— Ну куда ее сюда, Петр Иванович? Во-первых, она ев-
реев не очень любит, это раз. Я, кстати, тоже. Во-вторых,
она... Она же роскошная богемная женщина. Ей нужен
шум, блеск, цветы, шампанское!.. Это не причуда ее! Это
огромный компонент работы художника...

— Она же вроде не рисует?

— Я в широком смысле слова... — Наум Аронович вино-
вато кашлянул. — Здесь ей, к сожалению, делать было бы
ничего...

Пашка принес бутылку коньяка и радиотелефон. Наум
Аронович налил себе на доньшко и основательно Петру
Ивановичу.

— А я? — спросил Пашка.

— Виноват, — сказал старик и плеснул Пашке. — Будьте
здоровы, друзья мои!

Вопрос о трудоустройстве Петра Ивановича решился в
момент. Наум Аронович позвонил соседям. Двое из окрест-
ных хозяев ждали его хоть с завтрашнего дня. Наум Ароно-
вич говорил с соседями на иврите, потом с Пашкой пере-
бросился парой фраз, тоже на иврите.

Издали доносились тихие ясные удары колокола.

— Это в Капернауме, — сухим пальцем медленно указал
себе за спину Наум Аронович. — По преданию, Христос пе-
реселился сюда из Назарета и совершил множество чудес...
И апостол Петр там жил, — добавил он, улыбаясь. — Гово-
рят.

— Ароныч! Извини, я вот что хочу спросить. Что вы
здесь так религии привержены? Даже жениться еврей на
нееврейке не может...

— Может... — пробурчал Пашка. — Только на Кипр надо
ехать регистрироваться.

— Во! На Кипр регистрироваться!.. А если я здесь
хочу — с друганами, с семьей, с соседями?..

— В общем-то, если говорить начистоту, — тихо сказал
Наум Аронович, — религия иудейская не сахар. И ханжес-

кая в чем-то, подчас и жестокая без особой необходимости... Самое главное, не дает надежды на загробную жизнь. Грехи не прощает. Не дает возможности их отмолить... А раз так, то каждый шаг человека от рождения до смерти строго регламентирован. Все должно быть по правилам. А правил этих около тысячи. Вот правоверный еврей и тратит жизнь на то, чтобы неукоснительно следовать этим правилам. Ну, а когда человек живет по жестким правилам, то свободомыслие, творчество из его духовного рациона исключаются по определению. Конечно, я утрирую, но в принципе это так... Христианство, конечно, посимпатичнее, помягче, что ли, почеловечнее. Там и грехи отмолить разрешается, и в рай попасть, — он усмехнулся. — При хорошем поведении...

Петр Иванович понял, что Наум, говоря это, думает о себе.

— Да-да. А с другой стороны, Петр Иванович, именно эта тяжелая религия, иудаизм, заключенная в Библии, и объединяла всех евреев три тысячи лет — пока их гоняли с места на место. Да и государства Израиль не было бы... Только благодаря религии, Библии и древнему еврейскому языку ивриту и держится Израиль... Вы же видите: кого здесь только нет — марокканцы, европейцы... Негры тоже — евреи. И ничего общего: ни традиций, ни истории, ни уклада жизни — ничего... Религия, Тора и этот древний язык. Как обручи на бочке держат...

— Клепки, — подсказал Петр Иванович. — Вот и у нас сейчас так. Социализм-коммунизм отменили — пустота. Начали везде религию совать!..

— Вот в том-то и дело... — Наум Аронович устало прикрыл глаза. — Хотя Израиль, который мы имеем сейчас, — это, конечно, не совсем то, что хотелось бы, — Наум Аронович опять открыл глаза, печально посмотрел на Петра Ивановича. — Если иронизировать по этому поводу, то можно так сформулировать: Израиль создали умные евреи для глупых евреев... Сейчас, конечно, религия наша в определенной степени тормозит прогресс. Надеюсь, в следующем тысячелетии иудаизм подредактируют. Павлик до это-

го доживет. Если только так много есть не будет... А теперь, друзья, давайте-ка выпьем немножко, и я тронусь. Поеду малой скоростью домой, в больницу к себе. Паша, дружочек, вызови-ка мне такси...

— Плохо тебе, Ароныч?

— Наоборот, хорошо. Просто старый я. И больной...

Пришло такси. Петр Иванович с Пашкой проводили старика до машины. Наум Аронович шел медленно, приподняв ногу. А когда стал садиться в машину, совсем беда — никак не мог затащить ногу внутрь.

— Ты не болей, Ароныч, — Петр Иванович несильно пожал ему руку. — Глядишь, дети захотят приехать. Машка... Пацан народится. Я ведь говорил тебе, у Наташи мальчик будет — рентген определил. Соберутся да приедут.

— Был бы счастлив...

Водитель завел мотор.

— Ароныч! У тебя там напротив Ирины Васильевны картинка висит, детская. Интересно, не Машкина?

Наум Аронович улыбнулся.

— Нет. Это Шагал. Художник.

Такси уехало. Стало грустновато. Ясно почему: дед болел крепко. Недолго ему...

— Я их откомандирую! — решительно заявил Петр Иванович. — Как миленькие приедут!

Снова послышался колокольный звон, но уже с другой стороны.

— Где Магдалина, звонят, — сказал Пашка. — Васин, ты спагетти хочешь? С тертым сыром?

— Как ее зовут? — невпопад спросил Петр Иванович.

— Кого? Магдалину? Мария.

— Да нет, эту... На автовокзале?

— Проститутку? Шуламит.

— А сколько ей лет?

Пашка пожал плечами.

— Двадцать...

Петр Иванович поскреб затылок.

— Маловато... Слушай, Пашк, а... постарше нельзя, лет под сорок?

Пашка задумался, сморщил лоб.

— Мне кажется, такие уже не работают.

По дороге в дом Петр Иванович прихватил со столика бутылку коньяка. Пашка взялся варить макароны. Переверсившись через подоконник, Петр Иванович глядел вдаль. На Тивериадское озеро. Никто уже не катался на досках. Пусто. Самое время Иисусу с учениками рыбу удить...

Справа от окна висел оранжевый живой апельсин. Петр Иванович, не отрывая взгляда от божественного озера, хлебнул коньяку, сорвал апельсин и, не очищая его, выкусил горбушку вместе с кожурой. Апельсин оказался полулимоном и с коньяком сочетался еще лучше.

— Слышь, Павел! Покупались бы с барышнями... Шашлычки, то-се... На яхте можно покататься... А, Пашк?! Взять барышень и на шабат сюда. В шабат, я так понимаю, мне работать не дадут, где халтура?

Пашка усердно кивал башкой: ни в коем случае нельзя в шабат работать. Хитрован!

— Вот и я говорю: взять на выходные барышень. Харч, выпивка у вас дешево. Пивко, кстати, у Наума в заначке есть. Значит, харч да дорога?

— Еще платить надо, — потупив глаза, сказал Пашка.

— Хм, — Петр Иванович почесал затылок. — А может, они нам скостят? Тем более я постарше хочу, а ты солдат. Тебе сбавка официальная положена... Ладно, поглядим, это я так, предположительно. Уж больно здесь благодать стоит...

10

Автобус катил обратно в Иерусалим. Петр Иванович прикидывал в уме дела: во-первых, забрать инструмент, барахло свое, раз шабашка долгая предполагается. Мишку с Алкой поблагодарить, выпить на дорожку. И тараканов обещал травануть. Обязательно! Девочке Мири сказать пару слов, напомнить про лошадь для Барбия. Кто этот Барбий, так и не узнал.

В автобусе Петр Иванович занял любимое место — переднее. Сбоку прикорнул Пашка. Петр Иванович вынул из кармана завернутую в газету банку пива — холодное! И еще достал маленького подлещика, тоже в газетке, но уже не в еврейской, а в «Московском комсомольце».

Над дорогой висела арбузная долька месяца. Не по-нашему вертикально, а лодочкой. И звезды низко над самой крышей бежали. Прохладный автобус бесшумно неся по ночному остывающему Израилю.

Господи, Боже ты мой!.. Всю-то жизнь твердили ему: жида, жида... Стращали Израилем этим, евреями-отравителями. Он и зубы-то, коренники, из-за этого потерял: не ходил лечить, отравы боялся. А выходит, все наврали, коммуняки паскудные! Когда ж им, тварям, конец-то придет? Своей бы рукой удавку намылил... Он посмотрел на Пашку — не догадался ли тот, о чем он думает, но Пашка тихонько посапывал. Петр Иванович сбавил душевные обороты. Вот, ей-Богу, родится у Наташи сын, Наумом велю назвать! А как же еще! Не послушают? Убедю. Скажу, ехайте в Израиль к деду своему Науму, пока он еще с крыльца не двинулся. Поглядите, потолкуйте с ним, на страну полюбопытствуйте! А уж потом решайте, как дите назвать, если у вас совесть есть!..

Автобус неся в темноте. Вдруг справа от шоссе замечались спаренные фонарики... Ближе подъехали — антилопы-газели за сеточной изгородью. Глаза ихние так светятся.

На одной из остановок в автобус вошла молодая красивая арабка в белом платке, в длинной одежде, как положено. На руках у нее был ребеночек, завернутый в легкое одеяльце. Она села за спиной водителя — рядом с Петром Ивановичем, через проход. Петр Иванович растолкал Пашку.

— Поинтересуйся, чего она так поздно? Может, ребеночек заболел?

Пашка вяло спросил: девочка у нее заболела, а машина сломалась.

— Бог даст, оклемается. У вас тут с вашей лечебой толком и не помрешь.

Ребенок в кульке у матери негромко поскуливал. Та стала легонько укачивать его, подмурлыкивая песенку. У Петра Ивановича повлажнели глаза. От чувств, конечно, да и коньячок свое оказал — добавляет доброты, ясное дело, непосредственно.

Пробил рыбий час. Петр Иванович укрыл газетой колени и аккуратно, чтобы шуршать потише, извлек рыбку из «Московского комсомольца». Подлещик лежал на фотографии министра. Тот развалился в кресле, а холуй в мундире, три звезды, полковник, надевал ему на ножку бареточку. Петр Иванович поспешно передвинул подлещика на лицо министра, чтобы, не дай Бог, кто из окружающих не узрел позор его родины. Потом вздохнул и стал безжалостно обдирать рыбку. Отодрал ребра, вытянул из брюшка икру с пузырьем. Самые вкусные кусочки со спины протянул Пашке. Пашка, не открывая глаз, принял подношение и стал мерно жевать. Два аккуратненьких кусочка Петр Иванович протянул арабке. Та улыбнулась и помотала отрицательно головой.

Мирное занятие по расчленению рыбки прервал какой-то глухой ропот. Петр Иванович поднял голову, обернулся. Ворчали пассажиры сзади, демонстративно зажимая носы.

— Чего они? — Петр Иванович толкнул Пашку в мягкий бок.

— Рыбой им пахнет. Ругаются.

— Ну, рыбой! — с нажимом сказал Петр Иванович. — Не говном же!

Ропот пассажиров волной пробежал вперед и достиг водителя. Он обернулся к Петру Ивановичу и что-то сказал.

— Просит не есть рыбу, если можно терпеть, — перевел Пашка с закрытыми по-прежнему глазами.

— А по закону я могу есть воблу или не могу?

— По закону можно, но он просит.

— Если просит, ладно, потерпим, — Петр Иванович завернул разделанного подлещика в газету.

Женщина с ребенком молчала, убаюкала своего. Песенку спела и — отключился малой. Везде они одинаковы.

И матеря, и дети. Взять вон Машку и Мири — сестренки тоже...

— Скажи, чтоб не орали — дитя разбудят!

Пашка пробормотал просьбу назад. Остатки шума смолкли. Черт с ними! Может, правда, по природе рыбный дух не переносят?

Автобус уже крутился в центре Иерусалима.

— Тахана мерказит! — наконец объявил в микрофон водитель. Центральный автовокзал.

Пашка встрепенулся, зевнул. Пассажиры ожили. Автобус зарулил в свою нишу, спустил пар — дверь медленно отворилась.

В автобусе зажегся свет. Ребеночек в кульке заплакал. Петр Иванович перегнулся через проход, потянулся рукой к сморщенному смуглому личику, отвлекая дитя от плача, но женщина резко оттолкнула его руку и встала. Мгновение она смотрела на пассажиров огромными сумасшедшими невидящими глазами, губы ее кривились...

— Аллах акбар! — выкрикнула она.

И сорвала с ребенка одеяло.

Петра Ивановича разодрало на месте.

В проходе, отброшенный взрывом назад, помирая, мленько сучил ногами Пашка.

KY-KY

О ЛЮБВИ И ДРУЖБЕ

Жениться я начал рано. Первый раз женился почти что из-за тещи, очарован был ей совершенно, не по-нагибински, конечно. Когда она заболела, и, как выяснилось, неизлечимо, спешно сел писать про нее повесть, хотел успеть ей показать...

Повесть, прямо скажем, не удалась. По ходу работы выяснилось, что живой положительный прототип мешает объективности, художественной точности, увлекает в идеализацию, а в «Кукку!..», на мою беду, таких положительных любимых и живых прототипов оказалось даже два. Захотелось мне свести свои жизненные идеалы: женский — теща моя Агнесса Львовна Элконина и мужской — мой старший друг и наставник Леонид Михайлович Гуревич. (Виталия Леонидовна и Ростислав Михайлович — в повести.)

Живые прототипы, как правило, остаются недовольны своим художественным изображением. Мне повезло. Герои, которых мне даже удалось в повести случить, отнеслись ко мне великодушно, простили мне борзость (Агнесса Львовна, правда, возмутилась: «Никогда бы я с таким уродом, как твой Гуревич, не легла»), короче, снизили. А вот третья прототипша повести — немка Габи — обиду затаила надолго, заявив, что я ее опозорил на весь мир, показав «с голой жобой».

Вита сдала дежурство, сходила на конференцию и села описывать Софью Аркадьевну, умершую этой ночью. Софья Аркадьевна умирала уже два раза и вчера даже шутила: «Мне это не впервой». Тогда оба раза Вита чудом вытаскивала ее из клинической смерти. Софья Аркадьевна перед выпиской благодарила ее и просила извинения за хлопоты. Вита приняла это за обычное старческое кокетство, но Софья Аркадьевна объяснила: «Вы, Виточка, не подумайте, что я спятила. Просто я давно уже заметила, что в определенном возрасте все начинает повторяться. Вот вы меня лечите, честь вам и хвала. Но если бы мне сказали, что я завтра перееду в мир иной, ей-Богу, я спала бы последнюю ночь ничуть не хуже предыдущей».

И действительно, спала накануне спокойно.

В истории болезни Вита нашла телефон сына Софьи Аркадьевны.

Ростислав Михайлович помолчал и попросил Виту встретиться с ним — очень

нужно. «В любое время, — сказала Вита, — подъезжайте в больницу, поговорим». — «Хотелось бы вне». «Тогда в конце месяца, предположим, тридцатого». — «Хорошо».

Положив трубку, она высчитала, что тридцатое — опять после дежурства. Нужно бы позвонить отказаться, но она так вымоталась за сегодняшнее дежурство, что одна мысль о каком-то не очень обязательном разговоре приводила в ужас. Она повторила, чтоб не забыть: тридцатое, семь часов, памятник Пушкину... Памятник Пушкину!.. И чего это он?

Тридцатого в половине седьмого Вита вышла из метро «Маяковская».

«Все прекрасно, — привычно настраивала она себя, чтоб окончательно не расклеиться от усталости. — Если б не ныл живот, было бы еще лучше, но...»

На троллейбусной остановке стояла очередь. «Ну уж нет», — злорадно подумала Вита и стала высматривать зеленый огонек такси.

Господи, хоть бы он не пришел. И чего ему приспичило? Она бы подождала минут пятнадцать для приличия и домой. Вита подняла руку. Такси остановилось, но забрызгало сапоги. Все не слава Богу! И никакого куражу. А ведь еще общаться надо с этим, как его... Ростиславом Михайловичем, черт бы его побрал! Ноги отваливаются, и морда от недосыпа наверняка как у бульдога. И чего потащилась? Сказала бы — в больницу — и все. Впрочем, уже вечер, а к вечеру лицо у нее расправляется... Хм, подумать только, раньше времени прибыла, это надо! Совсем на нее непохоже — почему и не любит встреч под часами.

И Лида переняла эту привычку — опаздывать. Не лучшее, что можно от нее унаследовать. Сказала как-то дочери, что опаздывает не из кокетства и женственности, а потому что носится, как загнанная кобыла, чтоб ей же, Лиде, помогать. Правда, про «помогать» сказала про себя, не вслух.

Она стояла возле памятника, у самых цепей. Ноги отекали — ужас, хорошо еще в сапогах не видно. Было жарко,

Вита расстегнула плащ, но вспомнила, что утром впопы-
хах схватила пояс от другого платья, и стала развязы-
вать вязанный зеленый пояс. Впрочем, зачем? Вита вздохну-
ла.

— Что сокрушаетесь, Виталия Леонидовна? — спросил
ее мужской гундосый голос.

Она сдернула очки, повернулась. Он. Куртка, значок в
форме парашютика; на значке цифра «200».

— Здравствуйте, — сказала Вита. — А что значит двести?

— Здравствуйте, — ответил Ростислав Михайлович. —
Двести — значит, двести прыжков.

— Вы что же, двести раз прыгнули и ни разу не разби-
лись?

— Двести шестьдесят семь. По документам: двести де-
вять.

Куртка у Ростислава Михайловича была военная, как у
летчиков, сильно потертая. Роста он был среднего. И нос
перебит.

— Почему такая спешка, Ростислав Михалыч? Что-ни-
будь связанное с матерью?

— Связанное... Картавите вы уж очень забавно. Еще раз
захотелось послушать.

— Вот как?.. — холодно сказала Вита, переступая оте-
жими ногами. — А телефон — не подходит?..

— Не подходит, — спокойно отреагировал Ростислав
Михайлович. — Хотел воочию.

— Ну, и?..

— Поесть чего-нибудь надо, вы, я понял, с работы?..
Пять минут — и у меня. Я рядом живу.

Они дошли до Театра Ермоловой. Дом был во дворе.

Ростислав Михайлович ковырялся в карманах куртки,
выискивая, по всей видимости, ключи. Дышал он тяжело,
хотя и старался сдерживать одышку.

«Плохо дышит, — отметила про себя Вита. — Надо по-
слушать».

— Слежу за прессой, — усмехнулся Ростислав Михайло-
вич, выудив наконец ключ, привязанный к перочинному

ножу, и распахивая по карманам газеты. — В основном с кроссвордами.

«Псих», — подумала Вита и вздохнула.

— Куда идти?

— Прямо.

На стене зазвонил телефон. Ростислав Михайлович взял трубку.

— Нет, не Додик, Ростик, — сказал он мрачно и постучал в ближайшую дверь.

Рядом заурчала вода, дверь распахнулась, и из уборной выскочил полный человек в майке.

Комната Ростислава Михайловича была самой дальней, в конце коридора.

Вита поставила сумку на сундук, расстегнула плащ.

— У-у. Старый знакомый, — сказала она, взглянув на вешалку. На вешалке висело женское пальто. Скунс, свесив хищную сухую морду с плеча пальто, смотрел на нее стеклянными глазами. — Пальто Софьи Аркадьевны?

— Ах, это... Да, мамина горжетка. Заходите.

Комната была огромная, в два окна, выходящих на бурые крыши. За крышами был слышен бой курантов.

Вита прошла к платяному шкафу и стала причесываться, поглядывая по сторонам.

— У вас, наверное, самая центральная комната в стране?

— Самая. Садитесь в кресло. — Ростислав Михайлович показал на большое разношенное кресло, прикрытое цветной тряпкой.

— Я уж лучше на стул, — засомневалась Вита.

— Стулья ненадежные. Садитесь в кресло.

Вита с боязнью опустилась в кресло. Кресло задышало и ушло вниз.

— Вы здесь один живете?

— Сейчас — да. Когда-то с мамой, а еще более когда-то — с семьей.

— Да-да-да, — закивала Вита. — Я помню: Софью Аркадьевну две девушки навещали. Внуки? Хорошенькие.

— Дочки, — кивнул Ростислав Михайлович. — А насчет хорошенькие, так то не в папу.

Вита потянулась было к сапогам — расстегнуть молнию да повыше положить отекающие ноги, но передумала: «Ну его к черту, еще подумает...»

— Чем будете угощать?

— Сухое есть, отбивные, если не... — Ростислав Михайлович подошел к окну, достал между рам сверток, понюхал. — Вроде съедобные.

— А холодильник?

— Места много занимает. — Он достал из шкафа масло, сунул Вите «Науку и жизнь». — Кроссворд хороший. Три слова не знаю. Пойду пожарю.

Вита достала из сумочки но-шпу, выкатила две таблетки и неуверенно потянулась к узкому старинному графину с водой. Запила прямо из горлышка. Так и есть, тухлая.

Она поставила графин на место и аккуратно, чтоб не стереть помаду, промокнула губы платком. Нашла кроссворд. «Аппарат для измерения кровяного давления?» Тонометр. («Да, не забыть его послушать».) Она потянулась к сумке, достала фонендоскоп, повесила на шею.

Прошла по комнате. Плетеная козетка у окна, кое-где продранная, такой же столик. И пыль, пыль. Напротив буфета книжный шкаф с резными колонками и выломанным замком. На полках что-то непонятное, чертежи какие-то. Из них: «Теория и практика парашютной подготовки», Уголовный кодекс... о! Сборник Сельвинского. Вита достала книжку. «Моему взыскательному читателю Ростиславу Михайловичу Орлову. 1930 г.». Вита прикинула, сколько лет было тогда «взыскательному читателю». Лет двенадцать-тринадцать. Поставила книжку на место, рядом со «Справочником машиностроителя».

Вита подошла к буфету, открыла: внутри было плохо. Тарелки не вымыты, а обтерты, по всей видимости, хлебом.

Коробочка с поливитаминами. «Молодится, старый хрен...»

— Взята с поличным! — Ростислав Михайлович поставил на стол скворчащую сковородку. — Прошу. — Он взглянул на Виту. — У вас скулы в форме знака вопроса. Вспомнил: тонометр! — Он достал ручку.

Ручка не писала. Он потрянул ее над полом. Капельки сорвались с пера на старинный, давно не мытый паркет.

— Простота нравов, — заметила Вита.

— Угу-у, — пробубнил Ростислав Михайлович, вписывая нужное слово. — Руки, кстати, не хотите помыть?

— Лень, — улыбнулась Вита. — Моешь, моешь весь день...

— Ну, сейчас я — кофе, и все. Магнитофон пока...

— Ростислав Михайлович! — донеслось из коридора. — К телефону!

— Вот, слушайте. — Он нажал клавишу и вышел из комнаты.

Запел Окуджава. Вита подождала, когда шаги за дверью уйдут, достала помаду и посмотрела в зеркало. Губы были еще ничего, а вот румянца, прямо скажем, маловато. Она ткнула помадой в одну щеку, в другую и стала растирать их ладонями.

«Ничего еще девушка, — подбодрила она себя. — Старовата, конечно, да кто об этом знает?» Сняла зеленый пояс, но без него платье получалось уж очень балахонистое. Повязала снова: ничего, коричневое с зеленым не так уж плохо...

Над кроватью в углу комнаты висело что-то огромное, черное. Кошма не кошма... Бурка, догадалась Вита.

Она присела на узкую жесткую кровать. Над тумбочкой вместо настольной лампы зацепленный за гвоздь рефлектор. Лида таким греет нос от гайморита.

— Я говорю, посуду надо мыть, — сказала она, когда Ростислав Михайлович с кофейником в руках вошел в комнату, — тараканы пойдут...

Он поставил кофейник на журнал и выключил магнитофон.

— Вы знаете, Виталия Леонидовна, нет тараканов. У всех есть, даже у Додика, а у меня не живут. Может, грязи боятся, живые все-таки существа...

— А это что у вас такое? — Вита качнула подвешенный над столом белый вялый абажур с большим количеством ненапрянутых веревочек.

— Талисман. А по происхождению: вытяжной парашютик. «С помощью вытяжного парашюта вводится в действие главный купол. При отсутствии вытяжного парашюта главный купол вводится в действие без его помощи». Короче, бред сивой кобылы. Вреда больше, чем пользы. Только на талисман и годится.

Ростислав Михайлович достал из буфета тарелку, поставил перед ней.

— Ну, уж нет! — Вита отодвинула тарелку и притянула к себе сковородку.

Ростислав Михайлович достал из буфета вино.

— Я не буду! — замотала головой Вита. — Я от него помру. Водки рюмку я бы выпила.

— Водки нет. Могу сходить.

— Да Бог с ней, сядьте. Откуда у вас бурка?

— У этой бурки своя история, Виталия Леонидовна, — пожевав, сказал Ростислав Михайлович. — Я шел пальто купить. Захожу в комиссионку. Висит, несчастная. Никому не нужна. Купил, принес домой. Мать чуть не в слезы: у тебя же, говорит, пальто зимнего нет. Действительно нет. А эта — висит, пыль аккумулирует. Я погляжу на нее иной раз да как ударюсь плакать, а потом вспомню, что пальто зимнего нет, — смех берет. И главное: в шкаф не лезет, подлая, четыре метра в подоле.

— А что ж на пальто денег нет? Подработали бы где-нибудь...

— Вот и я думаю, — согласился он. — К вам на свидание шел...

— Это не свидание, — поправила Вита.

— ...На несвидание, — согласился Ростислав Михайлович. — Иду, вижу объявление: требуются сторожа. Помимо

зарплаты бесплатное обмундирование, переходящее в собственность. Цитирую.

— Прекрасно, — прокартавила Вита.

Ростислав Михайлович поднял голову от тарелки, взглянул на неё.

— Скажите «трактор».

— Тррактор, — сказал Вита. — Да ну вас! Чем чепуху городить, лучше включите. — Она ткнула вилкой в сторону магнитофона: — Я люблю Окуджаву.

И откинулась в кресле.

...Она допоздна просидела в мягком продавленном кресле. Пора было уходить.

— Ну, ладно, — сказала Вита, вставая. — Давайте послушаю вас напоследок. Объелась. — Она провела руками по животу: — Как вы считаете, я толстая?

— Гранд мадам бельфам, — прогундосил Ростислав Михайлович и достал из-под кровати напольные весы. — Прощу.

— Вы с ума сошли! — Вита отскочила от весов. — Я на них и в больнице-то не смотрю! Все врут! Холодильник бы лучше купили! — Она ногой задвинула весы под кровать. — Снимайте рубашку. — И вставила в уши пластмассовые наконечники фонендоскопа.

Ростислав Михайлович стянул свитер с дырой под мышкой и рубашку.

— Еще чуть — и прохудится, — устало улыбнулась Вита. — В сторожа надо. Фурункул? — спросила она, двигая фонендоскопом по его груди. Она всегда задавала вопросы, чтобы больной не очень зацикливался на прослушивании. — И тут? — Она ткнула пальцем в сморщенный шрамик на плече. — Поглубже... Спиной... И здесь... А-а, это же не фурункулы... Это из другой оперы...

— Этот — из Венской.

— Да-а... — рассеянно сказала Вита. — Черт, жалко, давление нельзя померить... Дела-то у вас не очень... — Она задумчиво посмотрела на Ростислава Михайловича, достала

бланк, потеряла переносицу. — Так, — Вита подняла указательный палец с перстнем, и буква «В», вытатуированная возле большого пальца, четко проступила сквозь загар. — Слушайте меня... Вы купите в аптеке...

— Подождите, — перебил ее Ростислав Михайлович. — Встаньте-ка на секунду.

— Зачем? — удивилась Вита, но встала.

Ростислав Михайлович обнял ее. Очень крепко обнял за плечи и поцеловал.

Вита легонько постучала его по плечу.

— Але! Это еще что такое?! Ростислав Михайлович!.. Пустите! Я буду кричать!

— Кричите. Только потише, а то услышат, — серьезно сказал Ростислав Михайлович и снова поцеловал ее. И потянул куда-то...

«Господи!.. прическа помнется...»

— Ростислав!.. Рост! Ро-о-о-стик! — неожиданно выкрикнула она. «А голос-то у меня какой противный!..»

...Рост нащупал ящик тумбочки, с визгом вытянул его, достал очки. Очки плохо держались на его перебитом носу. Включил рефлектор.

— «...И страсть Морозова схватила своей мозолистой рукой...» — пробормотала Вита и потянулась к его очкам. — Очкарик к тому же. Сними: меньше увидишь — меньше потеряешь... прыгун...

Он отвел ее руку.

— Ну смотри, — Вита вздохнула. — Накормил тухлятиной, соблазнил — да еще рассматривает! Выпустишь ты меня?

— С течением времени, как говорил Остап Бендер. — Рост легонько провел ладонью по ее волосам, по лицу... — Вопросительные скулы...

— Хм, — дернула Вита головой. — То схватил, как горилла, а то гладит... будто котенка...

— Точно, — сказал Рост. — Эквилибристично. У меня дочки так кошек гладили: контур повторяют, а до шерсти дот-

ронуться бояться... А нос почему кривой? Боксом занималась?

— Углядел! — Вита потеряла переносицу. — Это еще в детстве. Артем...

— Ростислав Михайлыч! — донесся из коридора старушечий голос. — Плиту оттерите, а то после вас вся в кофее. Присохнет за ночь.

— Иди, а я себя в порядок приведу, — сказала Вита. — Ох, умереть — уснуть!

— Что так?

— Да нет, все прекрасно. Устала.

— Рост, — сказала Вита, когда они подошли к стоянке такси. — Сделай доброе дело, а? Устрой к себе Юрку на работу. Такой парень хороший, только балбес. Недоучился, в армию ушел...

— А кто он тебе?

Вита задумалась.

— Зять мой бывший... Тоже чего-то чертит. Три курса кончил до армии. Устрой...

— Скажи «трактор», тогда устрою.

— Тррактор! Тррактор! Скажи лучше, как сердце.

— Космонавт.

— Смотри, космонавт, умрешь когда-нибудь при подобных обстоятельствах. Такое случается.

— У меня теперь при подобных обстоятельствах всегда будет под рукой врач.

— Ишь ты! — Вита усмехнулась.

Подъехало такси.

Было это полгода назад.

2

Живот у Виты побаливал давно, года три. Знала только Ира: «Не дури, Вита, надо обследоваться. Не хочешь на третий этаж, лежи у меня в кабинете». Вита морщилась — пройдет.

Не прошло, болело. Но так по-страшному — первый раз.

Она позвонила Грише Соколову. Гриша, ее однокурсни́к, пошел по гастроэнтерологии. Днем работал, а по ночам сшивал кишки покойникам. Теперь, ясное дело, профессор, главврач клиники.

— Гринь, у меня чего-то живот болит нехорошо, — сказала Вита.

— Заходи, поглядим, — ответил Гриша.

Вита зашла...

Сейчас они сидели у Гриши в кабинете. Гриша разливал коньяк.

— Я, Гринь, чего-то не хочу, — поморщилась Вита, и рука ее невзначай погладила живот.

Гриша выпил сам и закусил лимоном, обмакнутым в соль.

— Австрияки научили, — сказал он. — Значит, Вита, дело вот как обстоит. Чего у тебя — толком сказать не могу. Но резать надо — хуже не будет.

— А шрам через все брюхо? — невесело улыбнулась Вита. — Кавалеры разбегутся, а их и так-то: раз-два, и обчелся...

— Я тебя аккуратненько. И палату подберу. Сколько можно, подержу одну.

Про операцию Вита своим решила не говорить. Она бы сказала, но Людмила засуетится, взбудоражит отца, сообщит Лиде на Север. А та все бросит, примчится... А за чем? Ни к чему это. Юрка знает, Рост знает — достаточно. Там видно будет. И объявила, что едет в Прибалтику.

Резал ее Гриша четыре часа. Через день после операции она уже лежала в нормальной палате. Ничего не болело, хотя живот был распорот от и до, — колола себя обезболивающим, которого по совету Гриши принесла вдоволь. Вита лежала и отдыхала. Никогда еще в жизни у нее не было столько свободного времени. Лежишь... Думаешь... Вспоминаешь... Даже в отпусках, куда она ездила все-

гда одна, без Сени, и то были какие-то постоянные докуки: очереди, место на пляже, выяснение отношений с кавалерами...

Сибаритка. Лежи себе... Лови балду, как говорит Юрка. Вита повертела по привычке перстень, вспомнила мужа.

«Здравствуйте, Валя, — сказал ей Сеня, углядев у нее на пальце татуировку «В». Это было на выставке трофейного вооружения, Сеня там после ранения заведовал артиллерией, — пригласили бы в гости — ни одной знакомой в Москве». Слова вроде и нахальные, а сказал скромно. На следующий день он уже ел у них борщ... правда, она проучила Сеню: не сказала, что зовут ее Вита. И он за столом, удивляя родителей и сестру, нежно называл ее «Валечкой».

Комната у них была проходная (сейчас таких коммуналок не отыщешь), и мимо стола время от времени деликатно прошмыгивали соседи. Последней прошла Роха, замедленно, злобно шаркая, — хотела подробнее рассмотреть красивого «жениха» — капитана. Пришлось пригласить ее за стол. Вот тогда-то она и выдала знаменитое: «таки мимо той станции не проедешь», подразумевая женитьбу.

Обручального кольца Сеня найти не сумел; уже за столом на свадьбе поймал ее руку и насунул на палец старинный перстень с черным изъеденным каменным жуком. Да на указательный палец надел от волнения. До чего Сеня был красивый!

А ведь никто и по сей день не знает, что инфаркт у Сени случился на бегах.

Лида рыдала в маленькой комнате, а она сидела в ногах у Сени и смотрела, как меняется его лицо. Челюсть ему она подвязала своей косынкой, и казалось, что у Сени болят зубы...

Многие годы Вита ругала мужа, даже мать его из Гурького вызывала, а потом, когда поняла, что бега — болезнь, отступилась. Видит, что он ходит сам не свой, задавала один вопрос: «Сколько?» И работала в основном на это

«сколько». А Сеня все мечтал, как выиграет много денег и все отдаст ей. Слава Богу, в больнице шли навстречу: и вторую ставку оформляли по чужой книжке, и дежурства, и консультации в психосоматике... Правда, в компенсацию за такую каторгу она изменила взгляд на супружескую верность. А может, дело было и не во взгляде, просто перестала любить Сеню. Или — уважать?.. Да она, пожалуй, и не любила его никогда по-настоящему..

...Как эта ненка, соседка по палате, на Полину похожа!.. Если Полина жива, она сейчас такая же — похожая на старого индейца... Если живая еще... То, что Полину удалось спасти тогда, чудо. Легкие были доверху залиты водой... Спасла Полину Вита тем самым методом, за который ее выгнали с работы в сорок девятом, чуть не лишив диплома. На свой страх и риск стала применять в клинике обезвоживание ртутным препаратом при безнадежных отеках легких. Не по инструкции. Нынешних мочегонных тогда еще не было. Больные стали оживать, она ходила счастливая. Пока один возвращенный ею с того света журналист не написал хвалебную статью. Вот тут и началось! Выяснилось, что препарат, содержащий ртуть, примененный врачом Вербицкой, при длительном употреблении оказывает отрицательное действие. С работы пришлось уволиться по собственному желанию. Да еще в этого дурня влюбилась — в журналиста, кончать надо было с этим.

Так они с Сеней оказались на Севере, на берегу Обской губы, в поселке Ныда.

Полина — это был ее первый выезд в стойбище. Ныда была закрыта погодой, добираться пришлось на оленях. Пурга мела, олени шли плохо. Жорка, Полинин сын, все тыкал их хореем, пока не сломал его. Добрались только к вечеру.

Коля Салиндер, отец Жорки, вышел из чума: клетчатая рубаха, на ногах кисты — подвязаны к ремню, сбоку нож. Поглядел на истрепанные хореем ляжки оленей. Потом достал из-под шкуры на нартах карабин, воткнул его при-

кладом в снег. Она еще удивилась: не заржавеет ли... И дети могут... уж потом поняла — и не заржавеет, и дети не могут...

Полина задыхалась, могла только сидеть, булькала при каждом движении — запущенная водянка. Возле нее ползала девочка в грязном платице и маленьких кисах. Вита, не раздумывая, поставила кипятить шприц. За ней поползла девочка, но на полдороге остановилась — она была перехвачена пояском, от пояса тянулась веревка, такой длины, чтобы девочка не дотянулась до печки. Выжила Полина. А ведь каждый день принимала то самое «вредительское» мочегонное. Да еще в каких дозах.

...В дверь постучали. Вошел Юрка в халате.

— Снег валит, — объявил он.

— А вот у ненцев к слову «снег» двадцать синонимов, — задумчиво сказала Вита.

— Куда такая пропасть? — спросил Юрка, убирая в тумбочку кефир.

Вита посмотрела в окно.

— Я в снегу один раз Новый год встречала. Там, под Ныдой. Мы тогда на Север уехали... А сперва думала: отнимут диплом — пойду на водителя троллейбуса учиться.

— Почему троллейбуса?

— А я дорогу плохо запоминаю: на автобусе не смогла бы. Троллейбус хорошо: думать не надо — туда, не туда...

— Живот-то болит? — перебил ее Юрка.

— Поболит — перестанет, — отмахнулась Вита. — Ты вот что сделай, — подумав, сказала она. — Сходи к моему лечащему врачу, не к Соколову, к лечащему, — он завтра будет дежурить, скажи, что ты мой сын, и узнай, что у меня. Мне то Гриша сказал, полип... Сыну они обязаны сказать. Сходишь?

— Ладно. — Юрка поморщился. — Только не надо ничего выдумывать!

— Завтра узнай, а сейчас иди, Юрик, а я подремлю... Рост когда возвращается?

— Недели через две, не раньше... — Юрка виновато взглянул на нее. — А вы это... Балду ловите. Я завтра приду. Отпрошусь и приеду.

Юрка поставил чайник на плиту: воды — на одну чашку, и помешал макароны на сковороде.

— Опять макароны лупишь? — проворчал Михаил Васильевич. — Чистый яд и безо всякой пользы. Пузо вырастет, как у меня...

Михаил Васильевич еще поругал Юрку и заковывал в ванную:

— Кобеля покорми!

— Не успеваю, Михаил Васильевич, вы сами.

Котя, заслышав запах еды, приплелся на кухню и встал у плиты, склонив голову и пуская слюни.

— Пошел отсюда, — тихо, чтоб не слышал сосед, сказал ему Юрка. — Дед накормит.

Котя нервно зевнул и зашлепал к Михаилу Васильевичу. Было слышно, как он тяжело брякнулся на свое место. Жить Котя предпочитал почему-то у соседа.

— Пробка вот на исходе, — посетовал Михаил Васильевич, выходя из ванной и вытирая лысую голову. — Мимо спортивного пойдешь — зайди. Была бы — сегодня башмаки кончил.

У Михаила Васильевича были скрюченные ступни с войны. И сколько Юрка его знает, почти три года — как разменялся с Лидой, — все это время старик мастерил себе ортопедическую обувь. На персональную бесплатную он был не согласен, уверяя, что не то качество. С утра до ночи он сидел у открытого окна в ободранном тулупе и тубетейке, клеил огромные замысловатые башмаки. Окно он открывал от вредного запаха. А Коте почему-то этот едкий запах нравился, и он ни в какую не хотел покидать комнату Михаила Васильевича. Зимой, в холод, только ворчал и туже сворачивался.

Все три года Михаил Васильевич каждое утро сообщал Юрке, что сегодня закончит башмаки. Сначала Юрка удив-

лялся, пытался его переубедить, но потом от участкового врача узнал, что сосед инвалид не только по ногам. И отступился. Теперь раз в месяц Юрка заходил в спортивный на проспекте Мира и покупал пробки для растирания лыжной мази.

— Деньги-то есть или дать? — крикнул из своей комнаты Михаил Васильевич.

— Потом! — отозвался Юрка. — Я у вас заварки возьму!

— Бери-и! Ночевать сегодня вернешься?

— А куда же я денусь?

— А кто вас, молодых, знает, может, кралечка. Кобелю костей в кулинарии не забудь.

Котю Михаил Васильевич называл только кобелем — кличка ему не нравилась — и очень заботился о псе. Даже ночью, если Коте снились страшные сны и он начинал повизгивать, прикрывал его старым пиджаком. Юрка доскреб сковородку, залил водой.

— Побежал! — крикнул он соседу. Но не побежал, ждал, пока Михаил Васильевич выполнит утреннюю свою программу. Неужели забудет?

— С женой бы сошелся, — донеслось сквозь стук молотка. — Уж больно тещенька приглядная. Такую во щях не выловишь.

Юрка рассмеялся: не забыл. И выскочил из квартиры.

— Шапку надень! — крикнул Юрке сосед, но тот уже хлопнул дверью.

...Юрка вбежал в КБ, когда начальник конструкторского отдела как раз протянул руку за амбарной книгой, где расписывались сотрудники. Юрка чиркнул закорючку в своей графе, под хмурым взглядом начальника прошел за кульман.

Главный конструктор проекта Вениамин Анатольевич, один из немногих доброжелателей Роста, сидел на своем месте у окна и старательно ретушировал очередную карикатуру.

Рост в донкихотском обличе, спускаясь на парашюте, проламывал крышу КБ, а за ним, чуть приотстав, тоже на

парашюте, оседлав Котю, спускался Санчо Панса — Юрка. Хотя Вениамин Анатольевич Котю ни разу не видел, изобразил его очень похоже.

— Хвост терьерам не положен по стандарту, — сказал за его плечом Юрка.

— Думаешь или знаешь? — не оборачиваясь, спросил Вениамин Анатольевич и протянул ему карикатуру. — На, прикалывай.

Юрка приколот карикатуру на кульман Роста. На кульмане у него уже висело четыре карикатуры, эта была пятая.

— Ты карточку заполнил? — раздался голос начальника отдела. — Конец месяца, а где листок?

— Все будет, все будет, — успокоил его Юрка, прикнопившая к кульману ватманский лист. — У кого штамп сборочный?

— Приветствую, — послышался знакомый гундосый голос.

— Опаздываете, Ростислав Михалыч. Рабочий день уже начался. Технический совет, а вас нет.

— Не будьте классной дамой, — сказал Рост, неторопливо распаковывая полевую сумку. Надел очки, внимательно рассмотрел карикатуру. — Вот — совсем другое дело! Молодец, Веня. Спасибо.

— Стараемся.

— Как Вита, Юрик?

— Лучше. Ждет вас сегодня, — ответил Юрка. — Я там «Московскую правду» купил с кроссвордом.

Рост собрал со стола бумаги.

— Я — на техсовет, Вита позвонит, скажи, буду у нее после работы. Чего купить, спроси.

Рост вошел в шумный кабинет главного конструктора, и там сразу стало тихо.

В последней командировке Рост составил небывалый документ: перечень ошибок в конструкторской документации, выполненной в КБ. Перечень был длинный и очень явно попахивал прокуратурой. На девяносто процентов

Рост занялся этим склочным делом из деловых соображений, но была у него еще одна цель: отучить наконец начальство без конца гонять его по командировкам. Главное, держали его там без особой нужды, чтоб подальше от КБ, чтоб воду не мутил. А прогнать совсем не решались. Рост, посмеиваясь, сочувствовал начальству: «Проглотить — невкусно, и выплюнуть — жалко».

— ...Разбиваются не всегда до смерти, иногда — до самой смерти, — говорил Рост за дверью своим обычным скучным голосом. — С вами именно так и случилось.

— Вы, Ростислав Михайлович, будете меня учить, когда станете начальником отдела!..

— Когда я стану начальником отдела, я вас учить не стану. Я вас уволю за несоответствие занимаемой должности.

— Ростислав Михайлыч! Я прошу вас быть сдержанней, — умоляющим голосом сказал начальник отдела. — Нельзя же так.

— Можно, — не меняя ноты, сказал тот, — и, к сожалению, нужно. Благодарите Бога, Александр Львович, что вы завод визитами не балуете, а то бы вам там работяги показали, с чего начинается родина.

...Дверь распахнулась, Рост вышел из кабинета. В своей нижней, как он называл, кожаной куртке, верхняя, подлинней, висела на его кульмане.

Руки в карманы, голова прижата к плечу, как у боксера или кривобокого, глаза в пол. Снял очки.

— Ну чего, — спросил Юрка, — не зашугали?

Рост сложил бумаги в полевую сумку, запер ее в стол, потер челюсть.

— Нехороший вы человек, Ростислав Михалыч, — раздался за кульманом голос начальника отдела. — У Александра Львовича с сердцем из-за вас плохо.

— Должности хорошего человека в штатном расписании нет, — не оборачиваясь, произнес Рост. — Он — конструктор. Если ослабел, пусть устраивается дегустатором байховых чаев. КБ не филиал богадельни. Подавать хорошо из своего кармана, а не из казны. — Он снова потер че-

люсть и, глядя на Юрку, сказал: — Челюсть ноет, спасу нет. Это все протез, свои так не болели. И главное, за ушами почему-то...

Конечно, Юрка проболтался. С испуга.

Лечащий врач сказал Юрке, когда тот представился «сыном», что, во-первых, сыновей у больной Вербицкой нет; во-вторых, еще не готовы результаты гистологии, и вообще пока ничего конкретного он сказать не может.

Рост был еще в командировке, посоветоваться не с кем; и Юрка позвонил Людмиле Леонидовне. Сказал, что Вита не в Прибалтике, а в Москве, в больнице. Живот ей разрезали.

— Негодяй! — крикнула в телефон Людмила Леонидовна. — Как ты мог скрыть?!

И бросила трубку.

Два дня Юрка не решался показаться Вите на глаза. А сегодня купил цветов и в неурочное время проник в больницу замаливать грехи.

— Господи, — вздохнула Вита, подставившись под поцелуй. — Цветы-то зачем? У меня их и так будто на похоронах... Каешься?

— Так ведь врач не поверил, что сын, а я испугался: вдруг — рак.

Соседка по палате, услышав страшное слово, в ужасе приподнялась на койке.

— Давай-ка мы лучше в коридор, — Вита кивнула на дверь. И в коридоре сказала: — Пугаться, Юрик, никогда и ничего не надо. Бессмысленно. Вот ты позвонил. Ну и что — шов у меня быстрее заживет? Теперь Лидка сорвется...

Юрка стоял, понутив голову, смотрел в окно.

— Ладно, что сделано — сделано, не исправишь. Ты вот что. Возьмешь у меня в секретере справку о состоянии здоровья. И отнесешь в «Интурист». Я тебе напишу — кому. У них через два месяца группа в ГДР: справка еще действительная. Поеду в ГДР. Тетке в «Интурист» захвати икры —

пару баночек. Она у меня в тумбочке. Рост принес, дуралей... Сидит без копейки...

— Все сказали? — подражая Росту, холодно поинтересовался Юрка.

— А что такого? — встрепенулась Вита. — Выйду отсюда и поеду. Очень даже хорошо прокачусь.

— А вы знаете, о чем сейчас ваши толкуют? — Юрка большим пальцем ткнул назад, за плечо. — Кому с работы увольняться, чтоб вам судно подавать...

— Ну и пусть. А мы молчком, понял? Там видно будет. — Вита покрутила в воздухе полной гладкой рукой с большим синяком на сгибе. — Главное, справку вези. Слушай-ка! — она хлопнула в ладоши. — Я тебе не сказала, что Рост отмолил? Башку покрасил.

Юрка постучал себе кулаком по лбу:

— Дает!.. То-то я смотрю, у него пролысь фиолетовая!..

— Нет, ты только подумай! — не унималась Вита. — Ну, что с ним делать? Брошу его к черту! Выйду отсюда и брошу.

— Вы сначала выйдите.

— Да было бы чего красить!.. Он же плешивый, твой Рост!

— Не мой, а ваш.

— Наш, — улыбнулась Вита. — Справку неси.

— Интересно, а что вы кушать там будете, у немцев?

— Господи! Да что мне — в Германии пары картошек вареных не найдется! Гебен зи мир бите цвай!.. Как картошка будет?

— Черт ее знает, — пожал плечами Юрка. — Так и будет.

— А ключи взяли, — со значением произнесла соседка, у которой Вита на всякий случай оставляла вторые ключи. — Лидочка приехала.

Юрка обреченно вздохнул и позвонил в дверь напротив.

— Здравствуй, — печально-ласково сказала Лида, притянула Юрку к себе и поцеловала в лоб длинным родствен-

ным поцелуем. — Извини... — Она взяла с тумбочки телефонную трубку: — А как Любынька?..

Юрка сел в кресло ждать, пока Лида поговорит, — знал, что говорить она будет долго.

— ...Мишенька здоров, но сейчас ему, конечно, плохо. — Лида виновато улыбнулась невидимому собеседнику. — Он так страдает, когда меня нет.

Юрка закричал и вдруг почувствовал, как у него скрючиваются пальцы на ногах. Так бывало и раньше. Стоило Лиде заговорить восторженно, Юрку начинало воротить. Еще до армии, когда они просто вместе учились в институте.

После армии он сунулся по привычке к Лиде в гости. Лида тогда глубоко переживала несостоявшийся роман, и Юрка подвернулся очень кстати. Жениться Юрку никто не принуждал, наоборот, Вита рекомендовала не спешить, пожить так, даже давала денег — снимать комнату. А потом кто-то из ее больных предложил устроить кооператив. Юрка с Лидой зарегистрировались.

...На новой квартире Лида родила. Но к этому времени она поняла, что Юрка относится к ней без должного благоговения. И однажды, встав у открытого окна, Лида задумчиво произнесла, что Юрка не отец ребенка. Юрка просто не поверил, решил, блажит баба. Лида настояла на экспертизе, и выяснилось, что Юркино отцовство абсолютно исключено.

Потом был развод, обмен квартиры, переселение Лиды к Вите, Виты к Лиде... А потом Лида поругалась с Витой. Вите было обидно за Юрку, она даже посмела упрекнуть дочь, вместо того чтобы оценить ее благородство: «Я же могла ему вообще не сказать!..» Одним словом, Лида объявила, что едет в Североморск.

Вита перепугалась и, уверенная, что одна во всем виновата, всячески отговаривала Лиду. И климат ребенку не годится, ведь даже коровы живут на Севере в два раза меньше, и вообще, на кой ей эта романтика?! Она тоже уезжала в свое время на Север, но не за романтикой, а, можно сказать, от тюрьмы бежала!..

Вита без конца звонила в Североморск: как дела? Лида говорила, что все в порядке, пусть она не волнуется. Но говорила как-то не так, без особой убедительности, и Вита продолжала волноваться, ощущая свою несомненную, не совсем, правда, понятную ей вину. Чувство вины уменьшилось, когда Лида попросила отправить в Североморск папино шредеровское пианино: Мишенька будет учиться музыке. Вита удивилась и обрадовалась. Раз пианино, значит, не так уж тяжела жизнь. Пианино поехало на Север.

— ...Кофе будешь? — спросила Лида, положив наконец трубку.

— Давай, — сказал Юрка и достал чашечку из серванта.

— На Севере так много очаровательных людей, — Лида налила ему кофе. — Оча-ро-вательных!.. Так жалко, что придется расстаться с Севером...

— Я думаю... — Юрка покашлял. — Я думаю, что прямой необходимости перебираться в Москву нет. — Он отпил кофе и выдохнул воздух, накопившийся от трудно подобранных «нехамских слов». — Вита, Бог даст, оклемается...

Несколько секунд Лида, не отрываясь, молча смотрела на него.

— Как ты можешь? — прошептала она, обхватила голову руками, и плечи ее затряслись. — Ты что, не знаешь?.. Ведь у нее может развиться...

— Ну ладно, Лидуш... ладно. Ничего у нее не может развиться. — Юрка поставил чашку и подошел к секретеру. — Лидуш... Вита просила ей... — он напрягся, выдумывая, что просила Вита, — трусики принести... Достань порточки...

Когда Лида вышла в соседнюю комнату, Юрка шмыгнул к секретеру, отыскал справку.

— Побегу, Лидуш, — сказал он, когда Лида протянула ему сверточек.

Лида сидела на такте, и глаза у нее были полны слез. Юрка подошел сзади, хотел обнять, но побоялся, погладил по спине.

— У тебя... совершенно нет... — срывающимся голосом проговорила Лида.

— Почему нет? Есть! Я же тебе это... Ну что в самом деле... Переезжай, раз решила. Я тебе квартиру помогу наладить, все что надо... Сына в садик... — Он снова погладил Лиду по спине. — Ты Вите трусики отнесешь? Или дай я.

Лида шмыгнула носом:

— Отнесу.

Про Германию родственники пронюхали очень скоро и, решив, что Вита одурела в результате долгого наркоза, побежали жаловаться Грише Соколову.

— Что ей в ГДР делать? — удивился Гриша. — В Париж бы — это да!

Через два месяца Вита провожалась на Белорусском вокзале в Германию и была как с картинки.

— Вита, если бы кто знал, что у вас брюхо распорото!.. — прошептал Юрка.

— Дурак, — Вита небожно шлепнула его по щеке. — Вот кавалер стоит, он мне и чемоданчик поносит...

— Росту скажу! — пригрозил Юрка.

— Росту я привезу кожаную куртку, если они только есть там в природе. А эту свою пусть выкинет к моему приезду, а то я сама... Чего я ему, дура, не велела прийти?..

Вита была очень красива. В голубом английском плаще, высоких новых сапогах, скрывающих отечность ног. Сапоги темно-коричневые. Под цвет глаз.

— Так! — чуть визгливым, но все равно очаровательным голосом крикнула Вита. — Родные, прощайтесь! Девушка едет в Европу!.. Господи, вон он!

По перрону бежал Рост с пузатой от газетного кулька авоськой. Он что-то буркнул родственникам и за шею, как живого, вытянул из авоськи сунса. Стеклообразные глаза зверька хищно уставились на Виту.

— С ума сошел! — засмеялась Вита, накидывая мех на плечи. — Весна уже.

Пиво стало нагреваться. Юрка двинул сумку с бутылками под скамейку и подставил лицо под бесполезное ап-

рельское солнце. Рост посапывал, уронив голову на кожаный воротник. Речной трамвайчик плыл к Ленинским горам, время от времени мягко шмякаясь на остановках то о левый, то о правый причал.

Весенняя река еще не освободилась от гадости: подернутая нефтяными подтеками вода несла оттаявшие бумажки, неутопающие бутылки и разноцветных селезней. Иногда трамвайчик натыкался на разломанные доски, они заныривали под него и в пузырях, как газированные, выныривали сбоку.

— Ленинские горы.

Недавно оттаявший пляж был пуст: горько дымились кучи прошлогоднего мусора, облезлые скамейки пустовали, земля смачно пружинила под ногами.

Рост вел Юрку к своему любимому месту, к церкви. Там он загорал в выходные и в свободные — по донорской справке — дни. Кровь он сдавал с незапамятных времен. Не столько из-за денег, хотя из-за них тоже, как из-за этих двух свободных дней.

Склон подсыхал кверху. Ростислав Михайлович повесил полевую сумку на сучок и разодрал по швам вынутый из кармана «Крокодил».

— Там дальше — хуже... Ходят. Здесь в самый девке раз, сверху церковь, снизу река.

Круглый стадион за рекой кричал песни, сюда они долетали притишенные расстоянием и вкусным дымом, вырастающим из мусорных куч.

Юрка открыл бутылку о бутылку, пробка косо метнулась в сторону.

— Юрка, Юрка... — вздохнул Рост, — уведут у нас Виточку. Выйдет твоя жена снова замуж, и Виталия туда же перекинется. Соединился бы ты с ней... со своей Лидой наново. Жен менять — только время терять.

— Вы Лиду не знаете... — робко возразил Юрка.

— Да не все ли равно! — фыркнул Ростислав Михайлович. — Теща зато какая!.. Живи не хочу, только радуйся.

Юрка подал ему открытую бутылку и стал обдирать вяленого леща, Рост засунул горлышко в рот как-то сбоку, не разжимая губ.

— Свежее. Сколько сортов пива, как думаешь?

— Черт его знает, — Юрка пожал плечами. — Десять, двенадцать...

— А четыреста не хочешь? Я в Венгрии даже вишневое пил.

— Во время войны?

— После. Пока в госпитале лежал... «И нальют вина и без чувства вины...»

— Чего нальют, кто? — не понял Юрка.

Ростислав Михайлович прикрыл глаза и уронил голову на грудь. Уколотся о застежку молнии, открыл глаза и, позевывая, посмотрел вниз на набережную. Внизу на пустой набережной катался на роликовых коньках седой костлявый старик, голый по пояс. Он раскатывался, поворачивался, ехал задом, забавно семеня, чуть разведя руки в сторону, а ладони держа параллельно асфальту.

Ростислав Михайлович поглядел на старика и недовольно поморщился.

— Хреновый старикан. Коке-етливый...

— Чего он вам дался?

— Да так... Собою любитесь дедушка... я здесь тоже катался до войны. Только на лошадях. От Осоавиахима. А еще раньше в манеже Гвоздевых в Гранатном переулке. Это мне лет было... восемь, девять, десять. Два рубля в час. Даже помню, как лошадей звали. Лимон, Мавра... мозоли от уздечки были между пальцами. До сих пор мимо пройти не могу. Подойду — нюхаю. И при нэпе лошади были. Мать санаторий в Черемушках арендовала. Чахоточных лечила. Там конюшня была. У меня пони свой персональный был. Плюмик. Матушка у меня все-таки была удивительная. Сколько раз лошадь сама по себе приходит, я — сам по себе, разбитый весь чуть не до смерти. Не боялась мать отпускать одного. Да и случись что — тоже, наверное, долго бы не переживала. Не любила она это занятие. И машины сама водила.

И оборудование в санатории рентгенологическое устанавливала, отлаживала. Я помню, учился в пятой группе...

— Класе, — поправил Роста Юрка.

— Не было классов, представь себе. Группы и учителя назывались не по имени-отчеству, а дяди, тети. Директор школы, помню, тетя Наташа. Было тете Наташе тогда что-то лет семнадцать, по-моему. Да, так вот учился в пятой группе и, помню, сочинение писал. «У одного моего знакомого есть пони Плюмик».

— А почему «у знакомого»?

— А не популярно было достатком хвастаться. Не приветствовалось.

— Вы военное лучше что-нибудь расскажите... геройское.

— Так ведь что называть геройским. Геройское — не всегда героическое.

— Поидете в этом году на Девятое мая? — нетерпеливо перебил его Юрка, надеясь все-таки добраться до настоящего героизма.

— Поиду? Побегу! Генерал Крылов должен приехать. Он мне пристрелку обещал...

— Это как?

— Это прыжок такой перед соревнованиями на неуправляемом куполе. Неспортивный прыжок. Никак все Крылова за жабры взять не мог. А тут пообещал сдуру... Теперь-то я его достану. Не помер бы только. В августе чемпионат дружественных армий по парашютному спорту. Вот я тут и... Красиво я Крылова купил. Что же это получается, говорю, Иван Поликарпович, как соревнования дружественных армий — я участвую, а как дружественных — так старый.

— Так вы же действительно старый, — засмеялся Юрка.

— Моя матушка умная женщина была и без предрассудков. Считала, что старость вообще не должна иметь место. Надо, говорит, до семидесяти работать, потом парутройку лет — переходной период и — на небеса. Я с ней, в сущности, согласен... Пенсия — не дело. Кстати, о пенсии. Опять

ведь в командировку засылают. Послать бы их, да не больно в другое место возьмут — возраст пенсионный... А одно такое место есть... — Ростислав Михайлович даже прикрыл глаза от удовольствия. — КБ. В полуподвале. Рыбного хозяйства. Я сдуру зашел, так, обнюхаться... И чем же они занимаются, как ты думаешь? Сверхмалые подводные лодки. Сети проверять, дно смотреть. Разработки открытые. Ни тебе секретности, ничего... Да, а в чем главное-то? Конструктор — он же испытатель: начертил и — милости просим — опробуйте. Плохо сделал — второго раза уже не представится. КБ это, не поверишь, снится мне иной раз. И взяли бы, с радостью взяли, да уж больно мало платят. Третьей категории КБ. Если бы один, я бы пошел. А девки? Им еще два курса...

Рост вдруг отключился и, сонно посапывая, уронил голову на грудь.

Старик внизу разогнулся и сделал ласточку. Ласточкой подъехал к скамейке, где лежала его одежда. Потом отстегнул ролики и стал прохаживаться...

Рост не просыпался. Юрка тихонько вытянул ноги, сунул руки под голову и стал смотреть в небо. Прошло полчаса, может, час...

— Пивко-то еще осталось? — вдруг открыл глаза Рост. — Давай допьем, да и собираться. Время.

Они снова устроились на самом носу речного трамвайчика. И снова Рост задремал.

— Ростислав Михайлович! Ну что вы все время спите!

Рост открыл глаза.

— Вита когда от немцев прибудет? Пора вроде.

— А кто ее знает. Она же не говорит. Чтоб не встречали.

— Слушай, Юрк, а сестренка-то у нее не ахти. Не показалась она мне.

— Да и вы ей, — усмехнулся Юрка. — У нее даже личико скосоротило, когда вы на вокзале появились.

— Ну так парень-то какой! — Рост подбоченился и провел пальцем по несуществующим усам. — Девки — вереницей.

— Расскажите героическое, — проканючил Юрка. — Военное.

Рост зевнул.

— Не мое ампула. — Он потер грудь посередине. — Пиво, что ль, старое, изжога... Сроду не было.

— Сегодняшнее. Соды дома выпейте. Расскажите, Ростислав Михалыч.

— Вот пристал как банный лист. Что я тебе, тец-декламатор? Кстати, о декламаторах: стишок могу. Называется «Бад-Феслау». Собственного сочинения. Только без вопросов. Понял — понял, нет — значит, нет... И нальют вина... И без чувства вины поднимут круглые кружки выше за тех, кто выжил, за тех, кто вышел сухим из воды и живым из войны.

За тех, кто ни разу не был убитым, за кем война не защелкнула пасть, за тех, кому не случилось пасть смертью храбрых на поле битвы.

На поле битвы... на битом поле с прибитым овсом и подбитыми танками, где вороны трудятся над останками, а трупы тихо хохочут от боли.

Выпьют за бомбы, что не упали, за неразорвавшиеся мины, за осколки, прошелестевшие мимо, за пули, которые не попали.

За тех, кто пережил, выжил, ожил, за тех, кто не спит замогильными снами, за тех, кто вынес из боя знамя из собственной продырявленной кожи...

3

— Тещенька тебя! — прокричал в коридоре Михаил Васильевич.

Юрка подскочил к телефону.

— Я приехала, — прокартавила Вита. — Собака жива? Приези: опять у меня рожа на ноге. Еле доползла. Сметаны по дороге купи.

— Сметаны? — не понял Юрка.

— Ногу мазать. Ладно — не покупай, у соседей возьму. Рост живой? Я ему звонила — нету его.

— Живой. Мы с ним сегодня пиво на Ленинских горах пили.

— Прекрасно. Жду тебя, Юрик. Собаку не забудь.

На лестнице был слышен смех Виты, Юрка позвонил.

— Открыто! — крикнула Вита. В ответ на ее недоделанное «р» Юрка, как всегда, улыбнулся, а Котя протяжно зевнул, выгнув язык ладьей.

Юрка толкнул дверь, брякнул колокольчик, привязанный к ручке, Котя рванулся в комнату, поскользнувшись на лакированном полу.

— Убери! — взвизгнула Вита. — Все, Ленечка. Все. Целую. Тут собака пришла, Юркина. Да, он привез, лечиться буду. Уже чего-то жрет. Все. — Вита окончила разговор с отцом — других «Ленечек» в ее обиходе не было.

— Чего от меня еще надо? — спросил Юрка, входя в комнату.

— Во-первых, чтобы ты не хамил прошедшей теще, — улыбаясь, сказала Вита с тахты, подставляя Юрке щеку. Сама она целоваться не любила из-за помады и просто не любви к поцелуям. — И скажи этому своему, чтоб он мне ничего не портил. О! Провод жрет!

Поцеловав Виту, Юрка несильно ударил пса ногой. Тот выпустил из пасти обмусоленный телефонный провод и обиженно ушел за тахту. Юрка сел в кресло напротив так, чтобы максимально видеть Виту, и незаметно выдернул телефон из розетки.

— Тряпку! — вдруг взвизгнула Вита.

Юрка вскочил, но было поздно. Котя, увиденный Витой в зеркале, уже опустил лапу.

Юрка рванулся в ванную. Дверь была заперта, и текла вода.

— Кто там? — удивленно крикнул он Вите.

— На кухне тряпка, — ответила Вита.

Юрка принес тряпку и вытер лужу.

— Слушай, какой же он у тебя идиот все-таки. — Вита покачала головой. — Это надо!..

— Не ругайтесь, а то лечить не будем.

— Да, давайте-ка лечить. Сметану возьми в холодильнике.

Юрка принес сметану.

Вита намазала распухшую, воспаленную от ступни до колена ногу сметаной и подставила Коте. Пес сначала неохотно, а потом, заинтересовавшись, стал слизывать сметану и, добравшись до кожи, по инерции стал лизать и ногу.

Лечиться собакой Виту научили ненцы. И с тех пор она против всяческих воспалений ничего другого не признавала. Только собачья слюна.

Вита и подарила Юрке дорогостоящего Котю: с одной стороны, чтобы не скучно одному, а с другой — чтобы всегда была под рукой собака.

— Я тебе целый мешок пудингов привезла. И шоколадных, и миндальных, и черт его знает каких.

— Где они? — вскочил Юрка.

— В чемодане. Да они сырые, порошок...

Юрка разочарованно вздохнул.

— А как Рост? Куртку ему не привезла, нет хороших. Не болел он?

— Что-то он не того!.. — крикнул Юрка с кухни. — Слабый какой-то, сомлевший... Спрашиваю — фырчит. На изжогу жалуется.

— Выйду на работу, положу его к себе.

Дверь ванной отворилась, и в комнату вошла молодая женщина с замотанной полотенцем головой, в длинном пестром африканском платье. При каждом движении из-под платья выныривали босые ноги с красными капельками ногтей.

— Юрий, да? — сказала она, в упор разглядывая Юрку. — Корпулентный...

— Толстый, — согласилась Вита. — Юрка жрать больно любит. Пудинги — это ты для него покупала. Вот скажи ему, Габи, много у вас в Германии едят?

— Да-а-а, — сказала Габи, кивая головой так, что было непонятно: много все-таки едят в Германии или мало. — Вита-

лия Леонидовна, вы имеете... — она покрутила пальцами в воздухе, — фэ-эн?

— В шкафу, Юрик...

Юрка встал, но Габи плавным движением осадила его. Она сразу нашла фен, будто всегда жила в квартире у Виты. На кухне рыгнул холодильник. Котя испуганно зашевелился. Габи заметила собаку, положила фен на телевизор и присела возле Коти.

— О-о, зю-ус!..

— Укусит, — сказал Юрка.

— На-айн, — выдохнула Габи. — О майн зюсер!..

— Какой же он «зюсер», он провод весь покусал, — пожаловалась Вита. — Рост старался, удлинял, а он его...

— Рост? Ро-о-ост? — Габи оторвалась от пса и приставила палец ко лбу. — Рост — высокий рост?

— Какой высокий, это Витин хахаль, — объяснил Юрка, и Габи, ничего в результате не поняв, потрясла головой и снова стала возиться с собакой.

В дверь позвонили.

— Открыто! — крикнула Вита.

В комнату, покачиваясь, вошел мужчина лет пятидесяти.

— Виталия Леонидовна, — захрипел он. — Выдь-ка сюда. Я, конечно, извиняюсь, — он приложил руку к груди и чуть пригнул голову в сторону Габи.

— Здравствуй, Васенька, — сказала Вита. — Мне ходить-то, знаешь, не очень-то... нога... так говори...

— Мне тут... — замялся «Васенька», — сюда вот выдь... Я, конечно, извиняюсь...

Вита, сморщившись, сползла с тахты и проковыляла в прихожую. Вася плотно притянул за ней дверь.

Габи оставила Котю в покое и посмотрела на свои руки.

— О-о-о! Дер хунд есть грязный. Надо вашен... как это... стирать... мыть...

— Надо, — согласился Юрка. — Ужо мы его простирнем.

Звякнул колокольчик. Вита вошла и забралась снова с ногами на тахту.

— С какой целью он сделал свой визит? — спросила Габи.

— Сосед, — Вита показала пальцем на потолок. — Таблетки просит.

— Что-о? — напряглась Габи.

— Ну, чтоб быть мужчиной, — пояснила Вита. — Как выпьет — так просит. А где же я ему возьму такие таблетки?

— Ах, зо-о-о... — протянула Габи. — Мы тоже имеем эту проблему. Много алкоголь... имеет негативное воздействие. Для ФРГ этот проблем стоит актуальней против ГДР.

— Габи — патриотка, — улыбнулась Вита.

— Да, я — патриотка!.. — Ноздри Габи вдруг раздулись от неожиданного гнева. — О, простите... меня, когда... я... не лублу, если людям надо мной смешно...

— Я совершенно не хотела над тобой смешно, — сказала Вита, — глупенькая...

Юрка рассматривал Габи.

Она сидела в кресле и курила длинную черную сигарету. Из разреза платья чуть не до бедра выскользнула нога. Юрка хотел перевести взгляд, но не смог. Нога была шоколадного цвета и блестела, будто намазанная маслом. Чуть ниже колена проступала набухшая вена. Перехватив Юркин взгляд, Габи дотронулась до вены пальцем:

— Это следствие рождения моего сына.

— Вита, она меня соблазняет.

— О-о! — Габи дернулась и спрятала ногу.

— Ты, Габи, нам ребят не соблазняй, — сказала Вита. — У нас их и так недобор.

— Да! Да, у вас не все девушки могут найти свой друг. Я знаю... Я написала об этом одну статью в моем журнале... Но Юрий не есть мой типа. Он имеет лишний вес. Я лублю мужчин в хорошей кондиции. Спортлер. И он для меня еще есть малыш.

— Малыш! — Вита повернулась к Юрке. — Свози немку завтра в Загорск. А оттуда к нам на дачу обедать. Завтра

воскресенье, там все будут, и я подъеду, если нога не отвалится. И этогохвати, — она ткнула пальцем в Котю. — Он меня там еще полечит. Свозишь? Габи с Ленечкой очень хочет познакомиться.

— Прошу-у! — выдохнула Габи.

— Все вы такие, — заворчал Юрка, — как свозить — так «прошу», а как чего другое: «шпортлер» нужен. А Мила не занудит, что припрусь?

— Ну что ты выдумываешь! — возмутилась Вита. — Мила тебя очень... прекрасно к тебе относится.

— Ты хочешь, что я делаю кофе? — Габи очень легко выпорхнула из кресла.

— Угу, — кивнул Юрка. — Хочу. И бутербродец.

— У меня еще остался как-нибудь немного провиант. Мой кофер?..

— В той комнате, — подсказала Вита.

— Кофе сейчас будет готовый, — сказала Габи, закуривая новую сигарету. — Почему ты развелся от своей жены? Если у нее такая мать, — Габи показала на Виту, — дочь тоже должна быть как-нибудь позитивная, не так ли?

— Вита, я ее боюсь. Она кто, журналистка?

— Это неважно, — отрезала Габи. — Ты должен мне ответить.

— В другой раз.

— Гут, — кивнула Габи. — Я это буду не забывать.

— Ты знаешь, Юрка, куда она в среду идет? — перебила ее Вита. — Сто лет будешь гадать — не отгадаешь!

— Ну, куда-куда? Куда они все ходят: «Лебединое озеро», Ботанический сад, Театр кукол?

— Стереотип! — Габи выдохнула дым, и ноздри ее опять раздулись.

— Она идет в баню. Сандуновскую. В женское отделение. Потом писать про нее будет, — сказала Вита.

— Ну и пусть идет.

— Она с фотографом идет! С женщиной.

— С мужиком? — Юрка подался вперед. — Небось подслепый какой?

— Детлеф — красавец! — отчеканила Габи. — Детлеф — мужчина без фантанзац! — Габи с брезгливым выражением пощелкала пальцами. — Без жир в животе, как это есть у тебя. — Он — шпортлер!

— А-а, ну, раз шпортлер — другой разговор.

— Я говорю, наши дамы не согласятся, — сказала Вита.

— Не соглася-а-атся, — Юрка затряс головой. — Наши? Никогда! Срам!

Габи хитро улыбнулась:

— Хм, мы будем еще смотреть, ты будешь один кофе или больше?

— Или больше, — ответил Юрка. — А ты, вы тоже будете... голая?

Габи разливала кофе.

— В бане буду всего без...

— Вита, я не могу, она меня соблазняет! — завопил Юрка.

— Не ори, — цыкнула на него Вита. — Чего-то телефон странно себя ведет, не звонит...

— Я его вырубил, — сказал Юрка. — Потом наговоритесь.

— Включи немедленно!.. нет, ты посмотри на него! — всплеснула Вита руками. — Выключил! Меня по всей Москве ищут, знают, что я приехала! Рост должен звонить!

Юрка недовольно включил телефон. Вита подняла трубку, проверить, есть ли гудок, и положила ее на место.

— Прекрасно! — Она хлопнула себя по бедрам. — Так откуда Габи-то взялась? Иду я себе по Берлину... — Вита улыбнулась от воспоминаний и лукаво посмотрела в зеркало, поправляя прическу. — Иду, значит, по Берлину. Группа впереди. Везде красиво... И главное, везде пиво. Юрка знает, как я к пиву отношусь. Встала перед каким-то баром да как выкрикну: «Девушка пиво любит, а ей пива-то и нельзя!..»

Зазвонил телефон. Юрка сморщился:

— Вот всегда, только начнет интересное...

— Да. Додик, это я. Ну, говорите, чего вы жметесь?! Я слушаю... — Вита вдруг начала бледнеть сквозь загар и

приложила руку к груди. — Да... когда? Заболело когда?.. В семь?.. — Она взглянула на свои часы, потом на Юрку. — Сколько?

— Восемь, — ответил Юрка.

— Почему сразу не позвонили! — крикнула Вита и, прикусив губу, медленно закивала головой. — Да-да... Извините, Додик... — Она смотрела на Юрку, продолжая кивать головой.

— Ты не работал телефон! — догадалась Габи, раздувая ноздри.

— ...«Скорую» не вызывать. Нитроглицерин. Грелки к рукам, ногам, можно бутылки с горячей водой. Сейчас буду. — Вита положила трубку и тихо замычала, мотая головой. — Инфаркт у Роста. Видимо, обширный... — Она ткнула пальцем в Юрку: — Такси! Нет такси — любую машину!

Юрка выскочил из квартиры, звякнув колокольчиком.

Габи сдернула с себя африканское платье.

— Что я должна делать?

— В чемодане черная сумка с пряжкой. Доста-а-ань, — медленно сказала Вита, набирая телефон. — Петя? Это я, Вита. Приехала. В порядке. Петенька, ты дежуришь? Потом расскажу. Возьми машину, у тебя есть сейчас свободные? Кислород, кардиограф, носилки... Улица Горького, за Театром Ермоловой, справа подъезд, четвертый этаж. Она одна на этаже. Только быстрее. Если будешь раньше меня, то... Все, Петя...

Дверь открыл Додик, вид у него был виноватый.

— «Скорая» здесь, — забормотал он, — я не вызывал... И врач... такой грубый...

Вита быстро шла по знакомому коридору. Протянула вбок сумку — Габи подхватила ее; руки назад — Юрка стащил с нее плащ, Вита толкнула дверь и вошла в комнату.

Врач, худой, с острыми лопатками, возился в углу над узкой койкой. В комнате резко пахло мочой.

— Шок... — пробормотала Вита. — Зубы ему вынь! — крикнула она.

Петя завозилсь активнее.

- У-у-йди-и... — прохрипел незнакомый голос Роста.
- Помоги! — не оборачиваясь, крикнул Петя. — Прижми его малость...
- Момент! — Габи рванулась к постели.
- Сделал? — спросила Вита молодого парня, отцепляющего от батареи провод кардиографа. — Здравствуй, Коля. Давай!
- Здорово, Витюш! — сказал Петя, подходя к Вите, поцеловал ее в щеку и заглянул через плечо в кардиограмму. — Хреново, конечно... Задняя стенка только пашет. Я у него прежние кардиограммы нашел, посмотри...
- Да я их знаю, — вздохнула Вита и взглянула на Роста. Рост лежал очень похожий на пожилого покойника. Глаза его были заволочены мутным. В ногах лежал баллончик с кислородом.
- Может, вторую кардиограмму? — спросил Петя.
- Вита покачала головой.
- Некогда. Коля, сворачивай! Габи, Юрка! В машину за носилками! — Она подошла к постели Роста, села на край.
- Рост чуть ожил, пелена на глазах начала растворяться.
- Ро-о-остик! Все хорошо, — певуче сказала Вита и улыбнулась. — Сейчас в больницу поедем, полечимся...
- Петя посмотрел на Виту вопросительно:
- Подождать бы...
- Поедем, — твердо сказала Вита, взяла Роста за вялую серую руку, нащупала пульс. Привычным движением крутнула головку часов, но даже и не посмотрела на зашевелившуюся секундную стрелку. — Шприц. Ну, что ты, Ростик, а?.. — замурлыкала она.
- Как брюхо? — прошепелявил с трудом Рост и косо улыбнулся. — Скажи «трактор»...
- Трактор, — прокартавила Вита, и что-то булькнуло у нее в горле.
- У-уу, — улыбнулся Рост с закрытыми глазами.
- Все будет хорошо, — сказала Вита, поглаживая Роста по запавшей от отсутствия зубов небритой седоватой щеке.

— Я зна-а-аю, — выдавил Рост. — Поцелуемся дава-ай...
На всякий случай...

— Ро-о-стик, — заблеял вдруг голос Виты. — Ну, чего ты надумал, Ростик? — Она дернула головой, сбрасывая слезы с ресниц.

— Ээ, — подошел со шприцем Петя. — Ты, парень, дуру не гони! — Он погладил сгиб локтя, отыскивая вену. — Ты уже все, не ушел, теперь подынешься...

Вита отвела в сторону мешающую руку Пети, поцеловала Роста.

— У-у... — Рост закрыл глаза.

Петя ввел иглу.

— В случае чего... Жечь... Урну потряси... в плече осколок... — произнес Рост медленно, но членораздельно. — Не звенит — не я...

4

— Хэлло-о, — сказал женский голос. Такой голос Юрка слышал только в кино. — Здесь говорит Габриэль. Ты держишь свое обещание?

— Какое? — не понял Юрка и от удивления взглянул на телефонную трубку, в которой говорил зарубежный голос. — Я сплю...

— Достаточно спать для мужчины, — сказала Габи.

— Мне нужно, я корпулентный...

— Не обижайся, малиш... Ты имеешь прекрасный рост.

— Тогда ладно. Встаю уж, носки ишу... Котю погуляю и...

— Ты его бери с нами, — встревожилась Габи. — Я это хочу.

— Ишь ты: «хочу». Зачем он тебе, вам? В Загорске он попов укусит.

— Хочу, — чуть капризно сказала Габи. — Скажи, у вас в Загорске мы что-нибудь можем купить или я должна брать провиант?

— Да купим, не тусуйся... тем более я теперь голодать решил, десять дён.

— Почему-у?..

— Потому. Чтоб был шпортлер. Значит, встречаемся на Ярославском вокзале...

— Я буду смотреть натуру, — сказала Габи, усаживаясь у окна в электричке.

— Нет, Коть, ты слышал?! Натуру она будет смотреть! Подъем! Уходим!

— Хорошо, не буду. Тогда отвечай мне. — Габи загнула большой палец. — Первое: почему этот старый доктор Петя так грубый?

— Чего-о?! — хмыкнул Юрка. — Петя ангел, каких я не знаю. Он просто на «скорой» сто лет работал, а там у них своя манера...

Электричка тронулась. По вагону тетка катила ящик с мороженым. Юрка купил два. Одно сунул Габи, а со второго содрал обертку. Котя сел и заколотил по полу обрубком хвоста.

— Смотри фокус, — сказал Юрка. — На!

Котя открыл пасть. Юрка положил ему в пасть мороженое. Котя закрыл пасть, замер и снова открыл: мороженое исчезло.

— Можешь так же?

— Найн, — сказала Габи и загнула указательный палец. — Второе: почему Рост такой странный? Почему он совсем не имеет зубы? За что любит Вита его так очень?

— Отвечаю по порядку. Зубчики у него выпали с помощью твоих соплеменников на Юго-Западном фронте в окружении... От цинги...

— Шшайсе!.. — Габи чуть не клюнула его своим горбатеньким носиком. — Ты — дурак! Есть немцы и немцы!

— Ну-ну.. ишь чувствительная!.. После войны Рост был конструктор по парашютам. Такой конструктор, каких не было...

— Откуда знаешь ты?

— Знаю. Он рассказывал, — объяснил Юрка. — Он парашюты изобретал, а потом сам испытывал. Поняла?

В проходе взвизгнул Котя. Ему нечаянно наступил на ухо какой-то дядя с газетой.

— О, майн армер хунд! — рванулась Габи к собаке. — Ему давили ухо! Майн либер! Ком хир. — И тут же ощерилась на дядю: — Надо быть больше осмотрительной!..

Габи хотела ему еще что-то сказать, но Юрка потянул ее за рукав. Котя, поскуливая, перелег к окну.

— Вайтер, — велела Габи.

— Ну вот, — Юрка взял ее маленькую ладошку в руки и погладил, как бы прося прощения за дядю. — А на войне он десантником был. На нем живого места нет. Четыре раза в него ваши ребята попали, меткие...

— Что-о-о?! — Габи даже приподнялась с места. — Какие наши ребята?..

Котя вздернулся с пола и приподнял ухо.

— Тю-тю-тю! — замахал на Габи Юрка. — А ты, Котя, — предатель. Она на меня нападает, ты ее укусить должен... Не тусуйся, Габи, сиди тихо. — Юрка надавил на ее худенькие плечи.

Габи нервно вывернулась, но села на место.

— Он совершил одно героическое дело?

— Тьму.

— Какое?

— Вот у него одна медаль «За отвагу» — знаешь за что? За отнимание оружия у трупов... Они отступили, а дело зимой было. — Юрка взглянул на Габи. Глаза у нее стали влажные. — На поле боя много оружия осталось. А поле все пристреляно. А без оружия отступить нельзя. Оружие бросить — командира расстреляют. Желающих вызвали. Рост пошел...

— Он имел приказ? — тихо спросила Габи.

— Сам. Командира пожалел. Тот его от штрафной роты когда-то спас. Рост подрался и финкой сухожилие одному парню перерезал. Командир тогда дело замаял. Ну, вот он с ним сквитался... и потом еще Рост был уверен, что в него до смерти не попадут. У него чувство боя обостренное... Откуда пуля летит, чувствует... интуиция...

— Я знаю: такое есть! Вайтер. Дальше, — прошептала Габи.

— Он матери своей совсем с войны не писал писем. Они договорились, что будет писать, если ранят. А нет писем — значит, жив-здоров. Так он ей за всю войну только четыре письма и написал.

— Он не любил свою мать? — вжав голову в плечи, спросила Габи.

— Н-не очень...

— Как это может быть?

— Может. У него родители были богатые, врачи оба. И до революции, и после. У них даже машина была. А он просил велосипед на день рождения. И мать купила ему, но.. — Юрка сделал паузу и поднял вверх палец... — Но подержанный. Поняла: сами богатые, а велосипед старый, чтобы подешевле?.. Да к тому же дамский.

— Ну и что? — удивленно пожала Габи плечами.

— А то: понял, что у него мать скупая, вот в чем дело! В принципе. И даже не в этом...

— Хм... — Габи задумалась, постукивая пальчиком по зубам. — Странно... еще рассказывай про него.

— Еще, еще?.. Чего же еще?.. Ммм... вот он войне, например, был рад.

— Что-о-о?

— Вот то... ну, не совсем чтобы рад, но во всяком случае... Он в июне перед войной прыгал с парашютом, ну, для спорта. И неудачно: ногу растянул. К врачу пойти поленился, а на работу на следующий день не смог. А тогда с прогулами строго было. А он сидит дома, на работу не ходит. А в воскресенье война началась, он сразу — в военкомат.

— Это не есть радость. Это есть счастье в несчастье.

— Ну, называй как хочешь, короче — не в тюрьму.

— Скажи, он это все сам рассказал? Он любит хвалить себя?

— Рост?! — удивился Юрка. — Это Вита из него все выуживает втихаря, а потом мне...

— Гёнок, — сказала Габи. Она сделала резкое движение рукой. — Это теперь ясно. Я тоже могла быть с такими как Рост. Последнее: зачем он имеет волосы покрашенные?

— И эта туда же!.. Что они вам всем дались — его волосы?! Ну, красит и красит. Хочется человеку, пускай себе красит, что хочет. Хоть задницу. Пушкин вон когти какие отращивал, — Юрка показал, какие, — что он, от этого писать хуже стал или что?!

— Зачем ты кричишь? — удивилась Габи. — Ты, наверное, от голода в приступе?

В Загорске моросил дождь. Юрка привязал Котю, и они с Габи вошли на территорию лавры. Из-за дождя народу было мало. Габи посмотрела на соборы, сказала, что они ей нравятся, и поинтересовалась у какой-то бабушки, где учатся «молодые люди на попов». На попов учились за чугунной оградой. Там парень в черном кителе, надев на голову целлофановый пакет, мел пустой двор. Наметенный мусор он большим совком носил в слабо горящий костер.

Габи окликнула его.

— Как я могу посетить ваши занятия? — спросила она.

Парень оглядел ее с ног до головы и показал пальцем на одноэтажное строение. И еще раз оглядел ее.

— Габи, извини, — сказал Юрка, когда они отошли от ограды. Он аккуратно застегнул спустившуюся молнию на ее бежевом комбинезоне, чуть не зацепив янтарные бусы. — Так-то лучше будет, все-таки религия.

Габи фыркнула и оглянулась. Парень за оградой мел дальше и поглядывал в ее сторону.

— Вот так! — поддразнил Юрка. — Это тебе не ваши попы с лысиной... Наших не соблазнишь...

— Дурак! — спокойно сказала Габи. — Я имела интервью с вашим митрополитом.

Она позвонила в дверь указанного строения, оттуда вышел молодой человек тоже в черном кителе и вежливо пояснил, что если Габи имеет специальное разрешение епар-

хии, то она может посетить занятия. А если нет, то — не может.

— Это странно, — сказала задумчиво Габи и разочарованной, очень красивой походкой пошла к дверям собора.

— Ну-ка! — уже резко остановил ее Юрка на паперти. Он с треском застегнул молнию комбинезона, непонятно каким образом снова спустившуюся чуть ли не до пояса.

— Какие вы русские?! — возмутилась Габи. — Плювать на улице, бросать... как это... остатки сигареты можно, а ходить свободно нельзя!..

— Да это не просто свободно! — развел Юрка руками. — Все же видно, хоть бы лифчик, а у тебя вместо лифчика одни бусы! Я пойду кобеля проведать, может, сгинул, дай ему Бог здоровья!

Габи он нашел в соборе.

— Ваша мадонна имеет глаза, в которых, как у тебя, стоит грусть. — Габи несколько раз посмотрела на икону, на Юрку, на икону, на Юрку. — Ты тоже имеешь библейские глаза. Только она Бога рождает, а ты? Я все знаю от Виты. — Она подошла к служительнице, торговавшей свечами, и выбрала самую толстую свечу. Та что-то сказала ей, Габи резко вскинула голову и взяла свечу потоньше.

— Для Германии, — пояснила она Юрке. — Мы уже должны ехать на дачу, не правда ли?

Юрка кивнул.

— Правда, жрать хочется.

— Ты очень любишь добиваться выгоду! — Габи передернула плечами и вдруг встала как вкопанная: — Момент! Ты же отказался от еды на десять дней и ночей.

— Да? — Юрка тяжело вздохнул. — Может, это я пошутил, а?

Перед нужной остановкой Габи, помолчав, вдруг нахмурила лоб.

— Ты продолжаешь любить Виту, но она уже не есть больше твоя родственница. И она тебя как-нибудь очень любит... Должно это значить, что у вас интимный контакт?.. Ты приходил к ней в постель?

Юрка ошалело поглядел на нее...

— Почему не е-ет? — удивилась Габи. — Это бывает...
Если любовь, разный возраст не играет роли...

— Поспи, Габи, — родительским голосом посоветовал Юрка и пригнул ее голову к себе на плечо. И вдруг вскочил. — Подъем, проедем! Котя!

Вместо забора по периметру дачи Вербицких рос кустарник. Его стригли, если не забывали. Этим летом не забыли.

На двух серебристых елях, посаженных еще покойным Сеней, были развешаны самодельные лампички, переделанные из елочной гирлянды. На каждом лампичке было нарисовано лицо: детское или взрослое.

— Вита выдумала, — сказал Юрка. — Как кто родится или поженится — так его сюда. А рисует сестра Виты.

— А что случается, если идет дождь? — удивилась Габи.

— Краски хорошие. Импортные. Это Лида, — Юрка ткнул пальцем в лампичку.

— А ты?

— Меня Мила замазала после развода. У Лиды теперь физик. Вот он!

Габи подошла вплотную к елке и взяла шарик в руки. На нее смотрел человек с бородой, в очках и с большой лысиной.

— Я как-нибудь теперь понимаю Лидию, — задумчиво сказала Габи, выпуская лампичку из рук. — Он очень умный... Как Юрген... Мой муж. — Она ткнула себя пальцем в грудь.

— Умный-то умный, а жениться не торопится. Котя! Ты где?

Вдалеке зашуршали кусты: ломился Котя, и тут смех на веранде сменился задушевым лаем. Послышался удар, похожий на мощный шлепок, и в распахнутую дверь высунулись две ощеренные собачьи морды...

— Откажи-и-ись!.. — прохрипел мужичий голос, который трудно было представить себе на этой розовой веранде. — Уу, стервы!..

Собаки взвыли и утянулись внутрь.

На полу веранды сидел здешний сторож Федор Палыч. К поясу его поверх устарелого пиджака были привязаны две длинные веревки, которые тянулись под топчан. Под топчаном скулили собаки, ударенные, по всей видимости, железным прутом, который сторож держал в руке. Возле старика суетилась немолодая женщина, очень похожая на Виту, только некрасивая. Свободной рукой сторож держал пустой стакан, которого не выпустил во время падения со стула. По мокрым штанам и по запаху нетрудно было понять, что водку Федор Палыч пролил. Чем и был сейчас недоволен. Людмила Леонидовна помогла ему подняться и усадила за стол. Красивый черноволосый парень налил водки в его пустой стакан. Он же подал ему ушанку с проплешинами, откатившуюся в угол.

— Здравствуйте! — сказал Юрка. — Это Габриэль, знакомая Виты. Из ГДР.

— Здравствуйте, — Людмила Леонидовна кивнула Габи. — А сама Виталия когда прибудет?

— Да она вчера приехала. Они вместе приехали, — показал Юрка на Габи.

— Здравствуйте, Габриэль, — уже приветливее повторила Людмила Леонидовна. — Проходите, Габриэль... красивое имя.

— Так я чего говорю-то... Эта лабуда мещанская...

— Соседи, — перевел слова сторожа черноволосый парень.

— Не перебивай, — сторож шлепнул его по руке, давая понять, что он не случайно употребил именно это слово. — Эта лабуда кошатиной в войну торговала. И провода замкнула в среду. А я чуть кенарей коптильным газом не подушил. Ты понял?! — рывкнул Федор Палыч, поворачиваясь к Габи. — Хорошо, в обходе недалеко был. Вижу, мать честная, Есся бежит... — Он показал на черноволосого.

— Изя, — поправила сторожа Людмила Леонидовна.

— Во-во: Есся. И меня кличет: кенари, мол, орут, елабызным голосом.

Людмила Леонидовна с удивлением посмотрела на Изю, как бы проверяя, мог ли он сказать такое.

— ...У меня дом-то из липы, из чего балалайки делают, звенит весь, как эта!.. — он постучал по столешнице для сравнения, но остался недоволен выбитым звуком. — Ты понял?! — снова повернулся он к Габи. — А если бы Есся не бёг?!

— Изя, — снова поправила сторожа Людмила Леонидовна.

Сам же Изя, улыбаясь, махнул ей рукой: не перебивайте.

— ...Во-во, не Есся, так все кенари бы передохли. О-о! — Он пощупал шапку на голове и встал. — Все! В обход пошел. — Он цыкнул на псов, заворочавшихся под тахтой, те боязливо выползли. В дверях сторож остановился: — Этот зять у вас удачный, не то что... — он кинул взгляд на Юрку. — А от головы, Мил, я тебя пчелками поклюю — отпустит.

— Спасибо, Федор Палыч, — сказала Людмила Леонидовна. — Заходите.

— А ты, Юрк, с кобелем, что ли? Псы-то мои взъерошились? Ты кобеля на перевязь возьми: кругом суббота — народа полно...

— Чего было-то? — спросил Юрка Изю после ухода сторожа.

— Да я две елки спилил для стропил, а Палыч заметил, теперь вот шантажирует, говорит, заявит. Водки у нас перепил!..

— И заявит — очень даже просто. А Виталии ни до чего дела нет. Почему вот она не приехала?

— Вита в больнице, занята, — сквозь зубы процедил Юрка, заметив, как Людмила Леонидовна поморщилась от «Виты». «С пол-оборота завелась», — подумал он. — Мы сюда приехали не по своей инициативе... В Загорск ездили. Вот Вита и велела, чтобы Габи вас посмотрела. Ну... познакомилась.

— Ну что ж, — усмехнулась Людмила Леонидовна. — Будем знакомы.

— Ну, чего с домом-то? — чтобы не заводиться, спросил Юрка Изю.

— Строится потихоньку, — ответил тот, улыбаясь, — материала маловато...

— Мы же две машины пригнали! — удивился Юрка.

— Одно гнилье! — буркнула от плиты Людмила Леонидовна.

Юрка глянул на Людмилу Леонидовну и прикусил губу.

— Нормально, Юрик. — Изя коснулся его руки. — Там полно хорошего леса, больше половины. Зачем вы, Людмила Леонидовна? Просто дом надумали делать больше... Есть не хотите?

— Не готово еще! — отозвалась Людмила Леонидовна. — Юра знает — мы обедаем поздно.

— Очень хорошо поспа-а-ал... — послышалось за дверью, и на веранду вышел красивый седой старик.

— Отец, — шепнул Юрка Габи. — Здравствуйте, Леонид Григорьевич!

— Да-да, — кивнул головой старик. — Да-да.

— Это Габриэль, Ленечка, — громко сказала Людмила Леонидовна. — Подруга Юры.

— Подруга Виты, — мрачно поправил Юрка.

— Тебе видней, — Людмила Леонидовна помешала суп в кастрюльке.

Юрка поймал ее взгляд и посмотрел на Габи. Габи была как Габи. Только молния на комбинезоне опять спустилась. Юрка, не глядя на Габи, застегнул молнию. И понял, что опять зря: теперь Людмила Леонидовна точно знает, чья она подруга.

Габи встала и подала старику руку.

— Гутен таг.

— Громче! — бросила Людмила Леонидовна. — Он плохо слышит.

— Здравствуйте! — сказала Габи.

Леонид Григорьевич пожал ей руку и улыбнулся. Наверху заплакал ребенок.

— Там Изя с женой, — сказал Юрка, показав наверх.

— Маленький? — спросила Габи и выставила перед собой два указательных пальца. — Такой?

— Больше... — Изя смущенно улыбнулся.

— Мои дети уже немаленькие, — сказала Габи и вздохнула...

Людмила Леонидовна ухмыльнулась.

— Водки хотите? — спросил Изя.

— Данке, — ответила Габи, — чуть-чуть, пожалуйста.

Людмила Леонидовна бросила на нее недовольный взгляд.

— А ты, Юрик? — спросил Изя, занося бутылку над вторым стаканом.

— А Юрик не хочет, — процедил Юрка. — И Габи не хочет. — Он отодвинул ее стакан.

— Почему? — удивилась Габи.

— По кочану!

— Ты не очень-то распускайся! — сказала Людмила Леонидовна. — Тоже мне нашелся...

Юрка перелил водку из Габиного стакана в бутылку и, взглянув на часы, постучал пальцем по циферблату.

Изя покраснел и почесал затылок.

— А Витушка когда же вернется? — улыбаясь, спросил Леонид Григорьевич.

— Ее друг больной, — объяснила Габи.

— Что?

— Вита приехала, но она в больнице, — сказал Юрка. — У Роста инфаркт. Она с ним.

— Господи! — раздраженно бросила Людмила Леонидовна. — Только этого не хватало!..

— Ростислав Михалыч заболел! — громко сказал Юрка. — Инфаркт!

— Как же так?! — всполошился старик. — Был здоров!

— Ленечка! — крикнула Людмила Леонидовна. — Тебе налить суп?

— Подожди! — раздраженно отмахнулся Леонид Григорьевич. — Ты что, не слышишь: у Ростислава Михалыча инфаркт? Ой, беда какая!.. ой, беда!.. Какой человек достой-

ный... Ветеран войны, прекрасный специалист. Он конструктор. Ах, вы уже знаете? — он заметил кивок Габи. — Дай Бог, чтобы все обошлось. Вита очень его ценит. И мы все, — он показал жестом на дочь. — Я ведь его мать покойную знал, Софью Аркадьевну. В высшей степени достойная женщина.

Габи возмущенно повернулась к Юрке:

— Вот видишь! А ты говорил!..

— ...Что такое, что такое?.. — заволновался Леонид Григорьевич. — Мы с ней в больнице познакомились, — зашептал объяснить он, думая, что Габина резкость вызвана каким-то сомнением. — Она Витин пациент, а меня, когда я ногу сломал, Вита к себе положила, хоть это и нельзя по правилам... Она меня с Софьей Аркадьевной и познакомила...

Габи придвинулась к нему поближе, давая понять, что она очень внимательно будет слушать, не перебивая.

— ...Ее, вы знаете, в тридцатом году лишили гражданских прав, по ошибке, разумеется. Она осталась совершенно без средств к существованию.

— Ленечка, ну ты же не знаешь, как было на самом деле! — раздраженно перебила отца Людмила Леонидовна.

— Как это не знаю! Она мне сама рассказывала неоднократно. У нее был лучший в Москве санаторий для туберкулезных больных. Потом все обошлось, ее восстановили в правах.

— Ленечка, ты суп будешь?! — крикнула Людмила Леонидовна.

— Отстань ты от меня с супом! Я говорю с нашей гостью!

— Господи!.. — прошипела Людмила Леонидовна, выключила газ и ушла в комнату.

Старик разволновался.

— А как у Витушки живот? — спросил он. — Девочка моя... Так ей досталось, а тут еще это несчастье...

— Да живот вроде ничего, — всунулся Юрка. — Вы-то сами как, Леонид Григорьевич?

— При чем здесь я?! — раздраженно бросил старик. — Я здоров как бык!

Изя подошел к плите, налил в тарелку суп.

— Будете? — спросил он Габи.

Габи отрицательно покачала головой. Зато Юрка помянул его: давай.

— Так что с ним случилось, с красавцем нашим?! — На террасе снова появилась Людмила Леонидовна. — Допрыгался?

Габи опустила глаза и медленно произнесла:

— Он был уже почти труп. У него значительный инфаркт.

— Да, наверное, ничего серьезного... — Людмила Леонидовна пошевелила пальцами, будто сушила маникюр. — Просто Виталия носится с ним!.. Вот у Сенечки был инфаркт, так его и до больницы не довезли... А это... — Она опять неопределенно пошевелила пальцами.

— Почему вы выражаете такое зло против этого человека? — по-прежнему глядя в стол, выговорила Габи. — Вы злая!..

Юрка поспешно дохлебывал суп, чувствуя, что с минуты на минуту придется отчаливать, а до дому еще пилить и пилить.

— Габриэ-эль! — Людмила Леонидовна с улыбкой несправедливо обиженного человека развела руками. — Габриэль! Что с вами?! Вы у нас первый раз в гостях...

Габи вскочила, чуть не сломав стул.

— Аккуратней! — не выдержала Людмила Леонидовна.

— Я никогда есть больше здесь цу гаст! — отчеканила Габи и вышла с веранды.

— Что такое, что такое?! — забеспокоился Леонид Григорьевич.

Юрка успел еще пару раз черпануть суп, сунул в рот недоеденный бутерброд и встал.

— Изь, позвони мне! Я тебе книгу купил, как печки класть!

— Ага, — виновато сказал Изя, встал, чтобы проводить Юрку, но перехватил взгляд Людмилы Леонидовны и остановился. Тем более что Юрка жестом показал ему: не надо.

Габи шла быстрым шагом по дорожке. Юрка догнал ее.

— Не беги — упадешь!

— Теперь я хочу посмотреть, как ты живешь! — вскинулась Габи. — Сейчас!

— Ну... — с усмешкой протянул Юрка. — Поедем. Только у меня не прибрано. Эх... Жалко, пожарть не поели.

— Твои чувства низки! Что ты думаешь все время жрать! — И вдруг, неожиданно прильнув к Юрке, она замерла. Постояла так несколько секунд.

Юрка, не зная, что делать, погладил ее по чуткой тонкой спине, по голове... Затем она так же резко оттолкнула его.

— Я хочу, что мы наконец уже едем.

В поезде Габи укачало, и она заснула на плече у Юрки. Было очень приятно чувствовать совсем рядом ее душистую легкую голову. На виске под загорелой отполированной кожей пульсировала голубая жилка.

5

Ну ладно, ладно тебе! — Михаил Васильевич заслонился от Коти, кинувшегося ему на грудь. — Не кормил небось? Я ему каши овсяной приготовил из костей. Хрипуха твоя звонила. Я говорю, на дачу выехал... Еще тешенька. Справлялась, как живешь, что кушаешь? Наведаться обещала. И меня одним разом полечит. Свет включи.

Юрка нашарил выключатель, но лампочка перегорела. Юрка открыл дверь в комнату, включил свет. Тут только Михаил Васильевич углядел Габи. И несколько опешил. Потому что наговорил лишнего, а одет был недостаточно: под распахнутым тулупом синие китайские подштанники и такая же рубаха навыпуск.

Михаил Васильевич попятился, пытаясь запахнуться; на груди тулуп сошелся, а на животе не получалось.

— Прошу прощенья, не приодет, не думал, что... барышня.
— Это не главное, — Габи улыбнулась, подошла к старику поближе. — Здравствуйте. Я есть Габриэль. Из ГДР.

— Как, как?

Габи повторила свое имя.

— А-а-а, так это вы утром-то звонили? А я думал, кто ж так рано... Все больше к вечеру называют...

— Ну, ладно, Михаил Васильевич, — перебил соседа Юрка.

— Так, так... — переводя взгляд с Юрки на Габи, забормотал Михаил Васильевич. — На отдых к нам или по службе?

— Журналистка она, — сказал Юрка, затягивая Габи в комнату. — В командировке.

Юркина комната неожиданно понравилась Габи. Понравилось, что квадратная, что с маленьким балкончиком на проспект Мира, который сегодня, к концу воскресенья, был тихий.

Из сыра и черствого хлеба Габи мгновенно приготовила в духовке вкусные крекеры. В сумочке у нее нашлись пакетики растворимого кофе. Она накрыла на журнальном столике и включила телевизор.

— Садись! — сказал Юрка и потянул ее на тахту.

Не глядя на него, Габи медленно приблизилась к стене.

— О, о!.. Вас ис дас?

На стене на видном месте зеленым фломастером было написано: «Я тебя очень, очень, очень люблю!»

— Кри-пу-ха?! Шшайсе! — прошипела Габи и трагическим движением опустилась в кресло.

Юрка уже знал, что это самое грубое у немцев слово, хотя в переводе на русский оно было довольно безобидное.

— Не сверкай очами, Габи, — пропел Юрка и погладил ее по голове. — Хочешь, я тебя в маковку поцелую? А это дело мы замажем. Это же просто так... наскальные надписи. Давай лучше покушаем.

— А старик? — Габи кивнула на дверь.

— Можно позвать. Михаил Васильевич!

На крик в комнату ворвался Котя.

— Найн! — Габи отпихнула его перепачканную овсянкой морду. — На-айн, майн клинер!

В открытую дверь постучал сосед.

Михаил Васильевич был в помятом костюме с галстуком. В руке он держал розовый графин.

— Наливочка вот, — он проковылял в комнату и поставил графин посреди столика. — Дружок у меня сам изготавливает. На даче фруктов вырастит и делает. А может, кашки желаете? На мясном бульоне.

— Данке. Спасибо. Я устала головой, забываю по-русски.

— Я тоже на память страдаю, — покивал ей старик и сказал сурово: — Ты ему морду умой лучше, чем газетой шоркать.

Юрка увел Котю в ванную.

— Я вот по-немецки все вспомнить хотел. На войне-то знал, а теперь... — Михаил Васильевич развел руками. — Приятно было познакомиться, Габриэла?.. Как по батюшке? Отца как зовут?

— Мартин.

— Габриэла Мартыновна. Вы тут выпейте со свиданьем, а я пойду: к вечеру мочи нет — ноги грызет. Ноги-то побитые.

— Уходите уже? — сказал Юрка, пропуская соседа в дверь.

— Башмак надо кончить, завтра на сельхозвыставку намереваюсь.

Сосед ушел. Габи выключила телевизор. Скинула туфли, сразу стала маленькая.

— И чего ты на каблучищах маешься? — удивился Юрка.

— Ты есть причина, что я себя заставляю мучить мои ноги. У меня ноги короткие!

— Отрастут, какие еще твои годы... — пробормотал Юрка, ловя себя на том, что говорит словами Роста. — А хочешь, положи их повыше, Вита всегда так делает.

— Вита? Майн гот!.. Я знала!.. Я говорила!..

— Габинька... — Юрка подошел к ней и обнял за плечи. — Ну, что ты! Это же Вита.

— Устала... Было так много окружающих... Скажи еще: почему Рост так странно одетый? — Она достала круглую красную жестяночку с вьетнамским бальзамом и помазала себе виски. — Он хиппи?

— Ну, ты даешь!.. У него две дочери! Взрослые! В институте учатся. Две-е. Цвай!

— Не говори со мной, как с дуркой, я тебе дам один шаг в зад! Я умею!..

— Ты меня лучше шпагой заколи. Только она гнется. На! — Юрка достал из шкафа старинную шпагу с потемневшим лезвием. — Рост подарил. Он на ней шашлыки жарил.

— Вар-вар! — простонала Габи. — Это раритет. Это надо декор. — Она отыскала над тахтой гвоздик и повесила шпагу за эфес.

— А если ночью по головушке?

— Слушай, ванна где есть? — устало спросила Габи. — Я совсем разбита... Открой окно, чтобы люфт... хунд спит...

— Я ничего не поняла здесь в тот раз, — сказала Габи на остановке автобуса. В глазах ее стояли слезы. Говорила она тихо и все время держала Юрку за руку. — Ни-че-го... — Она с ненавистью посмотрела на приближающийся автобус. — Ты сейчас вернешь Котю домой и потом?

— На работу.

— О майн клинер... — тихо прошептала Габи, непонятно к кому обращаясь: то ли к Юрке, то ли к терьеру...

6

Габи тянула время. Она сделала репортаж о русской бане и вымолила разрешение продлить командировку еще на неделю, пообещав подготовить материал о цыганском ансамбле. Виделись они каждый день.

Однажды Габи не позвонила в конце дня. Юрка прождал час, помог уборщице двигать столы, но звонка не дождался.

Дома Михаил Васильевич грустно протянул ему письмо: — Мартыновна днем приходила. Самолет у ней сегодня. Письмецо тебе велела.

Юрка разорвал конверт.

«Ты будешь дальше обнимать Нину, Галю, Маню, а я, старая корова, буду даваться некому».

— ...Супчику ей налил, наливочки, чтоб повеселей было... Жалко бабочку, хоть и немка... Уехала... Ну, чего ты загоревал?.. Таковую — понятное дело — с шеи не счешешь. Ничего — обомнется. Тебе вот тещенька звонила, беспокоится, как ты...

Юрка впал в тоску. После работы он шел домой пешком, чтобы убить время. Читать не получалось. Все было неинтересно.

Один раз Габи позвонила ночью. Превозмогая стыд, срывающимся голосом спросила: «Ты один?» Она сказала это таким несчастным голосом, что от жалости к ней у Юрки стянуло горло, и он только тупо бормотал: «Ну, что ты говоришь, Габинька, ну как ты можешь...» Ничего другого вымолвить он не мог, по щекам катились слезы...

Михаил Васильевич донес Вите о Юркиных переживаниях. Та — Росту. Рост позвонил Юрке и под угрозой разрыва отношений велел заниматься делом, то есть срочно сдавать «хвосты» в институте, — из института Юрку каким-то чудом еще не отчислили.

Институтские дела немного оттянули Юрку от тоски. Рост велел на занятия не ходить — какие мозги после работы, — а как следует готовиться к сессии. И предложил, пока лежит в больнице, сделать Юрке контрольные. А с чертежами Юрка и сам справится — не первый год замужем...

Через месяц от Габи пришло письмо. Кончалось письмо по-немецки без перевода: «Майне хенде зинд леер оне дихь». Михаил Васильевич, как ни напрягался, не мог рас-

шифровать приписки, правда, вспомнил, что «хенде» не иначе как руки, потому что «хенде хох».

На сегодня Юрка отпросился с работы — ехать за Ростом. Вчера вечером он ездил к нему домой на улицу Горького, купил продуктов, чтобы Рост вернулся не в пустой дом. Вита, та вообще настаивала, чтобы Рост пожил пока у нее. Но Рост ни в какую: домой.

В больнице был карантин, и Юрка из пищеблока поднялся на четвертый этаж в грузовом лифте, благо его там знали.

«Майне хенде зинд леер оне дихь...» Постучал в кабинет, где обычно обитала Вита.

Заведующая отделением Ирина Павловна говорила по телефону. Вита листала историю болезни.

— Ну, забираем Роста? — негромко спросил Юрка Виту.

— Ага, выписали. Сейчас пойдем.

— Не уходи, Вита. — Ирина Павловна положила трубку. — Давай закончим с расписанием.

Они склонились над столом.

— ...А мне что, больше всех надо?! — В дверь без стука вошла толстая медсестра. — Ирина Павловна, как хотите, я так больше не могу! Все Тарасова да Тарасова!..

— К старшей сестре, — не обращая на Тарасову внимания, отчеканила Ирина Павловна.

— Ее сегодня нет, а мне что, больше всех надо!.. — выкрикивала Тарасова.

— К старшей сестре, — так же невозмутимо, как и в первый раз, сказала Ирина Павловна. — Закройте дверь.

Тарасова просительно посмотрела на Виту, та на Ирину Павловну, а Ирина Павловна сказала, считая дверь уже закрытой:

— У тебя получается четыре дежурства. Как ты?

Дверь за сестрой захлопнулась.

— Нет, Ириш, много. Ставь два.

— Слава Богу, сообразила. Ставлю двенадцатого и двадцать третьего.

— Давай. А я сейчас' выписку закончу. — Вита села за стол. Ирина Павловна отложила расписание дежурств, улыбнулась.

— Ну как ты, Юрик?

Юрка неопределенно засопел, пожал плечами и потянулся к сигаретам Ирины Павловны.

— Курим? — удивилась Вита. — Ну да, на нервной почве! Достань-ка мне «Ессентуки» из холодильника. Габи — девка-то неплохая, — пояснила она Ирине Павловне. — Истеричная только.

— Вы не знаете, что такое «леер» по-немецки? — спросил Юрка, откупоривая «Ессентуки».

— Леер, леер?.. Вроде веревка, нет? Черт ее знает. В словаре посмотри, — Ирина Павловна кивнула на книжный шкаф.

— У нее уж двое детей было с Юргеном, — не переставая писать, сообщила Вита, — а она все фордыбачилась, замуж за него не шла. Чувства проверяла. Он не Бог вещь какой мужик. Кстати, главный врач клиники. Днем работа, вечером чего-то в подвале вырезает, потом один шнапс на ночь под музыку и дрыхнуть. А тем временем бабенку себе завел. Медсестру из клиники. Завел и молчит, стервец. Ждет, когда Габи сама на развод подаст. Чтоб на репутации не сказалось. Чем кончится, неизвестно...

— Она уже подала, — вздохнул Юрка.

Вита вскинула голову.

— Ты смори, глупостей не напори! Она тебе устроит веселую жизнь. Шальная баба!

— Она меня к вам ревнует...

— Вот-вот, из той же оперы. Говорю: истеричка. Но все равно симпатяга. Мне такие нравятся.

— На расстоянии, — скептически заметила Ирина Павловна и, чтобы перевести разговор на другую тему, спросила:

— «Леер»-то свою перевел?

— Пусто, — сказал Юрка.

— Чего «пусто»? — не поняла Ирина Павловна.

— «Леер» — «пусто», значит, — пробормотал Юрка и, поставив словарь на место, еще постоял так — лицом к стене.

Вита приложила палец к губам. Ирина Павловна понимающе кивнула.

По словарю Габены слова получались: «Мои руки есть пусты без тебя».

— Пойдем-ка, Юрик, Роста забирать, — бодрым голосом сказала Вита.

Бежало лето. Лида привезла сына. Вита почти каждый день ездила после работы на дачу. Она очень хотела, чтобы внук звал ее бабушкой, и даже покрикивала вначале, когда внук говорил ей, как все, — «Вита». Потом ей надоело одергивать ребенка, и она отцепилась от него, так и оставшись «Витой». Правда, мальчик, перестав называть ее бабушкой, перестал и слушаться ее. Виту это не очень беспокоило, она считала, что ребенку необходим продых в строгой системе Лидино воспитания.

А живот болел все сильнее. Вита стелила себе на веранде, чтобы никто не слышал, как она мается по ночам.

Второй домик уже достроили, и Вита радовалась, что теперь у Лиды, когда она полностью переберется в Москву, будет и на даче свое изолированное жилье. Тем более что личные ее дела вроде налаживались — отец Мишеньки согласился наконец расписаться. Вите он очень нравился, вот только никак не могла запомнить его трудную фамилию.

К Грише Соколову Вита не шла, решила подождать до осени, когда переедут с дачи, а Рост отправится в санаторий. И потихоньку стала попивать обезболивающее.

Наконец дачу заколотили, Мишеньку увезли. Рост уехал в санаторий.

— Ю-ю-рочка, ну как тебе еще объяснить? И можно, и нужно переживать, но только в том случае, если результаты переживаний могут повлиять на дальнейшие события.

А так — то не переживание, а пережевывание. Ну, неужели непонятно?! Ну вот что ты: «Габи, Габи...» Давай спокойно подумаем: какие перспективы ваших отношений?

— Она будет приезжать... — угрюмо пробормотал Юрка. — Я к ней съезжу.

— Дальше.

— Поженимся, — нерешительно пробормотал Юрка.

— Чего?! В твою комнатку на проспекте Мира? С детками?

— С милым рай и в шалаше.

Ростислав Михайлович молча взглянул на него, накинул поудобней на плечи сползшую куртку и повернул в поле.

— Я тебе сейчас такую Виту покажу, закачаешься, — обернулся он к Юрке. — Ну, что ты ползешь, поспешай. Искупаться хочешь?

— Не хочу, — ответил Юрка, хотя был полдень, стояла жара и окунуться было бы совсем неплохо. Юрка стеснялся раздеваться при Росте: тот всегда дразнил его. И даже начинал щипать за сало.

— Гляди, девка, тебе жить... — сказал Рост и, словно перехватив Юркины мысли, добавил: — Я дочек спрашиваю: «Как вам, — говорю, — мой Юрка?» Они плечиками так поводят: «Он же толстый». Я говорю: «Ну, толстый-то толстый, ну, а как он вам понравился?» — «Ну, он же толстый». Кстати, покушать не надумал? А то обед скоро.

Юрка плелся за Ростом и думал о своем. Сперва все вроде шло нормально. Шашлык купил — к Росту в санаторий. А на вокзале как сел в электричку Москва — Загорск, и забрало, Габи!..

— Может, вернемся, Ростислав Михалыч?

Рост обернулся.

— Тупой ты, дружок, в ходу. Ну, давай воротимся. Виту я тебе хотел показать.

— В каком смысле?

— В прямом. Музейчик маленький неподалеку. — Рост показал рукой за поле. — Там баба из скифского кургана.

Каменная. Кто ее приволок?.. Экскурсовода спрашивал, не знает. Ну, вылитая Вита. Жалко, фотоаппарата нет. Один в один — Вита. Так и хочется погладить.

— А может, мне все-таки пожениться с Габи? — не слушая его, пробубнил Юрка.

— Тыфу ты, Господи. Я о деле, а он...

— Ну, ведь может же получиться?..

— При отсутствии достоверности правилом умного должна быть наибольшая вероятность. Цицерон. Смотри когда жил, а уже понимал. Все, Юрочка, хватит, ей-Богу, хватит, прекращай. Ты лучше со своей прежней женой сойдись, с этой, с Лидой. Виту порадуешь.

— Не-е-е, — потряс головой Юрка.

— Ну и дурак, — спокойно сказал Рост и повернул к санаторию. — Что у Виты?

— Болит... — вздохнул Юрка.

— Здорово?

— Она же не скажет.

— Мда... — произнес Рост.

— А Габи звонит... — пробубнил Юрка. — Часто...

— Скажи, чтоб не звонила! — с нажимом произнес Рост. — Запрети. Нельзя же деревянной пилой пилить. Бесмысленно и больно.

Они подошли к зданию санатория.

— А может, это и есть любовь?.. — канючил Юрка.

— Дорогая редакция, любовь это или дружба?.. — Рост вошел в подъезд, обернулся: — Подожди здесь!

Юрка сел на лавочку и, пока Рост не видел, закурил. Рост не любил, когда Юрка курит.

— Лови! — раздался сверху голос Роста.

Рост высунулся в окно и кинул что-то белое. Парашютик медленно опустился в клумбу.

— Вите передашь! — крикнул Рост. — Дуй быстрее, на электричку опоздаешь!

Юрка метлой достал парашютик из цветов. Обжал его пружинящий каркас, замотал и, как зонтик, сунул в сумку.

Сегодня Вита на работу не пошла, потому что вчера вечером позвонила все-таки Грише Соколову.

— Гринь, — сказала она уже под конец. — Знаешь, у меня живот болит, да так противно как-то...

Гриша, весело болтавший, вдруг смолк.

— Ты чего, Гринь, молчишь? — окликнула его Вита. — Ты уж сейчас не молчи.

— Приезжай завтра к десяти, — негромко сказал Гриша. — Посмотрим.

— Гринь, ты меня уважаешь? — шутливо спросила Вита. — Скажи, уважаешь?

— Я тебя, Вита, уважаю очень, — медленно проговорил Гриша.

— Это хорошо-о-о. Так вот, Гринь, ты мне завтра скажи все как есть, понял? Мне надо знать, если что... понимаешь? У меня семья, вернее, даже семьи... Мне надо... чтобы точно. Чтоб все было по-деловому. Ты понял меня, Гриня?..

...Вита осмотрела свою квартиру: все было прибрано, чисто, глазу радостно. Живи здесь другой человек, квартира, может, казалась бы безвкусной: обои в огромных оранжевых цветах, такие же яркие кресла, тахта... Но здесь жила она, и все было прекрасно.

Раньше Вита квартиру особо не холила, а последнее время ей доставляло удовольствие ходить, не торопясь, по комнатам и притрагиваться к вещам... И даже когда она, чуть живая, приползала после дежурства, стоило включить свет в прихожей — ей улыбалась полуголая японка из позапрошлого календаря, и на душе становилось легче.

Сейчас она поедет к Грише Соколову.. Вита села в кресло и стала ждать Юрку.

— Карета подана! — запыхавшись, объявил он, распахивая дверь.

Вита усмехнулась:

— «Скорой помощи» карета пролетела, как комета...»
Ну, встали...

— Вот... — Юрка расстегнул молнию на сумке. — Парашютик.

Он подкинул парашютик к потолку, и тот плавно опустился к Витиным ногам, увлекаемый вниз тяжелой гайкой.

— А-а-а, тот самый?

— Рост велел отдать...

Вита огляделась по сторонам:

— Где ж тебя повесить? А давай его пока сюда! — Она сложила парашютик и убрала в сумочку.

Внизу просигналило такси.

— Двинулись?

— Пошли... — вздохнул Юрка.

— ...А ты очень-то не вздыхай, — сказала Вита, когда они сели в такси. — Охчет, как старый еврей, ох, ох!.. У нас соседка была, Роха, — я тебе рассказывала. Хорошая такая бабка. Так вот, она все ходит: «Ох, ох», а потом остановится, палец — в лоб: «А что, собственно, — ох, ох?»

Вита привычно-весело выпалила и умолкла — больше на веселость пороха не было.

Юрка молчал.

— Ну что ты глядишь, как побитая собака? — Она провела пальцем по переносице: — Заметил, у нас с Ростом у обоих носы сломанные?

— Ему на прыжках, запасником при динамическом ударе.

— А мне Артем, звонарь... Я не рассказывала?

— Нет.

— У нас во дворе церковь была Спас-во-Спасе...

— Спас-во-Спасье, — поправил Юрка.

— Не важно. Артем. Нормальный такой парень. Никакой не Квазимодо. Красивый, положительный. Даже спортивный, в пьесах всегда ходил. Как-то раз на Пасху взял нас, всю шпану, на колокольню. Высотища!.. Колокольня получилась как бы в центре: здесь вокзалы, там Су-

харевка, и со всех сторон к церкви платочки разноцветные движутся, тихо так...

У Артема кресло деревянное — прямо трон. К полу прибитый. Садится, пристегивает себя — толстый такой ремень! На руки чуть пониже плеча захваты такие специальные, потом еще — пониже локтя. И еще — на каждый палец. Берет в руки веревку от главного колокола. А ремни, что он нацепил, — они к другим колоколам идут, поменьше. И начал он этот здоровый раскачивать. Медленно так... До-он! До-он! И плечами чуть-чуть поводит, как цыганка. — Вита пошевелила плечами. — Нет, у меня так не получается. И те колокола загудели, а он все большой раскачивает. Тот гудит, от плеча который — тоже гудит, тогда он — нижние, которые к локтям. Эти — тоже, только потоньше. И потом всеми пальцами, как на пиано!.. И пошло!.. Мы к стенке прижались. Артем как дьявол: большой колокол его прямо из кресла рвет! Видно же: ремень до костей вдавился. Чувствуешь, ну... кишки у человека рвутся, ребра хрустят, а рожа блаженная, глаза прикрыты... Все гудит! Все орет! Колокольня качается!.. Облака несутся!.. Страшно!.. Но так здорово!.. Такая красота! Я осмелела, наклонилась к Артему — посмотреть, куда веревочки идут. Тут-то он мне и заехал по носу... Ты что — не слушаешь?

— Слушаю, — отвернувшись к окну, буркнул Юрка.

— Ну-у-у... — протянула Вита. — Так дело не пойдет. Один дурак стихи мне на старости лет взялся сочинять, нашел Лауру; этот — носом хлюпает...

— Кто дурак, Рост? — оживился Юрка.

— Кто же еще. Наш.

— На самом деле?

— Хм, — Вита передернула плечами. — Пожалуйста. — Она достала из сумочки сложенный пополам листок бумаги. — Очки забыла. Читай. Ладно бы веселенькие, а то уж совсем замогильные. Читай.

— *Когда, отшивырнув сапогом самолет, продираешься сквозь замирающий грохот, вырвав из сердца кремовый кам, ударяешься о безмолвие грота.*

Когда спокойной походкой мимо пестрой послеамьенской сволочи уходит любовь, уходит любимая, кивком на ходу поправляя волосы, вместо нее, вместо гибкого рта, вопросительных смуг и зеленого пояса остается оконтуренная пустота, которая никогда не заполнится...

Невесело все-таки знать заранее, что не предусмотрено ничего лучше чередования неощутимых граней прошедшего, настоящего, будущего...

— Что такое, кстати, «послеамьенская сволочь»?

Юрка пожал плечами.

— Не знаешь? И я не знаю, — сказала Вита. — А спросить у Роста все руки не доходят, забываю. А что еще за «кремовый ком из сердца»?

— Да это он парашют имел в виду: за кольцо дергаешь, слева на груди — парашют раскрывается.

— Так бы и написал, а то догадывайся... Петрарка... Слушай, чтоб не забыла: ты Росту ничего не говори про сегодня, про больницу. Хорошо?

— Ладно, — кивнул Юрка, уставившись в окно. Показались ворота больницы.

— Я скоро, — сказала Вита, выходя из машины. Она подошла к окну на первом этаже, постучала по стеклу пальцем: — Гриня, ку-ку!

СМИРЕННОЕ
КЛАДБИЩЕ

ДИПЛОМ НА КЛАДБИЩЕ

Во время учебы в Литинституте я полтора года работал на Пятницком кладбище могильщиком. Не очень радостным приобретением этого периода жизни стал Александр Сергеевич Воробьев – могильщик экстракласса.

...Пришла пора защищать диплом. А защищать-то нечего. Я раз перенес защиту на год, другой... А на третий ко мне в Бескудниково приехала мать с кастрюлями, сковородками, чуть ли не с битой птицей и заявила: «Хочу узнать, не идиот ли ты окончательный, вшивого диплома сделать не можешь. Буду жить у тебя месяц, варить ши, стирать, короче, обслуживать. Не упрaviшься за месяц, ставлю точку: идиот».

Мне стало невесело, ибо уж очень всерьез все это мама залепила.

– Тебе диплом мой нужен, ты и говори, о чем писать, – буркнул я.

Мать подошла к окну, за ним дымила труба мусоросжигающей фабрики.

– Ты вроде на кладбище работал?.. – задумчиво произнесла она.

– Ну.

– Прекрасная, интересная тема, не застолбленная.

– Это про покойников-то?! – искренне изумился я.

– Великолепная, свежая тема.

– А сколько страниц надо? – вяло поинтересовался я.

– Ну... скажем, пятьдесят.

Я лениво отлистал пятьдесят страниц, на последней внизу зеленым фломастером жирно написал «П...ц». И сел писать.

Как ни странно, к концу месяца я подобрался к пятидесятой странице, спешно поставил точку и показал маме наработанное.

– Не идиот, – кивнула она, собирая скарб. – Неси в институт.

*...смирное кладбище,
Где нынче крест и тень ветвей...*

А. С. Пушкин.
«Евгений Онегин».

1

— Вроде здесь... Да, здесь. Окно открой и под вяз уходи. Топор возьми, корней много. Успеешь к одиннадцати? У них без отпевания. Смотри... Копай глубже, специально просили. Не морщись. Не обидят...

Петрович показал Воробью чуть заметный заросший холмик. Фамилии на ржавом трафарете не было — сошла со временем.

«Бесхоз толкнули. Ясенько... — Воробей проводил взглядом заведующего, воткнул лопату в холм. — Пахоты хватит, подбой под вяз ковырять».

— Воробей! У них колода, не забудь! — крикнул издалика Петрович. Вспомнив, что Воробей не слышит, вернулся. — Колода у них. Шире бери.

— Мать учи, — с поддельным раздражением отмахнулся Лешка.

— Ну давай, — заторопился заведующий. — Кончишь — в контору скажи. А где твойто, Мишка?

Воробей не расслышал, присматривался к месту. Не очень-то развернешься: сза-

ди два памятника, спереди вяз чуть не из холма растет здоровый... Землю кидать только в стороны. Потом за досками к часовне идти. И Мишка еще запропастился, сучий потрох.

Вчера вечером, правда, договорились, что Мишка с утра задержится: поедет на Ваганьково за мраморной крошкой — цветники заливать. Воробей знал, что быстро Мишка не обернется: пока купит, пока машину найдет, дай бог к обеду успеть. И все-таки психота закипела. И до больницы-то заводился с пол-оборота, ну а теперь до смешного доходило: спичка с первого раза не загоралась, или молоток где позабудет, или свет в сарае потух — глаза сырели, и начинала трясти ярость. И знал, что потом стыдно будет вспомнить, но поделаться с собой ничего не мог.

Воробей прикурил новую сигарету от первой, высосанной чуть не до фильтра, языком привычно кинул ее в угол рта: взялся за блестящий, полированный черенок лопаты. Взглянул на часы: полдевятого. Будет к одиннадцати яма, на то он и Воробей.

Он разметил будущую могилу: четыре лопаты — в головах, три — в ногах, и так, чтобы в длину метра полтора, не более. Это окно, чтоб копать меньше. На всю длину гроба потом подбоям выбирать надо. А раз гроб — колода — выше и шире обычного, то и подбой, чуть не с самой поверхности вглубь удлиняя, выбирать придется. И стенки отвесно вести: заузишь, не дай бог, колода застрянет в распор — назад не вытянешь. Летом, правда, еще полбеда: подтесать лопатами землю с боков — и залезет как миленький. А зимой — пиши пропало: земля каменная, лопатой не подтешешь. На крышку гроба приходится прыгать, лопатами шерудить. Какое уж тут, на хрен, благоговение к ритуалу. Родичи выражаются, и на вознаграждении сказывается. А попозже и по башке огрести можно. От товарищей.

Воробей с самого начала учил Мишку: когда колода — бери шире, делай лучше, плохо само выйдет, не гляди, что

ребята до нормы не добирают, с них спрос один, а с тебя другой — ты временный. Сезон пойдет — друг друга жрать будут, хрящи захрустят.

Без Воробья дорого бы стоила Мишке вся кладбищенская премудрость...

Воробей выплюнул окурок, поправил беретку. Ну, давай, инвалид! Залупи им яму, чтоб навек Воробья запомнили! Жалко, одна могилка на сегодня задана: когда работы мало, и психуешь больше, и сон дурной. Ладно, решил Воробей, раз одна — я ее, голубушку, без ноги заделаю. Точно! Эх, не видит никто!.. Воробей даже распрямился на секунду, посмотрел по сторонам. Вроде никого, а может, он не видит, зрение-то... А, черт с ним! Погнали!

Воробей поплевал на левую, желтую от сплошной мозоли ладонь, схватил ковблюк лопаты, покрутил вокруг оси. Правой рукой цапнул черенок у самой железки и со свистом всадил лопату в грунт. И пошел! Редко так копал, только когда времени в обрез или когда уже гроб из церкви едет, а могила не начата.

Ноги стоят на месте, не дергаются, вся работа руками и корпусом. Вбил лопату в землю и отдирай к чертовой матери! Вбил, оторвал и наверх — все единым махом, одним поворотом. Только руками, без ноги. Вот так вот!

И на других кладбищах никто так — без ноги — не может. Воробей всяких видел, но чтоб за сорок минут яма готовая — нету больше таких. И не будет. Только он один. Воробей!

Это начало; потом вот корни, доски гробные да кости мешать начнут.

По бокам ямы были навалены кучи красно-бурой глины; копать дальше без досок нельзя — осыпается земля внутрь, а кидать далеко — закапывать потом трудно: холм ровнять надо, а земли-то и не соберешь.

Воробей вылез наверх. Время — девять. Успеет и без Мишки. Все же Мишка не ля-ля разводит, крошку везет.

Он положил лопату на край могилы и припорошил выработанной землей: свои-то свои, а уведут — с Молчком,

бригадиром, рассоришься. Где он эти лопаты — «официалки» — заказывает, одному Богу известно. Но и верно, хороши лопатки: корень, доски да и камень в другой раз — все рубят. Штык до полуметра длиной, выгнут по сечению чуть не в полкруга, на черенок насажен через резиновые кольца стальными обхватами, блестит зеркалом.

Мишка, как увидел, губешки раскатал: потерять захотел, на дачу. Опять Воробью спасибо: «Молчок тебя за нее потеряет. И не удумай».

Возле древней, красного кирпича часовни в центре кладбища лежали доски. Воробей выбрал две самые длинные, уложил на плечо одну на другую и поспешил обратно.

В часовне давал прокат инвентаря ветхий, беззубый дядя Жора, хулиганящий в пьяном виде и тихий так. На втором этаже переодевались, ели, пили, спали — жили землекопы. Впрочем, землекопами они только звались, а оформлены были как подсобники. Штатным землекопом был один Молчков, Молчок, бригадир. На него-то и писались наряды. Сам же он копал редко, в сложных случаях или при запарке. Копали ребята — часовня — да изредка желающие с хоздвора. За яму Молчок платил по сезону: летом пятерка, зимой вдвое. Если сам не захоранивал, весь сбор все равно кроил он. С этим было строго. Жук тот еще, самому под пятьдесят, а с покойниками лет двадцать трется. Последние десять, как вылечился, капли в рот не брал.

Знал, кому побольше дать, а кто и так хорош. Воробья выделял. «Копнешь две, Воробей?» — «Ну, Володя». Воробей откладывал все дела и шел за маленьким кривоногим Молчком. И потом его не искал, знал, что за Молчком не пропадет...

Воробей протянул доски ребром вдоль по краям ямы. В головах вставил доски меж прутьев неснятой ограды — пригодились, в ногах обхватил досками толстый ствол вяза, привалив снаружи комья покрупнее. Теперь свободно можно снизу кидать на самые края — доски держат

осыпь. Корни пошли. На то топор есть. Обкромсал их за подлицо со стенкой.

А с глубиной ковырялся подольше; если б не наказ заведующего, давно б дно притаптывал. Незнающий взглянет — яму чуть не в рост увидит, ну а на внимательного нарвешься — пеняй на себя: сверху-то сантиметров на тридцать от земли грунт простой по контуру ямы выложен и прибит умело. Видимость одна, а не глубина.

Но раз специально приказ глубже брать, значит, на все положенные метр пятьдесят заглубляться надо.

Воробей выбирал дальше: пошли черные, трухлявые гробы. Их было два, один на другом, они легко распадались. А раз гробы, то и без костей не обойтись. Кости наверх — упаси Бог! Родственники увидят — валидолу не напасешься..

Кости Воробей сложил в ногах, в головах подкопал, потом в голову их передвинул. А уж как до глубины добрался, в ямку посередине, где земля податливей, уложил кости, землей прикрыл и утоптал — готова могила.

Летом копать — дурак выкопает. А вот зимой, да если еще могила уборочная, за которой ходят, без снега, простужена на метр, — это да. Ломом здоровым — «гаврилой» — всю дорогу, лопата не берет. Вдвоем в могиле падут: один долбит, другой крошево отгребаает и наверх. Работка потная, ничего не скажешь. А летом — детский сад.

Рыжих — зубов золотых — он и не искал. В бесхозе какие рыжие? Если родственники лет двадцать, тридцать на могилку не навешиваются, забыли или сами перемерли, то и покойник у них соответствующий — без золота. Рыжие — те в ухоженных, с памятниками. Юда два назад зимой на пятнадцатом участке Воробей одиннадцать рыжих взял, прямо в кучке, как по заказу. Торгаша одного яма, Воробей и родственников, навещавших его, знал хорошо: цветник им гранитный делал и доску мраморную в кронштейн заливал. Ободрал их тогда лихо.

Воробей потоптался в могиле, ширкнул лопатой выбившийся сбоку недорубленный корешок, выкинул наверх

инструмент и вылез сам. Обошел могилу — огрехов не увидел: копано по-воробьевски, без халтуры.

Петрович, змей, знал, где бесхоз долбить. Справа свежую могилу от дороги заслоняли широкие памятники двум декабристам, слева — толстый вяз. Бесхоз расковыренный ниоткуда не приметен.

Странно только: не часовне Петрович копать поручил. Значит, не хотел с Молчком делиться. Со вчера еще предупреждал, приди, Воробей, пораньше — дело есть. И сам не забыл, к семи приехал. Морда шершавая с похмелья, а приполз, не поленился. Да, приборзел Петрович малость за последнее время. Все бабки все равно не собьешь, а нарваться можно... тем более с бесхозами. Бесхоз толкать — не выговор, тюряга...

Воробей дошел до своего сарая, поставил лопату и топор в угол, взглянул на часы. Время почти не двигалось — одиннадцать, в прокуратуру еще не скоро, в повестке сказано в три...

— Чего ты в темноте сидишь? — В сарай влез Мишка, подручный Воробья, включил свет. — Пожевать у нас есть что? — зашарил на харчевой полке.

— Котлеты вон в целлофане... крошку привез?

— Полтора мешка, красивая, мелкая...

— «Мелкая», — передразнил Воробей. — Толку-то? Мелкая — промывать труднее... А чего поздно? В музее своем дежурил?

— В музей вечером.

Мишка выдавил на котлету майонез из пакетика.

— В прокуратуру скоро поедем?

— К трем. Один поеду, ты здесь сиди; погода путная, клиент будет.

— Ты же не услышишь один.

— Услышу. А не услышу, переспрошу.

— Как хочешь, могу и здесь.

— При чем здесь «хочешь»? Бабки ловить надо; суд судом, а деньги своим чередом. Давай пока вот чего: мрамор глянем еще разок. — Воробей полез на карачках в угол са-

рая, под верстак, где в тряпье хранились полированные мраморные доски. — Чего стоишь? Принимай...

Доски были давно перемеряны и переписаны Мишкой в блокнот.

Воробей сел на ведро с цементом, прикрытое фанеркой. Закурил.

— Каждая доска свою цену имеет. Самые ходовые — колелга. Вот эта, белая. Только доставать успевай. Да их и доставать особо не надо: ворованные возить будут, прямо к сараям. В случае привезут, знай: доска — бутылка. Больше не давай, не сбивай цену. А толкать начнем — ноль приписывай. Сечешь, как монета делается?.. Не возьмут? Еще как возьмут! И еще попросят! — Воробей вытянул из угла вторую доску. — Газган вот — эти не покупай. С виду хороши, красивые, а крепче гранита: скарпели победитовые садятся, три буквы вырубил — и аут. Искра прям лупит... Гарик — ты его застал еще, когда я в больнице лежал... Вот здоров был клиентам мозги пудрить, без передыха... Я его и в пару за это взял, за язык. Гарик этот мрамор — газган — эфиопским окрестил. Лучший товар, говорит, из Эфиопии, для правительственных заказов. Клиенты-то все больше — о-о-о! — Воробей постучал себя по уху, — олухи. Им чего ни скажи — всему верят. Раз эфиопский — все. Давятся, полудурки. — Воробей сунулся было снова под верстак, но вдруг раздумал и вылез. — Там еще доски есть, да лазить далеко... Потуши-ка свет, на глаза давит.

Мишка щелкнул выключателем.

— Теперь размеры. Самый лучший — сорок на шестьдесят. Можно сорок на пятьдесят. Уже не бери — дешевка, шире — тоже плохо: в кронштейн заливаться станешь — с боков мало крошки уместится. Шире шестидесяти гони сразу. В высоту до восьмидесяти брать можно. Бывает, требуется. На много фамилий. Не глядится, правда: цветник сам метр двадцать длиной, и эта дура, кронштейн, чуть не такой же... Еще, — Воробей потряс пальцем, — запомни и другое: выпить не отказывайся никогда. Ты че? Улюдей горе, а тебе выпить с ними лень... Сам вот не проси, не

красиво, а помянуть нальют — не отказывайся. Это нам можно. Ни Петрович, ни кто еще ругать не будут. Горе разделил, по-русски...

Летом одного захоранивали. Нам наливают, а тут Носенко идет, из треста, заместитель управляющего. Мы стаканы прятать... Раевский сунул в штаны, а у него там дыра.. стакан пролетел, а он стоит, как обсосанный. И стакан котится...

Чего, думаем, Носенко скажет. Ни слова не сказал. А в обед всем велел в контору. Когда, говорит, официально предлагают помянуть, это не возбраняется, только не слишком.

Воробей открыл портфель, достал бутылку «Буратино». Глянул на Мишку, тот уже приготовился смотреть фокус. Воробей взял горлышко бутылки в кулак, ногтем большого пальца (специально один ноготь оставил — не грыз) поддел крышечку и легко ее сколупнул. Бутылка зашипела. Воробей криво усмехнулся:

— Это ж надо — «Буратино» хаваю! Кому сказать, не поверят.

Понюхал бутылочку: не скисло ли? — после больницы градусов боялся даже в газировке. Сунул бутылку Мишке:

— Нюхни. Ничего?

Выпил, пустую бутылку сунул в портфель.

— А если, говорит, кого увижу — по углам распивают, пеняйте на себя... Его слова, Носенки... А ты, раз не пьешь, отпей для вида, а остальное, скажи, в бутылочке мне оставьте. Понял? Воробей всему научит.

Лешка не спеша переоделся в чистое.

— Ну, это... держи, на всякий случай. — Он протянул ладонь Мишке. — Не люблю за руку, сам знаешь, но мало ль...

— Что «мало ль»? — отвел его руку Мишка. — Ты ж не в суд, а к про-ку-ро-ру!

— Короче, Валька позвонит вечером, если что, — упрямо сказал Воробей. — Пошел я... Не бойсь, прорвемся!

Воробей подошел к конторе, заглянул в окно. Петрович был в кабинете, сидел за столом и ничего не делал.

Воробей вошел без стука, ему можно и без стука.

— Вскопал я...

— Пойдем выйдем.

Петрович вылез из-за стола. Они отошли от конторы.

— Леша, слушай... Слышишь?

— Ну?

— Такое дело: забудь, что бесхоз копал. Понял? Нормальная родственная могила, понял?

— Кому говоришь, Петрович! — Воробей скривился.

— Ладно. С этим все. — Петрович достал яркую пачку. — Закуришь?

— Давай... Черные? Это какие ж такие? Не наши?

— Американские. Попробуй...

— Они без этой, без дури? Сам знаешь, мне теперь анашу ни-ни.

— Да нормальные они, кури. Когда тебе?

— К трем.

— Ну, ни пуха. Чего мог — сделал, «бригадир» Воробьев. — Петрович улыбнулся. — Главное, молчи побольше — глухой, и весь разговор. Валька, смотри, чтобы не напислась.

— Да она не придет... — Воробей, потупил глаза, — Я ей утром бубен выписал. Трояк на похмелку клянчила. — Воробей усмехнулся и посмотрел на Петровича, как тот отреагирует. Но Петрович уже глядел в сторону и нетерпеливо крутил на пальце ключи с брелоком в виде голой бабы.

— Ну, тогда будь здоров, Воробей, двигай, ни пуха!

— К черту! — Воробей повернулся.

— погоди! Чуть не забыл, за работу... — Петрович сунул деньги Воробью в карман.

Лешка заметил: зеленая.

— Не много? — он с удивлением посмотрел на заведующего.

— В самый раз. Ну, дуй. — Петрович махнул Воробью рукой и засеменил в контору.

«За яму полста!.. Залетит Петрович, точняк залетит. Жалко. А что б я без него тогда... Сдох бы!»

...Тогда, полгода назад, в октябре, с забинтованной головой, полуглухой, накачанный вместо крови холодной жижой, со справкой инвалида второй группы без права работы, предупрежденный о лежачем режиме, в сандалетах и грязном пиджаке Воробей сидел в кабинете Петровича.

— Ну, чего, Леш? Я тебя бригадиром провел задним числом...

— Громче говори, — буркнул Воробей.

— Пенсия, говорю, больше будет! — крикнул заведующий.

— Ты мне, Петрович, мозги не пыли. Я работать буду. Если возьмешь. Возьмешь — не забуду. Воробей трепаться не любит... А?

Петрович встал из-за стола, прошелся по кабинету. Заметил заляпанные грязные сандалеты на зябко поджатых ногах. Снял со шкафа рефлектор и, поставив у ног Воробья, включил.

— Ага, — сказал Воробей.

— Денег-то нет? — спросил заведующий.

— Да Валька все... — Воробей щелкнул себя по горлу, — пока в больнице лежал.

— Ладно. Котел топить будешь, а то вон холод уже, там поглядим. Про инвалидность — никому. Справку спрячь. Понял? И оденься хоть... Смотри, синий весь.

— Да это в больнице крови пожалели, думали: аут.

Воробей входил в должность. Да и то сказать — входил... Он и прошлые зимы котлом заведовал, без приказа. Как холода начинались в конце октября, перебирался из сарая в котельную. Ни Петрович, ни до него заведующие — никто с котлом забот не знал. Обо всем хлопотал Воробей. У звонаря дяди Лени — он же и завхоз церковный — брал на складе уголь, набивал угольный ящик доверху, нарезал поленницу на хоздворе из спиленных по просьбе клиентов деревьев и всю зиму безукоризненно командовал котлом. Пьяный ли, похмельный, в семь утра заводил тяжелую, с матом, хрипом возню в трафаретной — запаливал котел.

Контора — Петрович, смотритель, Раечка — приходила к положенным девяти в благостную теплынь.

Несколько раз без Воробья контора чуть не вымерзла. Котел никому не давался: делали вроде по-воробьевски, а огонь вдруг гас ни с того ни с сего. Выгребай из топки всю вонь, заводи по новой.

Уголь Воробью давали в церкви безропотно. И деньги займы, когда ни приди — староста Марья Ивановна, тяжелая хваткая старуха, а нет ее — заместительница Анна Никитична, худенькая, в черном. После больницы Никитична сто дала до лета. Давать-то давали, но, ясное дело, не за здорово живешь...

Хоронили когда-то давно батюшку отца Василия. Душевный был старик. Чуть не до самой смерти, уже за восемьдесят, службы служил и отпевать ходил на самые дальние участки, не ленился. Да и так просто нравился всем: и как здороваётся, шляпы чуть касаясь, и как с попами подчиненными говорит ласково, не то что нынешний отец Петр — этот гавкает на своих, как пес цепной. Еще вот тоже: со старьем, нищими на паперти, всегда здоровался. И голубей кормил каждое утро возле церкви. Стоит, бывало, посреди голубей, крошки им накидывает, а они чуть не под рясу к нему заходят.

Так вот помер он. Воробей сам вызвался копать. Могилу отвели рядом с церковью, почти вплотную к ней, как положено по сану. А там земля — сплошняком камни, кирпичи, железки со старых времен от стройки еще остались. Марья Ивановна подходила, видела, как Воробей, мокрый, как крыса, в хламе этом уродовался: ни ломом толком не возьмешь, ни лопатой. И костей было — чуть не на полметра; сколько тут их, попов, нахоронено. Воробей, как дьявол какой, по пояс в бульонках стоял: и наверх не вытащишь — у церкви народу прорва, и в яме с ними не развернешься. Так и корячился до темноты, а начал рано.

— Земля тяжелая, Лешенька? — наклонялась над запаренным Воробьем Марья Ивановна.

— Пустое, Марь Иванна, для батюшки конфетку сделаем.

И действительно сделал. Два метра глубиной, ровенькая, дно еловыми ветками выложил. Не могилка — загляденье.

...Воробей подошел к церкви, погулял вокруг — тянул время. Все ж к прокурору зовут, не в кино. Поднялся на паперть. Нищие разом заныли, запричитали, но, разглядев местного, смолкли. Воробей снял шляпу и толкнул тяжелую дверь.

В прохладном полумраке церкви стояло четыре гроба на специальных для этого скамьях. Возле гробов подомашнему спокойно хлопотали родственники: прихорашивали, подправляли покойниц. Все четыре были старушки.

Здесь же Батя полгода назад крестил и Витьку, сына Воробья. Крестным был Кутя, а крестной матерью Валькина подруга с Лобни Ирка.

Воробей подошел к конторке, за которой Марья Ивановна оформляла усопших. Тяжелый шаг Воробья оторвал Марью Ивановну от дел.

— У вас отпевание?

— Это я, Марь Иванна, Лешка Воробей...

— Лешенька, а я тебя и не узнала. Ты что, выходной сегодня? Наряженный...

— Да нет, — Воробей замялся, — к следователю мне скоро. В прокуратуру... шел вот, зашел...

— Чего ж ты опять натворил? Господи! — Она всплеснула руками.

— Да за старое, еще до больницы, когда пил... Адвокат сказал: простят, не посадят. А там кто его знает... Значит, вот на всякий случай до свидания... Батя-то где?

— Батюшка? Обедает. Посмотри в крестильной. Ну, дай Бог тебе, Лешенька. — Она мелко перекрестила его.

— К чер... — Воробей подавился. — Спасибо, Марь Иванна.

Попов в кладбищенской церкви было два: старший — отец Петр и отец Павел, Батя.

За столом сидел один Батя.

— Садись, Леша. Здорово. Как Виктор?

— Нормально... Косит вот только...

— Пройдет, — хлебная борщ, буркнул Батя.

Поп был невеселый. Воробей знал, в чем дело. Прикрылась лавочка.

При старом-то настоятеле, земля ему пухом, Бате вольготно жилось. Ну, подпил, прогулял службу.. что за беда, вера-то у нас, русских, православная, испокон на Руси к вину уважение, а священник — что ж он, не человек? Настоятель отслужит вне очереди, Пантелеймон Иванович, дьякон, тоже поспешествует, а уж Батя потом две, а то и все три не в очередь отпоет.

А теперь! Новый-то, отец Петр, чуть запах услышит — от службы отстраняет, и объяснительную велит писать, да благочинному настучит, тот — в епархию, а там разговор короткий. За Можай загонят...

А уж не дай бог на работу — тьфу, на службу! — не выйти, сожрет с дерьмом: бюллетень давай. Русский священник, да чтоб бюллетень?! Тьфу, пропади он пропадом!..

— Ну, идешь? — очнулся Батя. — Не боишься?

— Адвокат сказал: нормально будет...

Батя вытер носовым платком бороду.

— Встань-ка, благословить надо.

— Да я ж... — Воробей замаялся, — я ж вроде неверующий...

— Все неверующие, — Батя поднялся из-за стола, — а благословить не мешает. Шляпу положи, стой смирно.

Он медленно перекрестил Воробья и, закатывая глаза, что-то тихо пробормотал, подал руку. Воробей не понял, пожал ее.

— Целуй! — поправил Батя.

Воробей покраснел и ткнулся губами в поповскую руку.

— Ну, вот. Теперь иди спокойно. С деньгами твоими как договорились: кладу на свою книжку и по сто рублей каждый месяц Валентине высылаю без обратного адреса, так?

— Ага.

— Иди, не бойся, Бог даст, обойдется, Алексей. Ступай. Бабки, пригревшиеся на паперти, опять заворковали, привычно протягивая скрюченные ладони.

— Чего-о? — Воробей, сморщившись, поглядел на лавку, забитую старушками. Они сидели, плотно прижавшись друг к другу, встать без риска потерять место не могли, потому и клянчили сидя. Некоторые с закрытыми глазами, сквозь дрему.

— На вот на всех. — Воробей сунул в ближайшую руку всю мелочь из кармана. — На всех! — еще раз хрипло пригрозил он. — Знаю я вас.

2

Солнце сквозь лазейку в листве ударило в могилу и разбудило Кутю. Он со скрипом поднялся — голова наружу, ухватился за торчавший из земли корень вяза и неуклюже выкарабкался наверх. Корявыми ладонями поерзал по складчатой, с избытком кожи морде, выскреб негнувшимся пальцем ссохшуюся дрянь в уголках глаз. Потом осмотрел себя, поколотил по штанинам, больше для порядка, выкинуть портки пора, а не пыль трясти.

Он закашлялся, наверное, простыл за ночь. Цапнул себя за сердце. Рука укололась. Слава богу, орден на месте. Не потерял. Кутя прихватил в горсть рукав и потер орден Славы. Старенький уже орден. Кутя посмотрел в могилу, где ночевал. Хорошо еще, шею не свернул. И как только угораздило. Это ж надо!

Вчера, в День Победы, Кутя на правах хозяина принимал на кладбище гостей. Припылила пехота, кто смог. Лет пятнадцать они уж на кладбище встречаются. Сначала Сеню Малышева приходили навещать. Вторым Петька из мехзвода сюда переселился, а уж совсем недавно Ося Лифшиц. Так лет пятнадцать уже и топают Девятого мая одним маршрутом: на Красную площадь, оттуда на кладбище, а за стол уж — к полковнику на улицу Алабяна. Семенато и Петю по закону здесь схоронили, у них тут родители,

а вот Осю сюда уже Кутя по благу устроил. У Оси здесь только тетка, а тетка для захоронения не основание — нужны прямые родственники. Но Петрович, золотая душа, разрешил. И даже удостоверение на Осю выписал. Теперь и к Оське можно ложить. Пока урны, а через пятнадцать лет и гробá. Да у него, у Оськи, слава Богу, никто пока умирать не намеряется. Жена, дети в здравии, и внуков полон дом.

Вот они, пехтура, и бродили от одного дружка к другому. И там и сям выпивали помалу, только для памяти. Как уж он, Кутя, за меру свою перебрался в этот день, поди знай.

Раньше в родительский день кладбище навещали. Пока Ося был жив. А уж Ося помер — решили на День Победы встречу перенести. Тем более что и Сеня, и Петя, и Ося — члены партии.

С кладбища должны были поехать к полковнику, да вот могила подвела. Кутя с огорчением оглянулся на могилу. Ребята, наверное, искали по всему кладбищу, да разве вино перекричишь.

Кутя ковырнул присохшую к ордену грязь. Глина. А Сенька-то чего выделял под конец войны. В Судетах вроде. Или не в Судетах?.. А-а, когда пленных вели. Точно. Коров бесхозных набирает и за телегу привяжет. Как какого-нибудь немчонку заметит замызганного, одну скотину отвяжет и немчонке веревку сунет. Гей нах мутер. Веди, мол, корову домой к матери. Так и дарил коров...

Хорошо хоть после войны вы, ребята, померли. Хоть пожилы еще чуток... Спи спокойно, Осенька. И ты, Сеня. И ты, Петя. Светлая вам память, земля пухом. Кутя помахал перед грудью рукой — вроде бы перекрестился. Так, чтобы и не очень и в то же время...

У свеженасыпанного холмика возле лавочки стояли двое мужчин: старик и парень лет под сорок. Они разглядывали его с удивлением.

— Ваша, что ль? — Кутя кивнул на могилу, из которой только что вылез. — Хозяева?

— Наша. Вот решили пораньше прийти, вдруг техник-смотритель забыл распорядиться или место спутал.

— Техник — это дома, в жэке вашей, а здесь — смотритель, смотритель кладбища. А чего вам беспокоиться? Раз договорились, могилку показали, значит, все. У нас в заводе такого нет, чтоб забыть. Нам за это зарплату ложат. Когда хороните?

— Сегодня в двенадцать после отпевания.

— Ну да, в двенадцать!.. Хорошо, к обеду отпоют, а то и до трех заканителят. Смотря кто отпевать будет. У них тоже специалисты по своей специальности, неодинаково... Сколько сейчас? Часы есть?

— Часов семь, — пожилой запутался в рукаве над часами, — четверть восьмого.

— Ну вот, а ты говоришь. Шли бы домой... Погоревали б еще, а уж часикам к двум, ну, к часу пришли бы. И на помин хорошо бы... ребятам...

— А может, сейчас?.. Я тут взял немного на всякий случай. — Молодой раскрыл портфель и достал оттуда коньячную фляжку с прозрачной жидкостью. — Спирт вот, яблоки... Стакана, правда, нет...

— Это найдем. — Кутя пошарил взглядом по веткам — стаканы часто на сучки вешают после употребления — но не обнаружил. — Придумаем сейчас, айн момент!

Кутя перегнулся через соседнюю ограду, чуть не завалив деревянный заборчик, прогнивший у вкопанных столбиков, дотянулся до поллитровой банки с увядшими нарциссами и, крикнув, распрямился с банкой в руках. Затем вынул из банки цветы — кинул на могилу.

— Самый аккурат! Минутку обгодите — водички наберу. Я мигом!

Быстрым ходом он добежал до водопроводного крана на углу седьмого участка и пустил воду. Постоял, пока сойдет теплая, подставил под несильную струю банку, сполоснул для гигиены, набрал воды. В самый раз — на четверть, до зеленой кромки от цветочной мути. Так же, прытью, вернулся назад. Неуверенной, подрагивающей

рукой взял фляжку, долил в банку до половины и прикрыл ладонью.

— Для реакции — лучше...

Спирт слоился гибкими прозрачными волнами, перемешиваясь с водой.

Наконец решив, что хватит, Кутя резко выдохнул, крутанул банку и опрокинул ее в распахнутую пасть. Потряс пустую банку, судорожно вздрогнул, поморгал немного и, блаженно зажмурившись, выдохнул:

— Прямо в организм. Как врачи велят. Где, говоришь, яблочко-то?

Кутя догрыз яблоко, два других положил в карман. Перегнулся снова к соседней могиле, вдавил пустую банку в холм, собрал в нее раскиданные нарциссы, попрощался и направился наверх к часовне.

— А не коротковата? У нас гроб-то длинный, метр девяносто! — крикнул ему вслед пожилой.

Кутя обернулся и пошел обратно: «Специалисты...»

— Короткая? — Он усмехнулся. — Да сюда двоих запихать — и еще останется. Подбой-то видели?.. Посмотри, посмотри, на! — поддразнил он молодого, заглянувшего в подбой. — Тут все по науке. В другой раз велят копать, а копать-то некуда: ограды со всех сторон, или дерево мешает. Бывает, и вовсе завал. Вы, положим, ходите редко, а с боков — попроныристее народ, понаглее: для своих могилочек больше места оттяпать хотят. Они на вашу могилку втихую влезут, ограду поставят, а там, глядишь, и памятник, а вот вы своего упрятать, ну захоронить, в смысле, хотите, а хоронить места нет. Хорошо ограда, ее и снять недолго, а если памятник, да ростом с тебя? У него фундамент один... Считай, на метр раствором залит, поколоти-ка его, я посмотрю!.. А хоронить надо, куда его денешь, покойника? Получается: право есть, а места нет. Тогда чего делают? Тогда окно открывают, метр на метр только, и копают как колодец. Углубятся — начинают подбой выбирать. Выберут побольше — потом гроб туда, колом: перевяжут в головах, по два с каждой стороны в растяжку держат, а ноги

только слегка в яму заправляешь. Так, отвесом, почти вот встоячку и засовываешь.

Пожилой заморщился.

— А ты не жмурься, работа такая, не в конторе бумажки ворошить. Своя механика. А чего делать, не на другое же кладбище. Семью разбивать... Здесь вместе и лежат пускай, рядышком. И навещать всех разом, и недалеко, все ж центр... Такие дела. А ты говоришь.

У часовни было пусто. Да и кого в такую рань принесет — восьми нет. Кутя посидел чуток на гранитном оковалке, невесть как оказавшемся у часовни. Кому он только понадобился — без полировки и формы никакой... А ведь кто-то пер приспособить куда-нибудь. Кутя полез за куревом, наткнулся на яблоки и подумал, что неплохо бы сейчас пивка.

Покряхтывая, он поднялся с холодного камня и двинул к воротам.

У трафаретной пригревалась на солнышке неистребленная псиная братия. Завидев Кутю, псы оживились. У них с Кутей был особый контакт. Перед Пасхой, когда кошкодавы из дезинфекции понаехали и проволочными петлями в момент всех повьловили, он вымолил у них троих, самых любимых: Мишку, Блоху и Драного.

Бутылку отдал (у Молчка выклянчил) и пятерку, что за яму получил. Все денное наработанное.

С того раза месяц не прошел, а уж песья опять набежало. Откуда только. Опять посетители жалобы пишут. Опять кошкодавы пригудят. Паразиты!..

Кутя зашел в трафаретную, порыскал глазами, сгреб в газету кильки и черствый хлеб. Кинул собакам. Те завозились. Дранный, конечно, под себя все сгрести норовит. Ясное дело, посильнее других и попровористей. А сбоку-то так и не зарос.

Это Воробей с Дранным зимой пошутил. Сам потом рассказывал.

Глядит утром — трясется пес у дверей в котельную, холодно. Воробей котел завел слегка и посадил кобеля

внутри на колосники. Дранный прям как прижился. Воробей дверку прикрыл и ногой держит. А сам в поддувале ворошит. Занялось в котле покрепче, пес завозился, не нравится. Воробей еще... Пес заорал и забился в дверку. Пес орет, а Воробью хохотно. Потом выпустил.

Бедолага как припустил из котельной да в снег... Зашипел в снегу и потух. Теперь — Дранный.

Кутя слова тогда не сказал Воробью, но от самогона воробьевского отказался. Правда, раз. Потом пил, уж больно хорошо гнал Воробей: через уголь и с марганцовкой.

...Псы подлизывали пустой асфальт. Кутя отдыхал глазом на собачье.

— Чего, дармоглоты? Постричь вас, что ли? Под полубокс... Чего-нибудь вам надо для красоты... Погодь, погодь...

Он сунул руку за прислоненный к стене огромный треснувший кронштейн и вытянул оттуда охапку пожухлых венков.

Венками торговали в тупике перед входом на кладбище.

На проволочное кольцо прицепляются бумажные цветы и окунаются в расплавленный стеарин. Подсох — готово.

Милиция гоняла веночниц, но справиться не могла, все равно торговали.

Воробей с Мишкой при случае обрывали старые венки с крестов. Без лишних глаз старались — заметят посетители, побегут в контору вонять. А у Петровича закон один: жалуются — по делу, не по делу — прокол, а раз прокол — месяц без халтуры. А не дай Бог заметит, что хитришь, халтуришь — вмиг заявление твое подмахнет. Это он с полгода как придумал, когда ему в тресте по мозгам за грязь на кладбище дали. Так чего придумал? Велел всем написать заявления об увольнении по собственному желанию, с подписью, но без даты. Теперь, говорит, чуть что — сам дату ставлю, и вали с кладбища. На завод или еще там куда. И Носенке потом хвастался: у меня, мол, на кладбище по струнке.

Вот и старались потихоньку венки обдирать. Обдерут — и в печь. Лучшей растопки не придумаешь.

Кутя разобрал венки, разнял, выправил их, шагнул к псам.

— Дранный, давай башку! Марафет наведу.

Пес затряс головой.

— Стоять!

Пес замер. Кутя примерил венки. Великоват. Снял, положил на камень, разрубил проволоку топором. Свел концы и закрутил, стало поуже. Снова примерил. Другое дело!

Так же обрядил Мишку и Блоху. Псы порычали, покрутили головами и ничего — смирились.

Мимо прошла Райка. Заметила разряженных псов, приснула.

— Раиса Сергеевна! Парад, скажи?

— Влетит тебе от Петровича за этот парад!

— А чего, в кабинет к нему поведу? Я на Тухлянку сейчас. Соньку позабавлю — пивка даст. Как вышло-то, а? — Кутя с умилением пялился на свою работу. — Райка, а ты чего рано? Муж не греет?

— Заказы не оформила. Петрович вчера ругался. А ты уж подзалил, гляжу?

— Дура ты, Раиса Сергеевна. Красоту навел животным, а ты «подзалил». Не понимаешь ни хрена... Балерины, за мной!

По ту сторону проспекта у железнодорожной линии много лет возвращала с того — похмельного — света спасительная Тухлянка: стеклянная пивная с длинноногими, круглыми, тесно поставленными столами.

Кутя не пошел к подземному переходу. Переход для пешеходов-бездельников, а у него дело: поправиться внахлестку к спиртяшке утренней и за работу. Захоронений сегодня мало — всего пять, зато мусора после праздника опять на его участке возить не перевозить.

Петрович последний раз особо предупредил: «Всем мусор возить. Халтурить — только когда участок под метлу».

Комиссия из треста все мерещится, вот и петушится. И, главное дело, жечь запретил. Обычно-то как: кучку нагреб да подпалил. А недавно Кутя не заметил с похмела да и поджег мусор возле памятника, а тот из белого мрамора, закоптил его напрочь. Ни мыло, ни шкурка не берет. Родственники хай подняли. Теперь жечь нельзя — вози на свалку. А на свалку хрен проедешь — тележка по уши вязнет.

Худого слова не говоря, по злобе ему Петрович такой участок назначил. За прогулы. И на том спасибо — не выгнал. Молодой еще Петрович, и тридцати нет, а человек. По Головинке его Кутя еще помнил, совсем пацаном Петрович был, а могилы колотил что твой дятел. С «гаврилой» не хуже Воробья управлялся.

...Кутя брел, руки в карманы, через проспект, не слыша машин, — Бог даст, не раздавят. Тормоза только и визжат, да шоферня матерится.

На той стороне Кутю спокойно ждал затянутый в белый ремень солидный (на проспекте сявку не поставят) лейтенант.

— Гуляем? — Милиционер приложил руку к фуражке. — Документы!

— Какие документы, милок? До пивка бы добратся. — Кутя махнул в сторону заманчивой Тухлянки. — А ты — «документы»...

— Так... Штраф будем платить? Или сразу в сто двадцатое?

— Сезон разойдется, я тебе сто штрафов заплачу, а сейчас на похмелку нет. Вот, думаю, может, ребят кого встречу, угостят.

— А маскарад зачем? — Милиционер ткнул пальцем в притихших возле Кути псов.

— Животные!.. Чего с них взять?

— Я не про животных... Гирляндов-то кто навесил? Ты?

— С похмела чего не учудишь? Да и повеселее вроде...

— «Повеселее»... — Милиционер фыркнул. — Ладно, иди. Еще увижу, в отделении поговорим... И банты снять.

— Ага, все путем сделаем. Чего выпялились? Собачье... в лягавку захотели? — Кутя скомандовал, и компания двинулась дальше.

Соньку удалось уломать: отпустила пивка в кредит. Две кружки. Мало того, и псам швырнула колбасную обрезь — развеселилась баба.

Кутя обтер ладонью рот, спустился с насыпи и прилег под кустиком — кепку на глаза. Собаки повозились малость и улеглись неподалеку на солнышке.

Кепка сползла, закрыла воздух. Кутя заворочался и проснулся. Солнце перебралось по ту сторону куста.

— Эй! Мил человек! — крикнул он путевому рабочему. — Время скажи, будь любезен!

— Полчетвертого.

Кутя присвистнул. Собаки удивленно подняли головы.

— Трудодень проспал. А все из-за вас, паразитов. Пивка им, пивка. Вот тебе и пивко.

Теперь уж и на службу поздно. Теперь только к Воробью — узнать, какой будет приговор.

Кутя встряхнулся и с насыпи побежал под мост к станции. Возле кладбища остановился, отогнал камнями собак. Подходила электричка.

В воробьевской комнате хлопотала Ирка, Валькина подруга. Стол был накрыт, в центре стоял графин с самогоном и «Буратино».

— А Воробей?.. — Ирка выжидательно уставилась на Кутю.

— Не шебуршись, — испугался Кутя. — Что, Воробей со вчера не появлялся?.. Ну, не помер же. Наверняка у студента в музее застрял. Самогон с Лобни? Плеснула бы. Валентина-то где?

— Ишь ты, плесни ему! — Ирка отодвинула самогон на дальний угол стола.

Кутя вздохнул — выпить не обломится — и сел на диван, подальше от желтого графина.

— Васька-то пишет, не знаешь? — спросил он для разговора.

— Пишет. — Ирка вздохнула. — Долго ему еще писать.

— Да-а-а, — согласился Кутя, — помиловки ему не видать, от звонка до звонка... Воробья-то он все ж почти до смерти уделал, хорошо, башка крепкая. Другой бы враз отчалил...

— А хоть бы и совсем его пришиб, сволочь глухую! — Ирка выкрикнула и вся сжалась, косанула глазом на Кутю: не заложит?

— Да не жмись ты! Мне это не касается... — Кутя махнул рукой и добавил: — Плеснула бы, а?

Ирка поджала губы, но графин взяла, налила полстакана.

— Ирка, а чего ты на него такая злая? На Воробья?

— А то, что Васька со мной расписаться хотел! Заявления уже подали!

— Э-э... — понимающе протянул Кутя, — тогда другой расклад. Тогда, конечно...

Он прошелся по комнате, подошел к детской кроватке, где в грязных мятых пеленках сидел сын Воробья Витя. Ребенок молча сосал ногу плюшевого слоника. Кутя помахал пальцем перед ним.

— Не обращает...

— Чего?

— Внимания, чего... Я ему козу, а он не обращает.

Ирка махнула рукой.

— Недоделанный он у них: и орать не орет, и глаза косяе...

Ирка ушла на кухню.

— От сивухи, может? — вслух подумал Кутя. Оглянувшись на дверь, мигом приложился к графину и сел на диван. — Васька-то пишет? — крикнул он и ковырнул мозоль.

— Ты уж спрашивал. Мне пишет... — ответили из-за двери.

— Еще б он Воробью писал!.. Сперва топором, а потом письма писать?..

— Знаешь, Куть. — Ирка вернулась, присела рядом. — Только никому, да? — Она доверительно погрозила пальцем. — Никому, слышь! Лешка ему три посылки отправил: к Новому году, на день рождения и на майские недавно.

— Ну, дают! — Кутя бросил мозоль. — Хлестались, как вражье заклятое, один другому чердак развалил! Дают, братовья!.. А с другой стороны... — Кутя пожал плечами и оглядел комнату в чистых обоях, шкаф с посудой, высокий холодильник. — С другой стороны, Васька ему топором жизнь выправил. Что Воробей до больницы знал. Водяру рукавом занюхивал. Да эту, Валентину свою, поил. Ты дома у него была тогда? А-а... А я часто. С бабой своей как поругаюсь — и к нему. Кровать у него тогда стояла железная, стол да две тубаретки. А ты говоришь! Без водки человеком стал, только что глухой. Может, и к лучшему: психовать меньше будет.

3

Когда Воробей вышел из прокуратуры, домой не хотелось. Дрожащими руками он сунул сигарету в рот, затянулся... И еще, еще... и только когда все нутро заполнилось ядовитым, режущим дымом, опомнился: не тем концом сигарету закурил — с фильтра. Он отдышался, вытер глаза. Пройдет! Шесть секунд — и пройдет!.. Главное, там обошлось. И характеристику прочли и ходатайство из треста. В суд дело передали, но обещали, что обойдется или дадут условно. Только чтоб документы все на суде были. Хорошо, если не сидеть. С такой башкой много не насидишь — до первой драки.

Воробей с удивлением смотрел по сторонам: район вроде тот же, а что-то не так. Он шурил глаза и озирался, как приезжий. Потом пошел... Теперь пахать и пахать, и все будет путем. Через год пластинку вставлю, может, слух проявится, а и не проявится — обойдусь... Воробей шел и шел, не думая, куда идет. Очнулся он в магазине, в винном

отделе. Тупо уставившись в бутылки на прилавке, он засосал носом воздух и, сдавленно зарывчав, одним прыжком вылетел из магазина. Еще чуток — и хлестанул бы он из горла. От подступившей вдруг боли Воробей закусил губу и, трясясь, как в ознобе, завыл. Только бы не началось, только бы не началось...

Он стоял на троллейбусной остановке, упершись головой в стеклянную стенку. Ждал, когда отпустит. Подошел троллейбус. Пустой. Воробей плюхнулся на свободное место. Так и ехал — голова на спинке переднего сиденья. На конечной Воробей чувствовал себя уже вполне... Ладно, главное — не посадят! Домой вот неохота... Утром Вальке нос разбил. Чудной у него все-таки характер, бесптолковый: трояк просила на опохмелку, не дал, да еще бубен выписал, а потом сам Ирке сказал — у них ночевала, — где самогон спрятан, чтоб налила ей чуток. Да... Может, к Мишке поехать?.. Говорил, стережет сегодня свой музей. Переулок еще смешной. Вшивый Вражек?.. Сивый Вражек?..

Переулок оказался рядом с метро. Сивцев Вражек. И музей рядом. Здание, правда, не бог весть. Воробей представлял себе нечто вроде дворца. Как музей Красной Армии. А этот не видный, двухэтажный...

Чугунные воротца были распахнуты. Воробей вошел во двор и, в нерешительности потоптавшись у двери, надавил кнопку.

— Здорово, могильщик хренов! — гаркнул он при виде Мишкиного изумления. — Дай, думаю, сюрприз устрою.

— Ну как?

— Сядь да покаж, — улыбаясь, сказал Воробей. — Обещались не посадить. А там кто знает...

Он вошел в вестибюль и оробел: наборный паркет, картины... Больше всего Воробья поразил рояль. Роялей живых он не видел, только у Петровича — пианино...

— Работает? — он кивнул на рояль. Подошел, осторожно ступая по паркету, поднял крышку, потрогал клавиши...

Над роялем висела панорама старого города.

— Это чего?

— Москва, не узнаешь?

Воробей прищурился.

— Очки, зараза, надо... А-а, точно! Москва-река! А Лианозово где?

— Какое еще Лианозово! Это же двести лет назад.

— Точно! — кивнул Воробей. — Кольцевой-то еще не было... А там что? — Он кивнул на опечатанную дверь.

— Экспозиция, — ответил Мишка.

— Чего?

— Комнаты его.

— Кого?

— Как кого? Герцена.

Воробей с уважением посмотрел на дверь, подергал бронзовую ручку.

— А ключа нету? Взглянуть бы...

— Ключ-то есть, да там, видишь, печать.

Воробей присел на корточки, долго рассматривал печать.

— Слышь, Миш, ее же после монетой можно... Печать-то из пластилина, орлом приложить — и будь здоров, герб такой же выделки. Найди ключик, а?

Мишка полез в стол за ключом.

— Слышь, Миш, он сам-то нерусский, что ли? Фамилие чудное.

— Русский. Там какая-то история вышла с родителями, я подробности забыл, — сказал Мишка, открывая дверь.

— Да какого ж ты!.. — возмутился Воробей. — Стережешь, а кого стережешь — без понятия!

Особо Воробья ничего не заинтересовало, только вот канале и гусиные перья. На канале он попытался примастыриться, но потом сообразил, что не для лежки оно — для красоты, а может, на него ноги клали.

— Квартира хорошая, — сказал он, пройдя по всем комнатам. — Своей семьей жили? И дети с ним?

— Наверное, — неопределенно пожал плечами Мишка. — А где им еще?

— А я думаю — поодаль где. С нянькой. Здесь-то всю мебель попортят. Слышь, а где у него эти дела — кухня, санузел?..

Мишка снова пожал плечами.

— Ну, ты даешь! Кто же знать-то должен? Я бы таких служителей — поганой метлой...

Зазвонил телефон. Мишка взял трубку. Воробей придвинул кресло поближе, чтобы послушать, о чем говорят.

Разговор был пустой: мать просила, чтобы Мишка съездил на дачу, вскопал огород. Мишка мямлил, а Воробей внимательно слушал, даже руку к уху приложил. Показал головой недовольно.

— Хреново ты с мамашей говоришь. Помрет — жалеть будешь.

— Да она еще молодая.

— Все равно помрет когда-нибудь... У ней день рождения скоро?

— В августе.

— Ты ей золотые часы подари и торт с фигурой.

— Да есть у нее часы.

Воробей махнул рукой.

— Не понимаешь!.. Чего ты лыбишься? Ты не смейся, я верняк говорю. Ты, думаешь, кому-нибудь нужен, кроме мамаша? Вот увидишь. Попомнишь еще мои слова.

Воробей встал и еще раз прошелся по вестибюлю, рассматривая картины на стенах. Особенно долго — похороны Гёрцена во Франции. Ночью. С факелами.

— Слышь, — обернулся он к Мишке. — Вот эту — с захоронением — сразу рисовали или после, по памяти?

— Ночью красок не видно. А потом, они же двигаются, не позируют специально.

— Если уж такой знаменитый, могли бы чуток и постоить. Пока он их намечет для затравки... Карандашиком.

Воробей сел к столу, притянул к себе книгу отзывов.

— Слышь, Миш, нам тоже такую надо у себя. Выражаем благодарность ученому сотруднику кладбища Воробьеву

Алексею Сергеевичу за добросовестное захоронение нашей... тещи, к примеру, а?

Мишка заржал. Воробей тоже было намерился похохотать, но вовремя вспомнил, что нельзя из-за головы.

Он встал, взял портфель.

— Двигать надо. Валька небось уж бесится.

— Да спи здесь, куда ты пойдешь, поздно... — сказал Мишка.

Воробей вздохнул и поставил портфель на пол.

4

Воробей стряхнул с табуретки мусор, вытер ладони о робу и присел к столу. Взял с печки высохший трафарет. Очищенным черенком кисточки разбил на три полосы: для фамилии — пошире, для имени-отчества — поуже, а в самом низу — для когда родился-умер.

Фамилия попалась — нарочно не придумал: Жмур Михаил Терентьевич. Воробей хмыкнул. На кладбище чего-чего, а этого добра — посмеяться — хватает: Пильдон, Улезло, Молокосус, Бабах...

Воробей клюнул кисточкой в баночку с краской, выжал лишнее о край, оправил волосы.

Писать начал, как всегда, с середины — для симметрии: «МЖ» в одну сторону, «УР» — в другую, «ЖМУР» хорошо лег на сухой теплый от котла трафарет. Буквы получились широкие, разлапистые. Короткая фамилия всегда лучше — не жмешься, что писать некуда, хоть на другую сторону залезай. Один раз так и сделал: на оборотной стороне дописывал — не рассчитал, а переделывать настроения не было. Тетка-заказчица все удивлялась: понятно ли будет. Будет, еще как будет — и всучил ей хитрый трафарет.

Обычно трафаретов на складе не было, а в бюро за ними машину гонять — целая история. Обходились.

Собирались старые трафареты из мусора, на худой конец, с бесхозов дергали. Безымянные от дождя, снега и времени. Сваливали их за котлом — пусть сохнут. Ребята с

часовни заносили, подберут где — и занесут. Знали, что дефицит.

Высохшие трафареты Воробей с Мишкой жирно красили тусклой серебрянкой и снова клали сушить — теперь уж на котел. Через день-два трафарет шел в работу.

Положено: захоронили, и трафаретик готовый — фамилия, имя, отчество, даты — в свежий холмик, чтоб не путались родственники без привычки и не прихорашивали чужую могилу, и такое бывало. А плата за него, за трафарет, в оплату могильную входит. Там все учтено. Да толкуто, что учтено. Отродясь никто не писал их загодя. На других кладбищах — отрытых, серьезных — писали, а здесь нет. Загодя писать — на окладе сидеть будешь, на пиво не заработаешь, не то что...

Хитрили: вылавливали возвращавшихся после захоронения заплаканных родственников и безразлично напоминали про трафарет... Родственники покорно плелись в трафаретную. А там Воробей или Мишка показывали один на другого: «Вот с художником говорите». Художник нехотя — «Уж так и быть» — соглашался сделать к завтраму: «Что ж вовремя не заказали, сейчас даже и не знаю, смогу ли, — работы много».

Благодарили по-разному: от полтинника до червонца. Однажды золотозубая в драгоценном каракуле ассирийка дала Мишке четвертак: «Выпей, парень, помяни... Какой айсор был!...» Воробей, восемь лет лопативший могилы, глазам не поверил.

Этой зимой он попытался усовершенствовать систему: вылавливать клиентов у кладбищенских ворот или у церкви до захоронения. Задумать-то задумал, да против кладбищенских правил, что и дало вскорости себя знать. Часовня скопом приперлась в трафаретную выяснять отношения. Выяснили по-хорошему: до захоронения — атас, сначала мы клиентов трясем, потом вы трафареты ловите. И чтоб в последний раз. Ребята обижаются. Ссориться нам, Воробей, с тобой ни к чему. И своему студенту скажи, чтоб больше не лез...

Воробей окрысился, но больше для вида — бесстрашие заявить. А какое там, к матери, бесстрашие, когда над правым ухом впадина в два пальца, кожей вместо кости затянута, и слуха нет. Подойди сзади да щелкни пальчиком — вот и нет Воробья, пиши ему самому трафарет! Спереди, правда, подходить не стоит...

...— С ним рассчитывайся, он бригадир. — Воробей показал на Мишку.

Женщина протянула трешку.

— Хватит?

— Вполне, — ответил Мишка и сунул бумажку в карман.

— До свидания, — женщина взяла свежий трафарет и вышла из котельной.

Мишка вышел следом — ловить клиентов.

Никого не было. Сытые голуби у церкви лениво поклевывали пшено и теребили хлебные крошки.

Яковлевна прихорашивала могилу молодого подполковника милиции, улыбавшегося с полированного высокого черного памятника.

— Анна Яковлевна, чего с ним случилось? Молодой... — Мишка вычел рождение из смерти. — Тридцать восемь, совсем молодой. Ребята говорят, застрелили...

— А то они знают! Выступал на собрании, поговорил, сел и помер. Сердце... так, сижа, и помер.

— А вам сколько лет, Анна Яковлевна?

— Мне, Мишенька, восемьдесят два в июне будет, если доживу. Уж больно на ноги тяжело ходить стала. Пять могил своих даже Розке отдала, на девятнадцатом у забора. Далеко ходить.

— Да хватит вам работать, отдыхайте...

— Это что ж, на пенсию? Дома сидеть? Да без работы я скорее помру. А здесь благодать. Природа...

Яковлевна вздохнула, веником огладила памятник, смела сор с полированного цветника, посыпала песком у оградной калитки. Потом собрала инструмент: лопату, веник, метлу, ведро с песком — и двинулась по

своему многолетнему маршруту дальше к уборочным могилам.

К воротам кладбища подкатил кургузый автобус. Из него вышла группа пожилых людей. Высокий старик крикнул:

— Молодой человек! Не поможете?

Мишка подошел. Вдвоем с шофером они вытянули из машины гроб и занесли в церковь. Старик сунул Мишке два рубля.

В церковь занести можно, если хозяева просят, а вот из церкви ни-ни: тут уже часовня управляется. И хозяева хоть оборись — никто с хоздвора за гроб не возьмется. Все по закону.

Мишка постоял, обошел от безделья церковь, заглянул в контору. Клиентуры не было. У батареи томился Ваня — дежурный милиционер, на боку у него висела пустая сплюснутая кобура, а в окошке позевывала косая Райка, приемщица. Увидев Мишку, она подалась вперед и, глядя не на Мишку, а на Ваню, попросила:

— Мишка, все равно без дела, груши околачиваешь. Сбежал бы в самбери. Яковлевна говорит: колбасу ливерную выбросили... Сбегаешь?

— И мне чего-нибудь пожевать, — отлип от окна Ваня. — Утром стакан чаю выпил. А жрать — не лезет. Бултыхается, как в помойной яме. Вчера сестра с мужем приезжала...

— Денежку гоните, дорогие граждане! У меня голяк.

— Знаем мы твой голяк, — засмеялась Райка. — С Воробьем небось лучше всех живете.

— Живет клиентура, — с расстановкой, серьезным голосом сказал Мишка. — А мы с товарищем Воробьевым работаем.

— Погода хорошая, вот она и живет, — с некоторым опозданием отреагировал на клиентуру Ваня и полез за деньгами.

До обеда Воробей развез все цветники, распустил очередь. Мишку отловил Петрович, послал грузить мусор на центральную аллею.

Воробей сидел в сарае, заложив дверь на крючок, пересчитывал деньги, раскладывая их по старшинству. Потом разделил: себе и Мишке. Сам ли работал, оба — раскрой один: мелочевку в котел (гранит, мрамор, цемент, инструмент), остальное на три части. Две себе, одну Мишке. Пускай он теперь и не «негр» (Петрович на той неделе его в штат взял), а все равно до могильщика настоящего ему сто лет дерьмом плыть. Тем более и мрамор и гранит, которыми они сейчас работают, его, Воробья. Значит, и бабки не поровну.

Воробей сунул Мишкину долю под кронштейн, как заведено. Сунул и провел ладонью по прохладной сливочной поверхности мрамора, по гравированной «бруском», внутрь надписи, выложенной щедро, без экономии сусальным золотом:

ВОРОБЬЕВА ЕВДОКИЯ АНТОНОВНА

5.2.21—26.8.59

Спи спокойно, милая мама

От родных и сыновей

Обвел пальцем окно под керамическую фотографию, веточку, крестик... «Сука гребанная...» — об отце, избившем больную мать так, что перед соседками, обмывавшими через неделю тело, стыдно до сих пор, сплошняком сисяки...

Воробей всхлипнул то ли от воспоминаний, то ли от непроходящего еще со Средней Азии насморка.

Была б жива — в золото одел бы, кормил бы из рук... Эх, мама! Умерла ты — какую же гадину он приволок! Фотку твою снять заставила, нас с Васькой травила... Васька посмирней, терпел, а я деру дал. Сперва по садам околачивался — садов-то тогда полно было. Поймали раз, поймали два... Отец, сука, сам просил, чтоб в колонию. Она, тварь, присоветовала. Кому сказать, не поверят: варенье со стеклом слала — гостинчик!.. Эх, мама, мама!..

Воробей сопанул носом.

...Говорят, приметы не сбываются. Мишка вон болтает: Бога нет. Знает он много, соплесос образованный... А Татарин, выходит, сам собой убрался? Два года назад.

Тогда из-за домино заспорили, Татарин бутылкой сзади его, Воробья, и вырубил в часовне и топтал со своими, всей хеврой навалились, сколько их тогда с Мазутки пришло? Человек пять...

В больницу Воробей себя везти не дал — домой велел, неделю лежал, до уборной дойти не мог, в банку все... И портрет мамы молодой над кроватью просил мокрыми глазами: помоги, мамочка, сделай Татарину...

Через три недели — а то, ишь, Бога нет! — тетя Маруся, что у церкви подметает, мать Татарина, хоронила забитый гроб с измятой головой Татарина — остального не было: разобрали Татарина товарищи по лагерю, зацепился с ними когда-то. Вспомнили. А все — мама...

На поминках — тетя Маруся хорошо выставила — Воробей вдруг испугался своей нечаянной веры в несуществующего Бога. Татарину потом почти за бесплатно памятник маленький из лабрадора сделал. Маленький не маленький, а рублей двести тете Марусе сберег.

Или вот еще.

В прошлом августе после Гарикова дня рождения Васька, братан, убивал его ночью пьяного, топориком рубил ржавым. До смерти хотел — три раза по башке тюкнул.

В больнице (сосед по койке потом рассказывал) врачи даже кровь добавлять не стали, жижу одну, плазма называется, лили: чего литры зря переводить? Ждали — помрет.

А вот хрен им! Живой! Хоть и дышит кожа пустая над ухом. И горло еще потом проткнули прямо в койке. Рубленное — то еще путем не залечив, когда припадок случился после краснухи этой...

Так живой же. О!

А то, ишь, специалисты: Бога нет... Кому нет...

Воробей опять погладил мамин цветник. На днях Толик-рубила должен появиться, фотографию мамину кера-

мическую принесет. Съездим тогда с Мишкой в Лианозово к маме, цветник фигурный отвезем, кронштейн поставим. Ой, мама, мама... Только вот сейчас, в тридцать дошли до тебя руки. С пятьдесят девятого так и лежишь. Могилка неприбранная... А все сивуха, сволочь! Ладно, теперь уж намертво завязал.

Воробей высморкался, взглянул время, вышел из сарая.

— Сынок! — наскочила на него маленькая старушонка. — Ты здешний?

— Чего тебе? — рывкнул на бабушку Воробей. — Заикой делаешь!

— Землицы бы мне чуток... Болела я, давно не была, вся могилка заглохла. Не привезешь? Я б тебе рублик дала на водочку...

— Слушай сюда. — Воробей доверительно склонился к старухе. — Нету земли, ясно?

— А я видела — возят...

— Да не земля это, дрянь. Наскребут где-нигде и везут! Иди гуляй лучше.

— Нет, милоч, ты чего-то мудришь... не хочешь помочь бабушке... — Покачала она головой в платочке и поплелась с хоздвора.

— Не верит, зараза, — взвился Воробей. — А врешь им — верят! Сволочи!

— Леш! — негромко сказал подошедший с вилами на плече Мишка. — Может, привезти ей от Шурика пару ведер, у него есть за сараем. Ну, дадим ему тройак. Мы и так сегодня заработали неплохо.

Воробей неожиданно успокоился.

— Хрен с ней! Давай вези. Гляди только, чтоб наши кто не увидал, засмеют.

Мишка привез хорошей земли, opravил холмик, помог воткнуть цветочки — разуважил бабушку. Хотел идти.

— Сынок! Погоди, милый, денежку-то! — бабушка заковырялась, развязывая узелок на платке. — На-ка. — Она ткнула ему сухой кулачок.

— У меня руки в земле, бабуль. Сама положи, вот сюда, в карман. — Мишка приподнял локоть.

— Спасибо, милый, дай Бог тебе...

— Отвез? — спросил Воробей.

— Рублец.

— Кидай в казну.

Мишка стряхнул с ладони грязь, полез в карман. Трешка.

— А говорил — рубель? — Воробей замер.

— Да я не смотрел... Сказала, рубль...

— Чего дуру гонишь? — вдруг заорал Воробей. — Что она, в карман к тебе лазила?!

— Да. Я ж говорю: руки грязные были...

— Бабке своей расскажи! Воробью мозги пудрить не хрена! Ловчить начал?!

Воробья понесло. Он припомнил бутылку коньяка — презент клиента-грузина, которую Мишка по недомыслию отнес домой. Завязавший Воробей всегда сам совал «освежающее» ему в сумку. Лицо его побелело, он тяжело дышал. Видно было: из последних сил старается не запсиховать. Даже прикрыл глаза и сжал зубы так, что губы превратились в прорезь. Стал кусать ноготь, рванул так яростно, что на пальце выступила кровь, а сам он дернулся и затряс рукой в воздухе.

— Чего орешь, Алеша? — раздался за дверью веселый голос Стасика.

Воробей ногой отпихнул дверь сарая.

— Да вот... Притырить решил! Дали трояк, а брешет — рупь!

— Кто? Этот? — Стасик смерил Мишку нехорошим улыбающимся взглядом. — Говорил: не приваживай негрóв.

— Так ведь думаешь, человек, а он — сука! Знает, что я глухой...

— А чего ты, собственно, шумишь, Алеша? — ласково и тихо сказал Стасик. — Дело-то простое: недодал негр монету — все! Разберемся...

Мишка почувствовал, как сразу похолодели ноги. Одно разбирательство он уже видел.

Прошлой осенью, когда неизвестный еще Мишке Воробей лежал в больнице с разрубленным черепом, кладбище разбиралось с его напарником Гариком.

Мишка тогда пахал на Гарика. Был у него в неграх.

Раньше за главного был Воробей. При нем обязанности в бригаде были четко распределены. Гарик «проясняет» с клиентами и нарубает доски. Воробей руководит, ведает казной и отмазывает Гарика, если кто из кладбищенских против того хай поднимет. И при них еще один-два негра на подхвате: таскать цветники, мешать раствор, крошку мраморную промывать. Короче, ишачить.

Гарик навестил Воробья в больнице, увидел — не выживет, и уверенней взялся за дела. Без Воробья, а держится, как и раньше при Воробье: с часовой сквозь зубы цедит. А часовня и хоздвор — два разных «профсоюза». Клиент ведь сразу на хоздвор сворачивает, до часовни полкладбища пилить; хоздвор всех клиентов и перехватывает. Часовне только и остается — во время захоронений прояснять. А много ль прояснишь, когда родственники не в себе. Вот и получается, что у часовни заработок меньше, чем на хоздворе.

И народ там, в часовне, наоборот, позабористее, чем на хоздворе, меньше двух раз никто и не сидел. А Гарик гребет и гребет, да еще, дурак, вслух хвалится. Да тут еще пьяная Валька притащилась у Гарика деньги требовать, Воробьеву, мол, долю. А Гарик ей: накрылся твой Воробей и доля его. А сам его кулаками прикрывался все это время: они, мол, и дохлого Воробья сто лет бояться будут. И, главное, громко изъяснял, так, чтоб слышали.

Не учел, что часовня не так Воробья боялась, как его, Гарика, не любила — с его бородой, образованностью и ленивым нездешним разговором.

С клиентами Гарик обращался с повышенной деликатностью, но без подобиюстрастия, проще говоря, с достоинством держался, собака. Карьеру делал без Воробья.

Накрылась его карьера. Через две недели после Воробья Гарик сам оказался у Склифосовского. И случилось это днем, в открытую, в рабочий день.

Мишка с Финном в тот день сидели в глубине хоздвора на штабеле длинных труб: Петрович менял водопровод по всему кладбищу. За свой счет, кстати, менял, иначе его б поменяли.

Финн, как обычно, был без работы, а Мишка ждал Гарика. Две мраморные доски — Гарик вчера велел — были залиты в кронштейны. Окрепший за три дня сушки цветник Мишка отшарошил прямо здесь, на хоздворе, еще до девяти, до оживления.

Гарик обещал подойти к двенадцати: полтора часа кури да Петровичу на глаза не показывайся — увидит, ткнет на мусор. А чужой мусор ворочать — хуже нет. Оттого и поглядывал Мишка на ворота хоздвора: от Петровича прятался. Тем более Гарик давно в контору не посылал, все жметя: завтра, завтра... Из-за этого «завтра» с Борькой-Йогом кипеж на весь базар подняли. Уж на что Борька с Гариком чуть не приятели — Борька тоже с хоздвора и тоже образованный, — а вот сцепились. Борька его жидом обозвал: вцепился, говорит, в монету, сам жрешь, а в контору — хрен, смотри, доиграешься...

Вот и поехал Гарик сегодня японский магнитофон Петровичу для машины доставать. Чтоб одним разом всю вину свою перед ним покрыть. Стереофонический, с колонками. На обратном пути хотел еще к Воробью в больницу заглянуть, может, помер уже.

В поддвенадцатого со стороны железной дороги не торопясь на хоздвор вошел Игорь Мансурович Искандеров, он же Гарик. Не поворачивая головы, кивнул Мишке с Финном, открыл сарай. Вышел оттуда переодетый, с чемоданчиком-«дипломатом». В «дипломате» он держал скарпели — инструмент для гравировки по граниту и мрамору. И молоток специальный. Под мышкой нес полированную доску белого мрамора. Нес в угол двора. Там вместо граверной мастерской на перевернутой вверх дном пустой

бочке из-под бензина он вырубал заказанный клиентами текст. Работа выгодная, цены за знак по местному прейскуранту: на мраморе — полтинник, на граните — рубль.

Крест, веточка, окно под фотографию — как десять знаков. Залить доску в цементный кронштейн — двадцать или тридцать рублей в зависимости от размеров доски.

Гарик был дотошный, рубить сам научился, обзавелся классным инструментом. Все заказы в воробьевской бригаде делал, на сторону ничего не давал.

Гарик вдруг остановился и, не глядя на Мишку, сказал как бы между прочим:

— Работы нет — у конторы клиентов лови. Устал — домой иди, здесь высиживать нечего.

Мишка мрачно поднялся. Финн злорадно улыбался.

Гарик расположился на бочке, надел очки, чтоб крошка в глаза не летела, и начал рубить короткими легкими очередями.

В ворота зашли несколько незнакомых нарядных крупных парней. Впереди в замызанной робе весело вышагивал Шурик Раевский из часовни.

Шурик сунул Мишке жесткую короткопалую ладонь, кивнул Финну.

— Гарика не видели?

Мишка мотнул головой: там.

Компания сосредоточенно двинулась в глубь хоздвора. Через пролом в заборе просочились еще несколько незнакомых парней. У этих впереди был Оханыч, тоже из часовни.

Обе компании сгрудились вокруг работающего Гарика. Отсюда, от Мишки с Финном, видно: стоят спокойно, беседуют, руками водят... Дела решают. Скорей всего ребята эти с проспекта: достали чего — толкать пришли. А Раевский им коммерцию клеит: показал кого побогаче.

На хоздвор зарулил Борька-йог на разбитом грузовом мотороллере. В кузове на куче грязных листьев трясся Морда в бабьей, искусственного меха желтой шапке. Мусорные вилы свешивались из кузова. Мотороллер проехал

мимо шумящих и остановился метрах в пяти от них, возле свалки.

Чужие ребята вдруг резко задергались, замахали руками. И через несколько секунд стало ясно: Гарику выдают. Выдают серьезно и всем кагалом. Гарик что-то кричал. Типа угроз.

Борька-йог с Мордой, недоразгрузив мотороллер, спешно подались с хоздвора.

Странно, что Гарик пока держался на ногах: парням, наверное, мешала их многочисленность. Но потом они все-таки его сбили. Гарик упал и начал орать просто, без угроз. Становилось страшно даже отсюда.

— Убьют так...

— Могут... позвать надо... — ответил Мишке Финн, не подымаясь с места.

— А-а-а!!! — тянул Гарик на одной ноте.

Один из нарядных подобрал с земли блестящую широкую железку и, нагнувшись, с длинного замаха стукнул Гарика по голове.

Гарик замолчал.

— Шпателем, — прокомментировал Финн.

Нарядные успокоились и тихо стали расходиться, переговариваясь между собой.

Проходя мимо Мишки с Финном, Раевский кивнул и, добродушно улыбаясь, обронил:

— Пока, пацаны!

Над пустым двором повисла тишина.

Гарик зашевелился, тихо рыча, встал на карачки. И на карачках медленно пополз на них — на Мишку с Финном.

— «Скорую»! — неожиданно громко для своего положения взвизгнул он и ткнулся красной головой в утрамбованную щебенку.

Вокруг его головы медленно расползлось черное пятно...

...Мишка сидел в сарае на канистре с олифой. Открытая дверь поскрипывала на ветру. На грязном полу валя-

лись деньги: трешки, пятерки — Воробей в лицо швырнул. «Бабки свои забирай и катись, чтобы ноги твоей!..»

Мишка, не вставая с канистры, нагнулся и подобрал с пола деньги, до которых дотянулся. Встать не мог — дрожали ноги. Что же делать?! Он встал, закрыл дверь на крючок, включил свет. Так. Надо переодеться. Где же одежда? Вот она. Часы не забыть. Сверла победитовые... Он нагнулся было к ящику с инструментами... Черт с ними, уходить надо. Как? Через ворота? А может, они уже его поджидают? Через хоздвор? Нет, лучше через ворота, там контора, милиция...

Настороженно оглядываясь, Мишка пошел к воротам.

Навстречу Воробей.

— На, — тихо сказал Мишка, протягивая ему ключ от сарая.

— Чего «на»? — Воробей поморщился, отпихивая Мишкину руку. — Пошел ты!.. Ну, попсиховал малость. Тем более — болезнь... и юбилей у меня. — Воробей хрипло засмеялся. — За шашлыком поедешь. Понял?

— Понял, — с тем же ударением пробормотал Мишка.

5

В среду Воробью исполнялось тридцать лет.

Во вторник Воробей со Стасиком сходили в гастроном к Люське. Стасик Люське, директрисе, памятник для мужа делал из габро, черного мелкозернистого гранита. Директриса говорила про мужа: от сердца умер. «Ясно, от сердца, да только сердце-то, наверное, от сивухи заклинило». Люська оскорбилась. «Ну, не обижайся, это я так; сердце так сердце, всяко бывает». Простила директриса Стасику непочтительную версию. Потом, когда Люська познакомилась с ним поближе, вплотную, не раз признавалась вислосомому нахалюге Стасику, до чего осточертел ей бесполезный по супружеству муж, покойник. Раньше ни одной бабы не пропустит, а к сорока стало подходить — все, выдохся.

В магазине Стасик оставил Воробья возле кассы, а сам с двумя портфелями пошел, куда посторонним вход воспрещен, к Людмиле Филипповне, к Люське.

Через полчаса Стасик вышел. Портфели тянули к земле.

— Чего взял? — спросил Воробей на улице.

Стасик открыл портфель.

— «Посольская», — прочел Воробей. — Хорошая?

Стасик взглянул на него жалостным взглядом и не ответил. Воробей понял: хорошая.

С утра в среду Мишка поехал за шашлыком в центр и на рынок купить зелени.

Воробей в это время ставил цветники. Дождь не намечался, народу за цветниками собралось много.

Воробей брал квитанцию, отмечал на ней: «Цветник установлен», — расписывался и лез в сарай, где стояли плотно прижатые друг к другу цветники — бетонные рамы, внутри которых высаживались на могиле цветы.

Не так возить тяжело — он их накладывал для экономии времени сразу по три штуки на тележку, — как таскать одному среди разношерстных мешающих оград.

На открытых кладбищах, где по целине роют, установка оград вовсе запрещена, а тут все могилы в разнокалиберных оградах, некоторые еще и с пиками — для красоты. Мало кто из кладбищенских не посидел на них. Особенно зимой, когда гроб по узкому проходу на головах двое несут, чуть соскользнул — задом на пик. И терпи, упирайся — не товар же кидать.

За свои восемь лет при мертвых освоил Воробей цветники в одиночку ворочать и горбылей — нестандартных цветников, тяжелей обычных килограммов на тридцать, — тоже не пугался. Знал, где кантовать, где тащить волоком, а где и на шее, как хомут, пронести.

После больницы, правда, на шею не вешал: попробовал как-то — сознание дернулось, чуть не грохнулся. И на голове гробы таскать, само собой, не пытался. Когда Миш-

ка под рукой, легче, сочувствует, больше сам ворочает, а если один, приходится...

Установка цветников шла резво, заказы попадались все на близких участках — возить недалеко и возле дорожек. Потел Воробей, но скоростей не сбавлял, только клиентов подгонял: «Передом идите, показывайте!» — и пер перегруженную тележку, по оси увязавшую в непросохших дорожках. «Мамаша, шустрой давай, потом отдышишься! Очередь видала?..» Клиенты поспешали. Домчавшись до нужной могилы, Воробей привычными ударами лопаты сносил до необходимого размера холм, шлепал сверху цветник, подбивал под него землю, шуровал лопатой внутри — ровнял землю под цветы: «Готово!» Клиент стыдливо тыкал ему нагретые в кулаке деньги; Воробей не глядя совал их в карман: «Спасибо». И гнал дальше. Сам не просил; когда не давали ничего, чуть постолв, уходил и увозил свою таратайку без «спасибо».

Не забывал Воробей и о земле невзначай напомнить: «Сюда бы чернозему неплохо, на глине-то что вырастет. Глина, еще света от деревьев мало». Клиент обеспокоивался: «Вы думаете, надо?» — «Глядите, дело ваше, мне что...»

Как правило, действовало. «А есть на кладбище земля?» — «Найти можно, если поискать... Кому есть, кому нет. Мы для себя из Загорска возим, смесь огородная — навоз там, торф. Сюда ведер пять зайдет. Ведро рубель».

«Огородная смесь» разила наповал.

Уловив согласие, Воробей скидывал с тележки неразвезенные цветники, очередникам бросал: «Ждите!» — и катил верную тележку за смесью. Бежал в сарай за корыто и набитое доверху доставлял заказчику: «Шесть ведер». И высыпал землю в цветник.

«Смесь», как и «эфиопский» мрамор, придумал Гарик. «Смесь» была везде: на могилах, под деревьями, под ногами. Обычная по составу и цвету земля.

...Наконец Воробей заволок на хоздвор пустую тележку.
— Все! Обед!

Очередь загалдела.

Воробей примкнул тележку цепью к сараю и, стянув робу, пошел под кран мыться.

— Сказано, обед. После часа приходите.

Он вернулся в сарай и закрылся изнутри.

Народ потоптался у двери, потом стихло. Воробей достал из портфеля кефир, отпил из горлышка. Наедаться не стал: через два часа праздничная жратва, чего зря харчи изводить. Закурил. Голова от возни с цветниками чуть гудела.

— Кого? — прорычал Воробей, скидывая крючок. — Ах, ты... Я думал, эти опять... Купил?

— Протекло все... — Мишка поставил тяжелую сумку на пол. — Шашлыка нигде нет, всю Москву объездил. Баранины взял... Замаринуем, лучше покупного будет. Лук у нас есть, соль-перец есть, уксус есть...

— Сам сделаю, поди мойся, взопрел вон. Стасик, знаешь, чего у Люськи вчера взял? — Воробей вытянул из-под верстака припрятанную «Посольскую».

— Ого! Лихо! Обалдеют мужики.

— Вот так. Пойду часок прошвырнусь, а, Миш? Тридцать лет — какого хрена!

Возле церкви звонарь дядя Леня размешивал палкой в ведре белила. Бурая олифа тяжелой струей тонула в краске.

Воробей подошел к нему, поздоровался.

— Сейчас красить придут, а белила встали, — ворчал дядя Леня. — Олиф кончился. У тебя нет литра два?

— Пусти на колокольню, дам.

— Опять за рыбу деньги! Сколько раз говорено: забудь про колокольню. Без тебя олиф найду, ступай... — Старик махнул рукой.

— Ты погодь, дядь Леня. Смотри! — Воробей протянул звонарю раскрытый паспорт. — У меня сегодня тридцать лет. А олифы все равно, кроме меня, на кладбище нет.

Звонарь положил палку на ведро, взял паспорт.

— Точно, тридцать. На колокольню-то тебе зачем?

— Посмотреть. Лянуть разок сверху, а то внизу всю дорогу. С покойниками.

— А за колокол заденешь? Или гробанешься сверху? Чего тогда?

— Да не пью я! Год уже... Дядь Лень!..

— Пить-то не пьешь, а башка колотая. Вдруг чего сверху примерещится.

— Дя-я-ядь Лень...

— Колокол не заденешь?

— Ну ты чего, дядь Лень!

— Ладно. Олиф с тебя. Пять литров.

Спотыкаясь о высокие щербатые ступени лестницы, Воробей добрался до звонницы. Колокола висели у самых глаз, их было три, самый маленький в полметра. Черные болванки языков были зачалены за кольцо огромного рыма, вделанного в каменную кладку барабана.

Воробей облокотился о чугунное витиеватое ограждение в одном из проемов звонницы.

Внизу был город, кладбища не было.

По ту сторону проспекта опрокинутыми лестницами тянулись на запад железнодорожные пути, пролезая кое-где под одинокими, не собранными в составы вагонами. «Бесхозы», — определил Воробей.

В той стороне за телебашней на Алтуфьевке его дом. Там и до колонии жил. Туда и после колонии вернулся. Как ни хотел, а пришлось. Воспитатель в колонии Петр Сергеевич — такой мужик классный был — перед самым освобождением совсем уж было собрался его усыновить, отцу написал по-хорошему. Но папаня, сука, отказал. И чего ему? С мачехой уже не жил, привел бы другую бабу да терся с ней. Не-е-ет, заупрямился, козел старый. И главное, только пришел — через неделю выселили отца по тунядке. А к Петру Сергеевичу назад в сыновья проситься неудобно. Остались они с братом Васькой вдвоем в комнате.

Воробей смотрел на нарядные от разноцветных машин улицы и вспоминал, как вернулся из колонии...

Сколько ему было? Пятнадцать, шестнадцатый... Взяли с Васькой вермута, пошли в садик. Васька рассказывал, как отец с мачехой над ним эти годы мудрovali. Напьются,

дверь на ключ и давай хлестать... А за что? Да просто так — поглядел косо или не так ответил.

Выпили они с Васькой в садике, пошли домой.

Отец как раз макароны варил, концы из кастрюли торчали... Васька подошел и без разговоров отца в торец, а потом тубарь взял и обеими руками... Отец захрючил — вырубился. Сам-то Воробей тогда отца не бил, боялся опять загреметь. Потом, правда, делал его крепко. Когда тот с высылки из Собинки приезжал денег клянчить...

Сейчас-то хорошо, тридцать лет, жив, слава Богу, и монета завелась. И Витька растет, так все ничего... А с Петром Сергеевичем точняк лучше было б. Мужик был!.. Как он их, шпану из колонии, на экскурсии возил! По Москве автобус наймет — и поехали. И чтоб хоть один сбег... А ему было бы, если б кто утек... не по инструкции.

Воробей высунулся в проем напротив, глянул вниз: ни памятников, ни крестов — сплошная шевелящаяся зелень.

Обернулся назад. Машины без удержу неслись навстречу друг другу...

Телевизор куплю цветной, Вальке шубу... Может, дачу купить?.. А что? Подкопить год-другой — и можно. Валька на даче с Витькой, пить меньше будет... Яблонь посажу. Вот только бы с судом обошлось...

Воробей посмотрел на часы: пора. Ребята к трем обещались всех засунуть: пять захоронений — недолго.

6

Станислав Вербенко, Стасик, жил в раю.

Формально Стасик был такой же подсобник, как Воробей, как Борька-Йог, как все, — со своим сараем на хоздворе, со своими простыми подсобными обязанностями. Соблюдавший по мере возможности кладбищенскую дисциплину. Но по существу Стасика на кладбище не было. Он устроил себе другую географию.

К забору хоздвора примыкали ветхие сарайчики послевоенной постройки. Принадлежали они законным хозяе-

вам, проживающим в недовыселенных двухэтажных, барачного типа домах кладбищенского тупика.

Стасик выбрал сарай покрепче — с окнами, электричеством — и пошел к хозяину договариваться. И договорился. За умеренное вознаграждение Стасик получил в пользование сухое, теплое шестиметровое жилье с маленьким тамбуром и навесом сбоку.

Одной стеной сарай поддерживал догнивающий кладбищенский забор, в остальном же не имел с кладбищем ничего общего.

Стасик разыскал мощную, звенящую уставшими пружинами кровать, приволок ее в домик, напротив кровати соорудил топчан, раздобыл столик, навез из дома тряпья, утварь кухонную, электроплитку, приемник и зажил с размахом. Позднее он отгородился от мира глухим дощатым забором со стороны тупика и оборудовал в нем дверь под замок.

Внешней демократичностью и гостеприимством он давно уже создал себе популярность и пресек зависть, а со временем добился, чего хотел: без серьезной нужды к нему не перлись.

В трезвом состоянии мозги его работали великолепно, не зря же он кончал физмат и преподавал (пусть недолго) математику в средней школе.

На кладбище он уже работал давно. Беззубый частично, вислоносый, с жеваным от водки лицом. Стройный, правда, как пацан.

Успел он и срок отбыть, за что — толком никто не знал, а сам он не трепался.

Сегодня Стасик принимал гостей. Где же еще, как не у Стасика. Воробью тридцать не каждый день.

Воробей постучал.

— Стась, это я!

Стасик открыл дверь, засмеялся, но, увидев за спиной Воробья Мишку, оборвал смех и, как всегда, лениво спросил:

— А этот здесь при чем?

— Ладно, ничего, — буркнул Воробей и полуобернулся к Мишке. — Заходи.

Стасик разводил пары. Он достал специальное, продырявленное во многих местах корыто, поставил его на кирпичи и сейчас жег в нем чурки: готовил угли для шашлыка.

Мишка поставил возле корыта ведро с шашлыком. Разложил на столе хлеб, зелень. Пойло Воробей занес пока в домик — от соблазна.

Нагнувшись над корытгом, Стасик жмурился от дыма, искоса поглядывал на Мишку.

— Алеша!.. Толкни его, Михаил. Воробей! Ну, как тебе тридцать, не жмет? Чего себе подарил?

— Телевизор цветной, — ответил Воробей. — Еще не купил, но куплю.

— Ну и правильно, — кивнул Стасик, — водяру не пьешь, баб не слышишь... Теперь только телевизор смотреть в цветах... А я чего отмочил на свое тридцатилетие. — Стасик нанизывал шашлык на шампуры. — Заказал стол в «Нарве». Гостей назвал — одних баб бывших, некоторых через справочное выловил. Ребят не приглашал, с ними после гудели... Девок назвал, не соврать, штук семнадцать. Пришли парадные, в платицах, брюк почти не носили еще. Я их знакомя. Все солидно: они — «очень приятно», ну, трезвые все да и не врубались еще, по какому принципу я их сгреб. Выпили шампуньского по бокальчику. Одна учительница, со мной работала, речь сказала — ну, я вам доложу!.. А на столе рыбка, салатика, фрукты в вазах — по пропилям, короче. Поддали еще — девки заудивлялись: а что это ты, Станислав, друзей не привел? Сколько красавиц, а кавалеров нет... Я рюмочку допил, встаю, сейчас, думаю, сообщу им...

Договорить Стасику не дали — постучали в забор.

Мишка покрутил пупырчатую головку замка, отворил.

— Ого! — крикнул Стасик. — Гость попер!

Компактный дворик Стасика быстро заполнялся приглашенными. Петрович, заведующий, невысокий просто-

лицый блондин в синем пиджаке с металлическими пуговицами, подошел к Воробью и с уважительной комичностью пожал его багровую, громадную, с изгрызенными ногтями руку. Маленькая, отвыкшая от инструментов директорская лапка скрылась без остатка в мослатой клешне Воробья.

— Поздравляю тебя с днем рождения, Воробей! Здоровья тебе желаю, успехов, ну и чтоб все остальное было в норме. Подарок тебе по традиции не покупали, сам разберешься. — Петрович достал из кармана сложенную вдвое пачечку бумажек.

Воробей, не выдержав редкой для себя торжественности, потупился:

— Спасибо.

А вчера наоборот — Воробей «поздравлял» Петровича. Много не много, а червончик в неделю будь любезен. Зажмешь раз-другой — и Петрович тебя заметит: хорошему клиенту не порекомендует, с халтурой шутать начнет.

Продавщицы из цветочного магазина, Зинка с Малявочкой — тоже, кстати, Стасиковы приятельницы, — возились с огромным подарочным букетом, не находя под него сосуд. Стасик нырнул под навес, где держал лопаты, ведра, банки, побренчал там и вылез с голубым эмалированным ведром.

— Давай сюда — в вазу.

Ведро с цветами утвердили в центре специально для гуляний найденного стола с пузырящейся от времени фанеровкой. Привез его небрезгливый Стасик с помойки. Стол был удобен и для долбежки — гравировки по мрамору и граниту. Это Стасик умел тоже.

Девки из «Цветов», Райка-приемщица и Петрович с Воробьем сели за прибранный стол. Остальные — кто где.

Стасик ворошил угли в корыте. Охачи с Кутей покуривали на бревне у забора. Кутя, как всегда по торжественным случаям, приценил орден. Борька-йог тихо, ни к кому не обращаясь, нес неинтересную ахинею: цитировал каких-то тибетских попов и старых китайцев. Поди про-

верь. Рядом с ними сидел Финн. Имени у него и то путем не было, все Финном звали. Вроде живал он там. Трудился в командировке — электромонтером, что ли. Клейкий он был какой-то, мокроватенький. И глаза бутылочные.

Может, Финн трепал про Финляндию, а может, и нет, во всяком случае в выходной иногда зайдет на кладбище подпить легонько — одет под иностранца: пальто замшевое, джинсовый костюм, часы на руке с тремя головками, на другой браслетик, как у хиппаря натурального, кепочка кожаная.

У Мишки на его жизнь был свой взгляд. Приблизительно такой. В Финляндии он был. Только не монтером. А от туда его попросили за пьянку. Специальности никакой, учиться поздно да и нечем: потная лысинка, а под ней пусто — все пропито. Прослышал, что на кладбище кормушка хорошая, подмазал кого надо, часики пообещал или рубашечку и пристал к покойничкам. А тут не тут-то было. Ни силенки, ни хватки, ни умения — ничего нет. В компанию не берут, механикой кладбищенской не делятся. А из ничего ничего и получается: оградку за пятерку покрасить да скамейку сколотить — вот и вся его халтура.

А он особо и не рвется. Ходит мутный да волосики на лысине поперек гладит. И потеет нехорошо от слабости и похмелья постоянного. Мордочка худенькая, подбородка мало, и с того капельки падают.

Кент Непутевый тоже под стать Финну: семенил слабыми, размагниченными ногами по дворику, мусолил свой бесконечный огарок... настреляет сигарет, курнет раз-другой, поплюет, пригасит — и в карман: опять захочет покурить — дернет пару раз, снова поплюет... Вечно с оплевывающими таскается.

А сейчас все ждал, томился: кто б скомандовал выпить. Кроме как на халяву и не пил вовсе. Редко когда подхалтурить ему удавалось. Никто его из кладбищенских не гонял — потому что не опасен: клиенты от него шарахались. Сам дохленький, а морда круглая, водянистая, почти без глаз. Одно слово — Кент Непутевый.

— Еще пару минут — и порядок, — торжественно заявил Стасик.

Оханыч, сидя на бревне, похлопал себя по плечам:

— Зябко. Наколки не греют. Принять бы. У вас далеко?

— Во-во, — с трудом провернул непослушным языком Кент.

— Тащи, — скомандовал Воробей.

И Мишка принес из сарая ошеломительную «Посольскую».

Оханыч даже с бревна привстал от удивления.

— Это где ж такую красулю надыбали?

— Места надо знать, Витек, — победителем проговорил колдующий над корытом Стасик.

— Кого ждем? — забеспокоился Оханыч и подался к столу. — Раевский с Кисляковым позже подойдут. К ним клиент прибыл.

Наливали по-кладбищенски: каждый себе. Испокон веков так — на кладбище сивуха рекой течет, особенно в сезон, всем под самый жвак хватает.

— Вы как хотите, а я себе целёй налью, не ровен час, помру завтра по утраку — так хоть отпробую. — Оханыч налил себе полный стакан и махом выпил. — Ласковая, сука!.. Извиняюсь, девки. — Оханыч выдохнул. — Из чего ее гонят, Стась?

— Тебе, Витек, не понять.

— От ней и башка небось не трещит, сколь ни пей?

Кутя обреченно махнул рукой:

— От любой трещит!

Воробей пододвинулся к заведующему.

— Петрович, ты меня на пару недель не отпустишь? Хочу на озеро съездить с Валькой. Палатку поставить, рыбку поудить. Мишка без меня повертится. Знаю, что сезон, не хмурься, не попросил бы... Из-за суда все. Как дело повернется, хрен его знает... На всякий случай...

— А участок у тебя как?

— Ты что, Воробья не знаешь? Все чисто.

— Ладно, зайдешь завтра в контору, поговорим.

Воробей налил себе «Буратино», понюхал.

— Слышь, Петрович, год не пью почти, и не тянет. Ты б поверил — кто сказал?.. О! Вот и я б не поверил.

За забором слышались шаги, дверь задергалась.

— Чего вы позапирались, как эти?.. Орут на весь ту-пик...

Мишка открыл дверь. Шурик удивился, увидев его, но ничего не сказал, лишь вопросительно взглянул на Стасика.

— Нормально все, — миролюбиво ответил Стасик на вопросительный взгляд Шурика. — Проходи пристраивайся. А Молчок?

— Он в конторе, пока я здесь, — объяснил Петрович.

— Ага-а! — протянул Раевский, принимая у Стасика тяжелейший от мяса и капающий шампур. — Это баранина?

— Ты вопросы не задавай, ты лучше Воробья поздравь по всем правилам.

— Ага-а, — прогнусавил Раевский, решив все-таки сперва закончить с шашлыком. Он спешно дождался, вытер руки о робу. — Воробей... Часовня, ну мы, в смысле, значит, поздравляем тебя... Чтоб не болел. Ну, и остальное...

Охалыч захопал первый. Хлопали все, кроме Борьки-йога, который по-прежнему бесстрастно смотрел перед собой и время от времени что-то подборматывал. Можно было бы действительно принять его за чокнутого, за йога, за Папу римского, если не знать, как он лихо теребил клиентуру. Да и сейчас он, хоть и гнал дуру под блаженного, шашлык кушал и выпивать не забывал. «Посольская» — ноль семь — на его краю пустела быстро. Хотя никто к ней и не пристраивался, у девок своя ноль семь.

Охалыч хлопал дольше всех. Наконец и он устал и махнул рукой Шурику:

— Котлы давай!

Раевский вытащил из кармана часы на браслете.

— Ну-ка! — протянул руку Стасик, рассмотрел внимательно и присвистнул. — Ну, Алеша, теперь живи — не хочу: телевизор цветной, часы японские...

Все потянулись смотреть часы, даже Борька-йог.

Охapyч, не увлеченный часами, все порывался рассказать про то, как выиграл стакан в пивной на Самотеке. Он всегда про это рассказывал.

В молодые годы в зоне ему оторвало на бревнотаске указательный палец, остался небольшой корешок. В пивной Охapyч заспорил, что засунет в ноздрю палец целиком. Компания заржала. Охapyч наклонил голову, приставил обрубок к ноздре и обернулся к притихшей публике...

Охapyч рассказывал про ноздрю, а Мишка с тоской поглядывал на Воробья: «Хоть бы объяснил им, сволочь, что зря визжал. Рыбу удить едет, а мне тут с ними...» В марте в графаретную Гарик заходил. После Склифосовского. Не тот это был Гарик. И не в том дело, что похудел вполонину, не в том, что бороду обстриг, — у него даже голос стал другой, тихий такой, старушечий.

Кто бил, не знаю, сказал он следователю. Но зато сказал, кто видел. И назвал Мишку с Финном.

Ну, Финна, того Раевский сразу по-свойски предупредил: «Тут ведь кладбище, могилки. Так? Так. Могилку вскопал, гробик уложил. Так? Так. А можно на два штычка поглубже под гробик земельку выбрать... так? Так. Все ясно? А гробик потом... сверху».

Мишке Раевский не сказал ни слова. Знал, что Финн передаст. Передал...

Раевский стоя дожеввал свой шампур и направился к бревнам покурить.

— Мужики, а кто знает, чего это у декабристов колготятся какие-то? Рожки вроде не родственные. Похоже, нюхают. А за декабристами свежак — венки еще сырые. Кто копал-то?

— Так! — Петрович вдруг встал. — Чтоб все тихо было! Нормально, спокойно. Без эксцессов. Охapyч! Без раскрутки мне, уволю! И вы все! — Петрович погрозил пальцем, застегнул пиджак и ушел.

Воробей отыскал на столе среди «Посольской» «Буратино», сковырнул крышечку.

— Охapyч, Кутя, наливайте. Кент, пристраивайся! Да не мусоль ты огарок, пальцы обожжешь! Девки, вы-то что, как целки, ломаетесь? Раиса Сергеевна! Давай! За мое здорovie! За Лешку! За Воробушка. Воробушек без башки, а все чик-чирик. Лётает!

К десяти часам гости были уже хороши.

Охapyч плакал: «За Воробья жизнь отдам!» — и рвался поцеловать. Воробей, чтоб не обидеть Охapyча, подставлялся, но осторожно, левой стороной, — оберегал пробоину. Охapyч колотил кулаком по столу. Стаканы прыгали.

Малявоча решила, что домой ей сегодня необязательно.

— Стась, не хочю домой, не прогонишь? — и сладко потянулась.

Стасик подскочил к ней, подставил руку крендельком:

— Прошу, мадам!

И увел в домик. Минут через пять он вышел.

— Мужики! Все, все, завязывай! Жратву берите и в чашовню... — Сунул покачнуvшемуся Раевскому недопитые бутылки и сгреб со стола что было. — Давай, мужики, давай, у нас мертвый час!

Переполненные гости тихо выбредали.

Воробей с Мишкой ускользнули от продолжения: у Воробья заболела голова и совсем отказал слух. Значит, устал.

7

Мишка обогнул бензоколонку и шмыгнул в пролом. В обеденный перерыв он успел сгонять на такси в институт, сдать в библиотеку учебники. Сейчас бегом на хоздвор: на верняка уже очередь за цветниками.

— Молодой человек!

Мишка остановился. С дальней дорожки от декабристов ему махал какой-то толстый мужчина.

— Можно вас на минуточку?
— Только на минуточку, — подходя, сказал Мишка.
— Увидел, как вы уверенно проникли на кладбище, — мужчина, улыбаясь, показал рукой на дыру, — и решил, что здешний.

— Да, в общем-то... А что случилось?

— Да, собственно... ничего не могу понять... Какая-то мистика... Откуда взялась эта могила? — Мужчина ткнул пальцем в свежий холмик, заваленный цветами.

Мишка нагнулся, раздвинул цветы. Ну да, вот трафарет, он же и писал. Как раз, когда Воробей в прокуратуру ходил. Они втроем и захоранивали после обеда: Мишка, Стасик и Раевский.

— Здесь была могила, — продолжал мужчина. — Где она?

— Могила? — Мишка настороженно поглядел по сторонам, потом на толстого. — Какая могила?..

— Я из управления культуры, мы должны... — начал мужчина.

— Михаил! Там тебя обыскали! — донеслось сзади. По соседней дорожке шли Стасик с Раевским.

— Извините, — пробормотал Мишка толстому, — я не в курсе...

...Когда очередь за цветниками уже подходила к концу, появился Стасик.

— Погодите, — сказал он ожидавшим, вслед за Мишкой вошел в сарай и прикрыл дверь. — Ну?.. С кем это ты толковал у декабристов?

Мишка похолодел.

— Не знаю... Спросил, откуда могила свежая?

— Угу, могила... — тише обычного проговорил Стасик. — А ты: не знаю, мол, дяденька?

— А чего? Что случилось-то? — спросил Мишка, прекрасно понимая, что случилось.

— Ничего. — Стасик улыбнулся. — Все путем. Будь здоров, дружок.

— Чегой-то у тебя звонок не фурычит? — на пороге стоял Воробей с пузатым портфелем в руках. — Здравово, могильщик хренов!..

— Леша? — Мишка растерянно смотрел на гостя. — Как разыскал?

— Забыл? На день рождение моем сам записывал. Забыл! — Воробей махнул рукой. — В квартиру-топустишь?

Воробей поелозил ногами о половик, повертел головой.

— А чего? Ничего! Сколько вас здесь?

— Я да бабка. Поттише, спит она... Она с дачи приехала за пенсией.

— Ага. Пускай спит, мы на кухне. Я тут привез. — Он протянул портфель. — Не разбей... Самопляс... А чего... Валька спит. Дай, думаю, к Михаилу сгоняю. Взял мотор... Кастрюля есть?

Воробей высыпал из целлофана в кастрюлю потрошенных окуней, подлещиков, лавруху, перец горошком.

— Уха сейчас будет. Я и соль взял. Может, думаю, нет.

— Соль есть, картошка кончилась.

...Воробей сидел за кухонным столиком спокойный, загорелый, даже слышать стал лучше: говорили вполголоса, а он разбирал. Рассказывал, хорошо было: солнце, лес, рыбка... Озеро переплывал туда-сюда. Врачи? А пошли они...

По тарелкам Воробей разливал уху сам. Мишке брызнул в тарелку самогона.

— Не спорь, — заметил он удивленный взгляд Мишки. — Попробуешь — скажешь. В кастрюле чего осталось — бабке покушать. Скажешь, Лешка Воробей стотовил. Ну, рубай, пока жаркая, остынет — не то... Выходит, в однокомнатной ты с бабкой. А родичи?

— Они в Тушине. Там мать с отчимом.

— А-а-а... Так ты вот отчего к бабке слинял. Понятно. Бабка-то старая?.. Помрет — хата твоя.

— Да она пока не собирается. Меняться хочет на двухкомнатную. Тогда уж, говорит, и помирать, чтоб у тебя двухкомнатная была.

— Любит, значит... А в двухкомнатной уже и поджениться можно. Дети, то-сё... Чайку заведи.

— Бабуля у меня хорошая. — Мишка включил газ под чайником.

— Слышь, Миш, а чего ты на кладбище сунулся? За деньгой?

Мишка пожал плечами.

— Правильно сделал, — согласился Воробей. — Тут главное дело не зарываться. Гарик вон допрыгался... Долго у него в неграх пахал?

— Месяца три.

— Платил как? Поджимал?

— Иногда совсем не давал.

— Этот может... Покрепче завари. А зеленого у тебя нет?

— Есть.

— О! — Воробей обрадовался. — Самый чай. Я его в Средней Азии пил-перепил... Не рассказывал про Азию? Расскажу.. Пиал-то нету? Ну хрен с ними, чашки давай. Варенье поближе.

Как отца выселили, мы с Васькой жили. Ремеслуху кончил — меня в ЖЭК дежурным сантехником. Без денег не сидел. С утрака по подвалам пробегу — магистраль посмотрю. Ее раз в неделю положено, а я — каждое утро. Где подкрутил, где подвернул — и весь день калым сшибаю.

Потом мне в армию подошло. А я из ЖЭКа уволился, денег получил, отпускные, — и ходу. В Среднюю Азию. Там без семи дней три года промотался вместо армии. Два года в Бухаре жил. Про бухарских евреев не слышал? Ну и дурак! Я лучше людей не встречал. У одного кирпичи лепил для дома. Хорошо было.

Жарко, конечно. Да у меня-то мослы ж одни, плавиться нечему. Толстый, тот — другой расклад: сомнется мигом. И вот смотри: тело у меня сложеньем такое или натура?..

Ведь сколько водяру жрал, а на работу — как штык. Да хоть у наших спроси: как я пил до больницы? А кого Петрович просил, случись что? Воробушка!

Да... Потом на тростнике работал. Идет машина вроде комбайна, а ты перед ней стоишь. Тростник выше головы, ухватишь и перекручиваешь, концы в барабан заправляешь. Работенка — я те дам! Больше недели, ну, десяти дней никто не выстаивал. А я там сезон отмотал. Меньше четырех сотен не выходило. И с похмела всю дорогу... Организм такой, на работу выносливый.

Вернулся, прогудели мы с Васькой что было. На работу надо. Мне соседка из другого подъезда говорит: иди к нам на базу мороженым торговать. Ну вот, опять смеешься. Ты слушай лучше. Работаю на базе — те же три-четыре сотни. Как? Да вот так. На базу приезжаю за товаром, учетчице четвертак кину — она мне полную тележку рожков по пятнадцать копеек накидает. Рожки и так всегда хорошо идут, а летом за ними — давиловка, ломаются все... Да я еще ору в полную пасть... У Савеловского стоял. Поначалу неудобно: знакомые...

А вот еще!.. Интересный случай. Вечером как-то иду выручку сдавать, в халате, звеню весь. Остановился у ларька пивка попить. Пацаны приметили, савеловские... Я иду дальше по путям, они за мной, трое их... Думаю: побежать — дробь рассыплю, мелочь из карманов вывалится.

Ладно, думаю, я их сейчас здесь, на путях, повеселю.

Остановился. Они подходят — и с разных сторон. Я говорю: чего, ребята, нам ссориться, лучше поделимся, только у меня ведь одна мелочь. И в брюки лезу — с понтом, выгребу им сейчас все. А в брюках у меня медь только, пятки... Достая сколько взял: нате, куда, мол, сыпать. Они, соплята, подставляются ближе. А я об одном думаю: выручку растеряю — как потом впотымах? Берите, говорю, сейчас еще нагребу. Что гробить их буду — не догадываются. Одному, думаю, бабаху выпишу, а потом погляжу, с этими как...

Отоварил одного... Потом, веришь, полночи не спал, жалко было... А как отоварил? Меня Харис в Самарканде

научил, тот вообще — уж рассказывал про него, — тот дня без драки не проживет спокойно. Ножа никогда не таскал с собой. С ложкой ходил, которой ботинки помогают надевать, правда, отточенная, зараза...

Ну вот, обеими руками сразу по виску костяшкой и по челюсти — вздвиг. Только одновременно надо. Парень тот больше и не двигался. Я уж мелочь подобрал, а он все так же на боку лежит, отдыхает. А эти-то, другие, побежали, конечно.

Я думаю: чего он без толку лежит? Котлы с него сдернул. Потом в озере их утопил, когда купался. Хорошие. «Полет», с автоматическим подзаводом...

— Мишенька! — послышалось из комнаты.

— Бабка... Разбудили все-таки...

Мишка пошел в комнату. Вернулся с банкой варенья.

— Яблочное люблю, — оживился Воробей. — Вообще — сладкое. Недожрал свое с мачехой да в колонии, теперь за прошлое добираю. А у Вальки — наоборот... Валька-то с сорок второго, мать у нее в Лобне бомбой убило, у тетки жила, потом в детдоме, сладкого в глаза не видела и сейчас не ест. Ужинаем с ней когда — детский сад прям: мне торт, ей четвертинка...

Так чего говорил-то? А-а... стою как-то, мужик подходит в болонье — коробку с мелочью берет с ларька и не торопится... Я опешил, молчу... Тут он морду поднял и смеется... Марик! Дружок мой, до колонии с ним хулиганили. А потом, говорят, шпаней его в Лианозове не было.

Задразнил меня Марик вконец: и работа бабья, и халат, и вообще. Иди, говорит, ко мне на Долгопу — Долгопруденское кладбище. Пошел...

Первую могилу копал — вся Долгопа ржала. Сказали, чтоб метр девяносто. А у меня ни метра, ничего. А я сам метр девяносто. Лег, примерился и еще с походом взял. А глубина?.. Думал, как лучше, чуть не в полтора роста своих выковырнул — и вылезти не могу. И так и сяк — осклизуюсь, да еще дождь, как назло... пришлось орать. Старуха мимо шла: чего ты, говорит, сынок, залез туда? Я ей: баб-

ка, зарыть меня живьем собрались, помоги, Христа ради, вынь отсюда... Всерьез поняла и в контору побежала. Ну, интересно?

— Пойдет! — Мишка засмеялся. — Ты вот что скажи, Леш: что у вас с Васькой-то вышло? Не зря ж он тебя топором? Брат родной!

— Таких братьев крысомором выводят!.. Я ж его с Томки стянул. Она потом мне, знаешь, чего выдала: работа, говорит, Васькина, а платить восемнадцать лет ты будешь... Вот тебе и брат родной...

А с Валькой это я недавно, полтора года без малого. На ноябрьские познакомились.

Валька-то у меня сразу залетела. Я думаю: пускай, курва, рожает. Мне уж тридцать, ну, тогда чуток меньше, все равно к тридцати... Она так-то хозяйственная: пожрать что-то приготовить или прибраться путем. Пьет только. Да тут моя вина... Она до меня мало пила, так только, красненькое. А я-то тогда жрал — будь здоров, ребят спроси...

Уж потом, как родила, я ее в больницу клал — от выпивки полечить. Подержали неделю и выписали: почки у нее больные, лечить нельзя. Что теперь делать — черт его знает... При мне не пьет, а чуть меня нет, нажирается... Волохал ее за это, как мужика. Да бабе разве докажешь? У ней тело жидкое. Тусуешь, а толку хрен...

Да, Миш, вот еще что... Рану мне постриги чуток. Вальку боюсь просить: у нее руки трясутся. — Воробей сел поудобнее. — Подсыхает, а? Гной перестанет — пластину вставлю, хоть подрасться разок. А то замлел.

Мишка принес маникюрные кривые ножницы и аккуратно стал обстригать Воробью кожаную, без кости, вмятину над ухом.

— Три раза он тебя?

— Ага. Сюда два раза и сюда. — Воробей с готовностью показал битые места. — Утром просыпаюсь — мокро, кровятина везде, по морде текет. Потом сосед зашел, «скорую» вызвал. Часов шесть с чердаком дырявым лежал, вся кровь спустилась... Тихо ты! — Воробей дернулся. —

Ладно, хорош! Слышь, Гарика, говорят, тоже крепко уделали?

— Крепко. — Мишка прижег рубец зеленкой.

Воробей сидел задумчивый.

— Оборзел Гарик... Вконец. А Борька, значит, не сунулся... Правильно — под горячую руку тоже башку проломили бы... А ведь корешил с Гариком... А Стаська где был?

— Выходной взял.

— Гм, может, специально и взял. — Воробей усмехнулся. — Слышь, Миш, хочешь, я тебе фотку свою подарю? — Воробей полез в «портмонет» и достал небольшую карточку. — Дай ножницы!

Мишка достал ножницы.

— Сейчас мы его рубанем! — на карточке Воробей и Гарик стояли возле красивого памятника. — Та-а-ак, кыш! — Воробей отстриг Гарика. — Давай надпишу... Чего писать-то? — Он пососал пластмассовую ручку. — А!.. Мишке от Лехи Воробья. Нормально? Что у нас сегодня? Тридцатое? — Он взглянул на часы с календарем. — Уже тридцать первое. Суд сегодня.

— А ты не волнуйся, не посадят.

— Так а я и не психую. Сидим с тобой... Музыку бы еще. Только не эту, не дрыгаловку.

— Сейчас заведем.

Мишка принес маленький магнитофон, поставил на холодильник, включил...

Магнитофон густым басом негромко пел под гитару: «Гори, гори, моя звезда...» Воробей пододвинул ухо ближе.

— Из старых кто-нибудь?

— Нет, товарищ мой школьный...

— Хочешь, мы его в церковь определим? Чего смеешься? Я с Батей поговорю, с Женькой, регентом. Свои ж все... Подучится малость и пошел в религию петь! Все лучше, чем в службе геморрою насиживать... Давай приводи его. Бабок насшибает! Гори, гори-и-и...

— Кто это тут поет? — подергивая тронутый тиком головой, в кухню вплыла Мишкина бабушка, толстая уютная

старуха. — А-а, у нас гости... Ну, здравствуйте... Как звать-величать?

— Воро... Леша. — Воробей осторожно, чтобы не сделать больно, помял пухлые старухины пальцы.

— Алексей, значит. А по отчеству?

Воробей чуть напрягся, вспоминая.

— Сергеевич.

— Очень приятно, будем знакомы. Елизавета Михайловна... Ну, давайте чай пить... вы вместе с Мишей на стройке работаете?

— Ага, — кивнул Воробей и поднялся с табуретки. — Домой пора.

— Ну, если пора... Заходите к нам, милости просим... — старушка улыбалась и подергивала головой.

Мишка проводил Воробья до лифта.

— Погоди. Забыл!

Он метнулся назад, в квартиру.

— Вот за отпук, твои. — И виновато добавил: — Заказов мало было.

Подъехал лифт.

9

«...На основании изложенного обвиняется: Воробьев Алексей Сергеевич, 20 июня 1948 г.р., ур. гор. Москвы, русский, б/п, гр-н СССР, образов. 7 классов, инвалид II группы, работающий бригадиром в бюро пох. обслуживания, прож.: Москва, Алтуфьевское шоссе, 18, кв. 161, не судимый, в том, что он причинил умышленное телесное повреждение, не опасное для жизни, но вызвавшее длительное расстройство здоровья.

Он же совершил злостное хулиганство, т.е. умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок и выражающие явное неуважение к обществу, отличающиеся по своему содержанию особой дерзостью и связанные с сопротивлением гражданам, пресекающим хулиганские действия.

Так, 5 августа 1975 года в первом часу ночи, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в квартире 161, дом 18 по Алтуфьевскому шоссе гор. Москвы учинил скандал со своей фактической женой Ивановой В.И., выражался в ее адрес нецензурными словами, повалил ее на диван и подверг избиению кулаками по лицу, голове и другим частям тела, причинив ей побои. На требование своего соседа по квартире Лукьянова Валерия Петровича прекратить хулиганские действия Воробьев А.С. оказал ему физическое сопротивление и подверг его избиению, причинив ему тяжкие телесные повреждения, требующие длительного лечения (более 4 недель), в виде закрытого перелома челюсти справа, т.е. совершил преступление, предусмотренное ст. 109, ч. 1 УК РСФСР...»

Воробей глядел в пол и грыз до мяса съеденный ноготь. Слышал он только в самом начале, когда судья говорил впустую: чего можно на суде, чего нельзя, права, обязанность, короче – то-сё. Потом уши заложило, как залило, и над бровью, в проеме стало с шумом бить. Все звуки в зале увязли в этом шуме.

Воробей посмотрел на Вальку – та спокойно слушала.

Сейчас он боялся только одного. Не машущего руками немого прокурора, не приговора, а только припадка – как тогда, в больнице, после стакана красного.

Тогда, в больнице, он испугался себя самого, себя, умирающего без воздуха, без боли, в неуправляемых корчах.

Горло перехватило после второго или третьего глотка, но неожиданности не было – врачи предупреждали о спазмах. Потом вот, когда начало крочить и гнуть, вот тут он понял, что все.

Об этом врачи не предупреждали.

Его заморозили прямо в койке, не везя в операционную, и проткнули горло, задев ушной нерв.

Потом он сравнивал этот припадок с тем тухлым заражением.

...Позапрошлой весной он копал на пятнадцатом участке и, стоя внизу, в грязи, саданул, не глядя, в заплывший

прибывающей жижей подбой. Из гроба чуть брызнуло, и вонь, рванувшаяся из щели, выпихнула его из ямы.

Копал, как любил, без верхонок — брызги чиркнули по пальцам по его всегда разодранным в кровь заусеницам.

Потом он болел. Врагу не пожелал бы такого. Болело все: глаза, руки, волосы, туловище, нутро, — болело беспрерывно, тяжело, тупо, каменно.

Ребята говорили, заражение тухлым ядом. Врача не звал: боялся, подтвердит. Водка стояла в графине, как вода, все время.

Воробей оторвал ноготь ото рта, вытер мокрую ладонь о колено.

— Чего там? — прохрипел он Вальке.

— Ничего, ничего, дело читают.

— Заявление от ребят отдала адвокату?

— Тише.

— «...В связи с тем, что Воробьев А.С. злоупотреблял спиртными напитками, в связи с чем состоял на учете в ПНД № 5, и после совершения преступления имел тяжелую черепно-мозговую травму, по вопросу которой длительное время находился на излечении в больнице, и врачебной комиссией был признан инвалидом II группы, ему была проведена амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза, по заключению которой он как душевнобольной был признан вменяемым в инкриминируемом ему деянии...»

— Встань. — Валька толкнула Воробья в бок. — Не грызи.

Да, достал-таки Воробья суд. Адвокат сказал, что хоть и не признали его психом, все равно заключение экспертизы повлияет и смягчит приговор. Все-таки инвалид, группа вторая. И к сивухе год не прикасался — с того припадка, как горло проткнули. И это зачтут, сказал. И в характеристике Петрович специально написал — не подсобный рабочий, а бригадир Воробьев.

Мишка, правда, советовал еще в ноябре, когда познакомились, полежать в дурдоме. На всякий случай.

Отказался тогда: от монеты в дурдом не очень-то потянет...

Суд удалился на совещание.

— Чего там? Отпустят?

— Аркадий Ефимович! — Валька рванулась к адвокату-кому столику. — Чего они решат?

— Я думаю, года полтора-два условно...

Валька повернулась спиной к адвокату, лицом к Воробью.

— Полтора условно! — крикнула она и добавила тихо: — Не слышит...

Она подошла к первому ряду, села рядом и отчетливо, громко повторила в ухо Воробью:

— Полтора — условно!..

— В ухо не ори, — отдернулся Воробей, — болит. Не посадят, значит?

Суд возвратился на свое место. Председатель зачитывал приговор. Все стояли. Воробей смотрел в пол перед собой. Припадок то подкатывал к нему, то пропадал.

Дерг, дерг — Валька дергала его за рукав. Показала два растопыренных пальца — средний и указательный.

— Условно...

— Два?

— Полтора! Условно! — радостно шепнула она и вскрикнула: — Лешка! Ты что?! Лешка!..

Воробей закатил глаза и еле заметно затрясся.

У Воробья началось.

10

— Спишь все... Монету так проспишь, — добродушно прохрипел Воробей, входя в сарай. — Пожрать хочешь? На котлетку. Выпить желаешь? За то, что не посадили. Много не пей, у нас сегодня дел под кадык. Не пора еще за оградой?

— Сейчас пойдем. Как голова?

— Нормально... психанул на суде чуток, бывает. Валька говорит: еще лежи. А чего лежать-то без толку? Закрывай бутылку, поплыли.

— Опять он пришел. — Мишка мотнул головой.

У сарая, опираясь на палочку, стоял старик. Остатки седых волос трепал ветер. Стоял он с трудом — отдыхивался. Кожаное стародавнее пальто его было заношено до серых шершавых плешей. В руке старик держал перевязанную шпагатом картонную коробку из-под ботинок.

Воробей сразу просек: не клиент.

— Чего надо? — буркнул он.

— Стульчик бы мне, молодой человек.

— Громче говорите.

— Стул дайте, пожалуйста. Погода тяжелая, давит.

— Дома сидеть надо, — проворчал Воробей. — Дай тубаретку, Михаил... ну, чего у вас? Только громче и по-быстрому...

Старик сел, коробку положил себе на колени.

— Позавчера в два часа ночи у меня умер кот. Треф. Было ему от роду восемнадцать лет. И все восемнадцать мы прожили с ним вдвоем. Так получилось — с детства котов люблю. Всю жизнь надо мной смеялись. Ну, да Бог с ними. Может быть, и действительно смешно: ни семьи, ни детей никогда не имел. Работа да кошки. У меня, бывало, по пятнадцать жили. Вероятно, смешно. Да... Я тоже много над чем смеялся за свои восемьдесят лет. И, думаю, не всегда был прав... И просьба моя может показаться вам странной. Прошу вас, отнеситесь к ней насколько возможно внимательно. Я хочу похоронить Трефа. Знаю, не положено, но поймите меня... Больше у меня никаких просьб... Вообще... Ни к кому... Кот здесь. — Он положил руку на коробку.

Воробей с лязгом захлопнул дверь сарая.

— Долго думал, дед?

Старик, казалось, не слышал его.

— Моя могила, то есть моей матери, недалеко отсюда. Вот удостоверение. Я вас отблагодарю...

— В материну могилу кота?! Ну, ты, дед, даешь!

...Ограды ставить нельзя. Только взамен старой и если она зарегистрирована. А люди желают отделить

свою смерть от чужой. Им виднее. Дело хозяйское. За деньги чего не сделать. И склеп на три персоны из кирпича под землей выкладывают, и ограду клеткой, чтоб с неба кто не залетел на чужую территорию, и под гроб в могилу подставки ложут — от сырости. Чудят кто как может.

— А дураков бы не было — мы бы лапу сосали, — разглагольствовал Воробей. — Эта, к примеру, которой сегодня ставить будем. Стоит у ней нормальная ограда, не ржавая, крепкая, чего еще? Так нет, сделай ей, как у Гольцманов, с золотыми шарами. И двести колов дуре не жалко!.. И этот, с котом, сейчас десятку дал. Грех, конечно, с такого чирик дергать — копнул пару раз. А если засечет кто? Выходит, нормально: за страх чирик, за риск.

За разговором они дошли до пролома, куда Витька, сварщик из мастерской по соседству, уже доставил ограду.

Воробей осмотрел работу, ничего не сказал. Значит, понравилась. Долго отсчитывал Витьке деньги, так долго, что тот даже стал за что-то оправдываться. Воробей не останавливал Витьку: пусть наперед чувствует вину, авансом. Потом мрачно, без слов сунул деньги. Витьке ничего не оставалось, как выдать «спасибо». У Воробья эта процедура называлась «сбивать понт».

Быстро поставили новую ограду. Ножки забутили, раствором пролили. И — быстрее красить. А старую ограду обновить — за сотню уйдет как милая.

Молчок сегодня просил помочь захоранивать, значит, надо до двенадцати закончить. На сегодня он отпустил часовню погулять, выходит, и завтра за них хоронить втроем: Молчку, Воробью и Мишке. Часовня похмеляться будет.

— Бесхоз толкнуть — самое то, — наставлял Воробей Мишку, он всегда наставлял его, когда красили, работа спокойная. — Вот где бабки живые... У тебя, предположим, здесь родственники похоронены. Пятнадцать лет санитар-

ных не прошло, а у тебя вчера новый покойник умер. Родственник близкий. Куда ты его денешь? Здесь хочешь. А здесь не выйдет — сроку мало прошло, а новые ямы копать нельзя — кладбище закрытое.

Ты к Петровичу: то-сё. Он тебя пошлет для начала. А покойник-то тухнет... А если еще и лето вприбавок?..

Ты опять к нему. Он покрутит, повертит: а вдруг ты из треста или из обахаэса? Ну, а потом заломит, ясное дело... и никуда не денешься, дашь как миленький. Договорились по-хорошему — он тебе бесхозик подберет поближе к твоей могилке...

Воробей посмотрел на часы и опустил кисть в ведро.

— Потом докрасим, первый час, хоронить пора.

— Леш, а что с покойником потом делается, в земле?

— Как чего? Лежит себе, следующего ждет.

— А что с ним происходит, с покойником? С телом?

— Лежит себе... Сперва надувается, если не зима и не промерзнет, потом лопается. Через год-полтора, по-разному, от тела зависит и от земли. Суслинок если, так быстро его пучит: земля воду держит, как все равно в кастрюле. Если песок — еще полежит. Брюхо лопнет — он течь начинает... Несколько лет текёт. Вытекает все — сохнет. Быстро сохнет. В землю превращается. Одна кость остается. Лет за восемь целиком сделается. Все чисто. В землю ушел...

— А зачем тогда пятнадцать лет ждать?

— На всякий случай, мало ли что.. бывает, вода почвенная стоит — так он парится, а в землю не идет. Не видел никогда? Увидишь. На той неделе перезахоронка будет. Не обделаешься со страху-то?

— Не знаю.

— Перезахоронка, считай, самая муть. Вонь забирается — хоть мылом нос полощи, не отобьешься! И стоит, падла, до пяти ден. Раз положили — пусть лежал бы себе, чего его ворошить. При царе-то точняк руки б поотрывали за такие штучки. Гниет себе человек тихо-благогородно... В рай едет или еще куда. Так ведь нет — выковыривают! Другое

дело, когда по медицинскому или судебному надо в него посмотреть...

Слышь, Михаил! Я тебе свой бесхоз не показывал? Покажу. Когда в больнице был, Петрович мне у заборчика отвел местечко... по закону, в трест ездил специально договариваться. Разрешили. А когда я вышел — смеется: вот, Воробей, твой бесхоз, не толкни по дурусти, бездомным будешь.

Ты, Миш, тоже запомни: ложить меня только туда. А чего смотришь? Дырка-то у меня все ж без кости, и гной не перестает. Смех-то смехом...

На центральной аллее показалась знакомая фигура. Воробей прищурился:

— Кутя, что ль? Ку-уть!

Кутя молча побрел на зов.

— Куда пилишь, могильщик хренов? — добродушно спросил Воробей. — Ты когда портки заменишь?

— Домой пойду, — невпопад ответил Кутя.

— Громче говори.

— Домой пойду! — крикнул Кутя. — Петрович отчислил.

За прогулы.

— Куда домой? Где он? — заорал Воробей.

Петрович сидел в кабинете.

— Ты что, шакал, над дедом мудруешь?! — просипел Воробей. — Ему до пенсии полгода, он сам отвалит! Неямется! Руки чешутся?.. Могу почесать!

Петрович побледнел: в конторе никого, а Воробей полноценный. Отоварит, потом поди разбирайся.

Воробья трясло.

— Не обижай деда, Петрович...

— Воду пей! — завизжал заведующий, подталкивая к нему графин.

Воробей послушно припал к графину.

— Не обижай...

— Защитничек...

Петрович встал из-за стола.

— Много вас... что ты здесь разорался?.. Прибежал-прилетел!.. Все вы за чужой счет добренькие. А сам, если что?.. Знаю я вас!..

— Спасибо, Петрович, — пробормотал Воробей. — Ему полгода, он сам отвалит...

— Пошел вон. Иди работай, — буркнул Петрович.

— Вы чего наглеее? Полчаса гроб стынет. Оборзели вконец!

Молчок понес на них правильно.

Раскрытый гроб, окруженный немногочисленными родственниками, забыто прижался к чужой массивной ограде. Появление Воробья с Мишкой разбудило притерпевшихся к своему горю родных: кто-то вскрикнул, потом громче...

— Попрощались? — спросил Молчок у пожилой толстухи с заплаканным лицом, по-хозяйски стоящей в изголовье. — Крышку давай! — скомандовал он Мишке.

— Цветы из гроба уберите, покрывалом прикройте.

Молчок с Мишкой накрыли гроб крышкой, состыковали края. Молчок вынул из-за голенища сапога молоток с укороченной для удобства рукояткой и — тук-тук-тук, гвозди изо рта — приколотил крышку.

— Сейчас мы подыдем, а вы тележку из-под гроба на себя примете, — руководил Молчок. — Заходи, Воробей, Мишка, веди его.

Веди — значит, бери Воробья, обхватившего тяжелое изголовье гроба, за бока и, пяясь сам, направляй его, тоже идущего задом, между мешающими оградами, по буграм и вмятинам, чтоб, не дай бог, не оступился. Ничем больше помочь нельзя: слишком узка дорога.

Так, не торопясь — быстрят только кошки да блошки, — дошли до свежевырытой ямы, поставили гроб на осевший под его тяжестью рыхлый холм; веревки Молчок заранее разложил поперек могилы.

— С ломом давай, — буркнул Воробей, — неудобно.

— Давай. Ложи.

Мишка положил лом поперек могилы, подергал: не телепается ли? Молчок с Воробьем на веревках, зажатых в кулаках без намотки (упаси Бог наматывать: полетишь за гробом вдогонку), установили гроб на лом. Потоптались, побили сапогами землю для крепости.

Молчок натянул веревки.

— Ну, готов?

Воробью и слух ни к чему, по натягу команды ловит. Натянул свои концы — гроб тяжело завис над могилой. Мишка выдернул лом.

— С Богом! — негромко скомандовал Молчок и, вытравливая веревку, стал заводить гроб.

Воробей травил чуть медленнее, гроб быстро и без цепки лег на дно, ногами уйдя в подбой.

Молчок приподнял свой конец уже лежащего на дне гроба, чтоб Воробей смог вытянуть веревку из-под изголовья, затем быстро выбрал свою.

— По горстке земли киньте, монеты медные, если есть.

Родственники заплакали и, оскальзываясь, потянулись к могиле, завозились в карманах, вылавливая мелочь.

Воробей закурил. Мишка через локоть сматывал веревки в скрутку.

— Не мелко, сынок? — спросила старуха.

— Как положено, мамаша, по норме.

— Ну-ну, хорошо, милый, закапывайте.

Закапывать — своя наука. Первое: нельзя, чтоб штык на штык шел — руку секануть можно. Да и ноги товарища в земле не заметишь — в кость засадишь. Второе: все в свое место кидают. Один подбой швыром заваливает, другой как веслом грёб под себя делает, третий — свою землю с чужих холмов и с дорожки к могиле скучивает.

— Цветы давайте. Корзины давайте... Венки потом. Гладиолусы сюда давайте!

Молчок взял тугой букет гладиолусов, положил на землю и, прижав сапогом, отхватил концы сантиметров на двадцать, чуть не до цветов.

— Зачем это? — ахнула бабка.

— А чтоб у них ноги не выросли... Пьянь с могил цветы собирает да на базар. А куцые кому они нужны?.. Глядишь, и полежат. На девятый придете — приятно, спасибо скажете.

— Хорошо, хорошо, сынок. А я-то, дура старая, чего, думаю, он цветы портит...

— Теперь венки давайте.

Венки Молчок составил шалашиком над холмом. Осмотрел все по хозяйски, отошел в сторону.

Толстуха пододвинулась к Мишке, стоявшему к ней ближе всех, сунула свернутые трубочкой деньги...

— Бригадиру, мамаша. Ему вот... — Мишка указал на невозмутимого Молчка.

Женщина подошла к Молчку...

Следующим был военный. Вояк хоронить не любили: трескотни много, а толку чуть — не раскошеливаются. И при жизни халява сплошняком: одежда бесплатно, харч, — и здесь то же самое... Их не родственники, их армия хоронит. Заправляет тут всем распорядитель — с повязкой и тоже военный. Родственники и плачут по команде и прощаются. И не дай им бог смять порядок, черед нарушить, — который с повязкой рычит на них, как некормленный.

Сегодня хоронили капитана. Он и по армии капитан и капитан команды. Хоккеист из ЦСКА.

Молчок его фамилию помнил по тем временам. Смотрел его на «Динамо». Не Майоров, конечно, но тоже играл. И жена у него молодая.

Впереди фотографию понесли, в уголке черной лентой перехваченную. Потом — на красных подушечках — медали, немного, правда, капитан-то молодой был. Крышку с приколоченной сверху через козырек фуражкой.

Потом капитана товарищи понесли. Жену его под руки вели, родственники, еще народ, в основном военные, оркестр сзади из солдатиков. Здешних не берут — платить надо. А солдатикам — им чего не играть?..

Процессия тихо текла на девятый участок. У женщин получалось медленно, а мужики — видно было — притормаживали себя, и скорбный шаг у них смешно выходил.

На девятом участке метрах в десяти от могилы давно уже перетаптывались автоматчики из комендатуры — стрелять холостыми. После гимна.

— Воробей! — крикнул Молчок, когда все разошлись.

Мишка остановился.

Воробей, раздраженно прищурясь, как всегда, когда недослышивал, рявкнул:

— Чего встал?

— Тебя зовут.

— Чего там? — крикнул Воробей Молчку и обернулся к Мишке: — Иди докрашивай, я сейчас.

Воробья не было долго.

Мишка докрасил ограду, сбегал в сарай за шарами — забить в стойки, когда показался Воробей.

Воробей шел медленно, палец во рту — драл ноготь.

— Тебя сейчас урыть? — прохрипел он, входя в ограду. — Или завтра? Когда ребята сойдутся?

Мишка шагнул назад, опрокинул ведро с краской.

— Смотри под ноги, сука! — заорал Воробей. — Ты с кем у декабристов ля-ля разводил?!

— Мужик...

Мишка хотел объясниться подробнее, но горло перехватило, вместо слов выдавливался какой-то сиплый звук. Он бессмысленно топтался в пролитой краске, перед ним Воробей, сзади ограда.

— Мужик, говоришь? — Глаза Воробья шарили по земле.

Мишка увидел на земле кувалду — осаживать ограду. «Все», — пронеслось в голове. Вцепился в липкую от краски решетку.

Воробей шагнул вбок, нагнулся... Мишка скачком вылетел за ограду и в сапогах, не подъемных от налипшей на краску грязи, понесся к церкви, к выходу...

— Хоздвор, часовня! В контору! Всех собрать! Через пять минут кого нет — уволю.

Петрович носился по кладбищу, собирая попрятавшийся по сараям штат. Кинутый на плечи, как бурка, плащ не поспевал за его ногами, косо свистел сзади. Но уволить он уже никого не мог. Припух Петрович.

Вышло вот что.

Месяц назад в кабинет заведующего зашел солидный, южного типа мужчина со свидетельством о смерти брата. Он просил захоронить брата в родственную могилу и выложил перед Петровичем заявление, заполненное по всей форме. Удостоверения на могилу у него не было. Стали искать по регистрационной книге, тоже пусто. Однако южанин уговорил Петровича «своими глазами посмотреть могилу». Петрович согласился.

Южанин привел его к декабристам и ткнул пальцем в стертый холмик: «Суда хочу!» Петрович удивленно посмотрел на мужчину: в своем ли уме?

Южанин оказался вполне.

Они вернулись в контору и заперлись в кабинете. Петрович согласился «в порядке исключения» и велел Воробью быть в семь ноль-ноль. Без опоздания.

Воробей не подвел. До прокуратуры вскопал бесхоз, могила получилась лучше новой. Захоронили, как положено, по-южному: до глубокой темноты над кладбищем носились стоны, рыдали гортанные незнакомые инструменты, бил длинный, узкий, не похожий на обыкновенный барабан...

Все бы ничего, да бесхоз этот четыре года назад — в юбилей декабристов — управление культуры наметило к сносу. А на его месте ступеньки гранитные к памятникам проложить как часть мемориала. Петрович тогда еще здесь не работал, а работал другой, которого посадили. И о решении насчет мемориала Петрович понятия не имел.

Петрович бросился уламывать верха. Уломал: дело кончилось увольнением «без права работы в системе похоронного обслуживания». Без суда.

Заслушивать сообщение замуправляющего треста он и созывал свой бывший штат.

— Тебя что — не касается? — Петрович рванул дверь сарая. — В контору живо!

— Чего орешь? — Воробей сидел в глубине сарая, не зажигая света. — Разорался...

— Иди, Леш... Носенко приехал.

— Ладно, приду.

Воробей ждал Мишку. Понимал, что тот больше не придет, а все-таки ждал.

Было уже десять. Он прикрыл дверь сарая, подождет контора, успеется. Закурил. Посидел минут двадцать.

За дверью послышались шаги.

«Пришел». Воробей дернулся открыть дверь, но осадил себя.

Дверь распахнулась. На пороге стоял запыхавшийся Кутя.

— Ты чего не идешь? Петрович за тобой послал.

— Пошел он!.. Скажи: голова болит.

— Ну, смотри, Леш. Болит — не ходи, не война... А, Леш? Башка? Ну, сиди, сиди! Я побег.

— Погодь, Кутя. — Воробей тяжело поднялся с табуретки. — Вместе пойдем.

Штат расселся кто где: на подоконниках, на стульях. Финн затиснулся в уголке на пол.

— Контору на ключ! Никого не пускать!

Носенко, замуправляющего, перебирал взглядом притихшую бригаду.

— С ним ясно. — Он мотнул головой в сторону Петровича. — А вот с вами? Кто бесхоз долбал?!

— Какой бесхоз? — невинно всунулся Охापыч в надежде обернуть разговор в болтовню.

— Молчать! Думаете, я с выговором, а вы спокойно жрать будете? На кошлах моих, — Носенко постучал себя

по плечам, — проедете? Хрен в сумку! Кто бесхоз расковырял?! Ну?! Заявления сюда! — не оборачиваясь, рывкнул он поникшему сзади Петровичу. — Не понял? Те, по собственному. Ну!

Петрович нырнул в кабинет.

— Минуту даю. Не скажете, половину уволю!

Он засек время. В стекло билась муха, других звуков не было...

— Так, минута... — Носенко надел очки и, не оборачиваясь, протянул руку назад, к Петровичу. — Первое давай сверху.

Тот протянул листок с неровным обрывом.

— Охапов, — прочел Носенко и поставил на заявлении сегодняшнее число. — Та-а-ак, уволен.

— Чего я! — взвился Оханыч. — Бесхоз не мой...

— Молчать! Следующее. Новиков...

— Меня-то за что? — задергался на полу Финн. — За Гарика таскали, теперь за бесхоз чужой отдувайся. Я жаловаться буду...

— Кому, финнам? — Оханыч глядел на него с брезгливой тоской. — Тихо будь. Сопли жуй!

— Раевский.

Носенко взял следующее заявление.

— Ну, суки, узнаю, кто бесхоз сломал!..

Раевский отомкнул замок и вышел, хлопнув дверью.

Носенко взял следующее заявление. Воробей следил за его губами.

— Вели-ка-нов. — Носенко разбирал Кутину фамилию.

Кутя беспомощно тыркнулся в угол на табуретке, открыл рот, но ничего не сказал.

Воробей шагнул вперед.

— Это... Он ветеран.

— Тебя забыть спросили! — рывкнул Носенко. — Это еще что за чмо?

— Тут у нас один... — промямлил Петрович. — Куда лезешь? — обернулся он к Воробью. — Заступник! Сидишь — сиди, пока не спрашивают.

— Я бесхоз копал, — сказал Воробей.

Носенко подошел к окну, молча взглянул на него, достал ручку.

— Заявление!

— Он в больнице был, не писал...

— Сейчас пусть пишет!

Воробей встал, молча посмотрел на Петровича.

— В кабинете бумага, Леш, — тихо глядя в пол, сказал тот.

Воробей принес листок бумаги.

— Ручки нет...

— На! — Носенко протянул ему свою.

— Чего писать?

— Неграмотный? Диктуй ему! — приказал он Петровичу.

Петрович в ухо Воробью начал диктовать.

— Не с пятнадцатого, а с сегодняшнего дня! — перебил его Носенко.

Кутя, Воробей и Валька сидели за столом. Одна «старка» стояла пустая. Воробейпил «Буратино».

— Леш, а ты-то полез куда? Ведь вторая группа... — ковыряя вилкой в тарелке, тихо проговорил Кутя.

— Не тронь его, — заволновалась Валька. — Он и так, погоди, не в себе. Леш, как голова?

— А-а, — отмахнулся Воробей.

— Тебе, может, «скорую» позвать? — вскинулся Кутя.

— Ладно, Куть... Ты это... ты вот что... Ты сарай себе бери, заказы какие недоделанные, напишу — доделаешь. За работу возьмешь сам знаешь сколько, остальное привезешь. Под полом три доски гранитные, габро, для памятников. Нарубить, золотом выложить — по полтыщи уйдут не глядя. А Пасхи дождешь — и дорожке. Бабки — пополам. Ясно?

— Само собой...

Воробей взял «Старку», открыл, налил по стакану Куте и Вальке.

— Ни то ни се... — Он покрутил бутылку. — На троих надо.

— Ты что?! Ты не удумай! — Забеспокоился Кутя. — Бога побойся. Сироту оставишь?!.. Лешка, не обзоруй!

— Не ной, — оборвал его Воробей. — Авось не подохну. Чокнем.

— Воробе-е-ей! — заверещал Кутя.

Валька вцепилась в бутылку.

У Воробья стали закатываться глаза. Кожаная вмятина над бровью задышала в такт пульсу. Воробей поймал Вальку за руку.

— А-а! — приседая от боли, заорала Валька и отпустила бутылку.

Воробей, промахиваясь, лил «Старку» в стакан. Желтое пятно расползлось по скатерти. Валька скулила где-то внизу, у ножки стола. Кутя вытаращил глаза, не двигался. Воробей поднес стакан ко рту.

СТРОЙБАТ

О СТРОЙБАТЕ И «СТРОЙБАТЕ»

Сначала не повезло — попал в стройбат. Служба невеселая: холодно, голодно, далеко, страшно...

Через двадцать лет повезло: «Стройбат» был высочайше запрещен всеми существующими видами цензуры. И лично маршалом министром обороны Дмитрием Тимофеевичем Язовым, назвавшим мою повесть — «Нож в спину Советской Армии». По сей день благодарен ему за рекламу. За рубежом такое паблисити нужно долго зарабатывать. Здесь же вышло на халяву.

В конечном счете «Стройбат» напечатали, перевели, Лев Додин сделал по нему спектакль «Гаудеамус», который объездил полмира.

Сквозь цензуру «Стройбат» пробирался туго, но зато смешно.

СТРОЙБАТ И ЦЕНзуРА

*Цензура исходит из того, что болезнь
есть нормальное состояние,
и нормальное состояние, свобода,
есть болезнь.*

К.Маркс.

Дебаты о свободе печати.

Демобилизовались. Отдохнули. Мой товарищ, москвич, в день свадьбы пошел помыть руки, а вместо того перерезал себе вены и стал калекой.

Я срочно поехал в Ленинград отыскать оставшихся однополчан. Не отыскал: трое сидели, один рехнулся. Такой расклад произвел на меня, красиво говоря, неизгладимое впечатление, и я засел за «Стройбат».

Написал и отнес в «Новый мир». Повесть скоренько поставили в десятый номер 1988 года. Я удивился и даже слегка обиделся легкости, с которой решился вопрос о публикации. А впрочем, чего обижаться: на дворе свобода, блин, перестройка, благодать! Живи — не хочу!

Сверстанный номер журнала Главлит не завизировал. А без визы Главлита типография не имеет права напечатать даже спичечную этикетку, не говоря уж о конфетном фантике.

Журнал решил: недоразумение. Ну, ладно, запретили «Архипелаг ГУЛАГ». Все понятно: автор — враг, предатель, изменщик и клеветник, и от его нобелевской речи тоже проку мало. «Черно-

быльскую тетрадь» Григория Медведева забодали тоже из лучших побуждений: как бы панику от разлетевшейся по белу свету радиации на читателя не нагнать. Все правильно. Как по нотам. Но «Стройбат»-то чем не угодил? Выдуманная история двадцатилетней давности: зачуханный строительный батальон, солдаты и автомата в глаза не видали. Боевое оружие — кайло да лопата. Ну, еще и мастерок, конечно.

Ан, нет... не все так просто.

Главлит, а полным чином — Главное управление по охране государственных тайн в печати при Совете Министров СССР, — вернул верстку «Стройбата», строго предупредив, что без визы военной цензуры рассматривать повесть не будет. Чтоб, значит, не тревожили понапрасну.

— Очень хорошо, — потирая руки, успокоил меня заместитель главного редактора Феодосий Константинович Видрашку. — Сейчас быстренько отошлем в военную цензуру, и все будет в порядке. Поставим в двенадцатый номер.

— Не надо в военную цензуру! — завопил я, бухаясь на колени. — Христом Богом прошу, не надо!..

Главный редактор — кстати, единственный беспартийный среди «толстых» главных — поморщился:

— Тихо... Пусть читают, раз нейдет...

— Вот именно, — подъелдыкнул зам и повернулся ко мне. — Вы на машине, вот и свезите. Кропоткинская, девятнадцать.

— Поезжайте, — кивнул главный редактор.

Собственными руками я засунул верстку «Стройбата» в узкую, нестрашную щель деревянного почтового ящика с надписью поперек от руки: «Для материалов». Ящик охранял прыщавый солдатик со штыком. В его взгляде была усмешка: «Куда снешь, козел?»

И началось.

Генеральный штаб
Вооруженных Сил СССР,
Главная Военная цензура,
15 сентября 1988 года, № 382/145.
103160, Москва, К-160.
Главному редактору Залыгину С.П.

Копия: начальнику Главного управления по охране государственных тайн в печати при Совете Министров СССР тов. Болдыреву В.А.

В повести С.Каледина «Стройбат» показано исключительно низкое политико-моральное состояние личного состава воинской части Советской Армии.

Такая же оценка ее содержанию дана и в заключении Главного политического управления СА и ВМФ.

В связи с тем, что упомянутые сведения подпадают под существующие цензурные ограничения, по нашему мнению, повесть опубликована быть не может.

ВРИО главного военного цензора
Генерального штаба полковник *Сысоев*.

— Ну, что ж теперь поделаешь? — печально развел руками зам, кисло улыбнувшись. — Только и остается: садитесь и передельвайте ваш стройбат в дисбат. Тогда они еще разок взглянут.

— Дисбат?! Это же военная тюрьма! Я там не был.

— Ну тогда прям не знаю... А чего вы так расстраиваетесь?! Вы еще такой молодой...

И опять нехорошо улыбнулся.

Ладно, думаю, не буду расстраиваться. Я еще такой молодой. Но и дела не брошу. Уж больно бесславно получается: придавили, и потекло. Раз ввязался, порезвлюсь.

Звоню в военную цензуру.

— Автор запрещенной повести «Стройбат» беспокоит. Хотелось бы поговорить с руководством.

— А чего говорить, все сказано. Мы письмо направили главному редактору.

— Дело в том, что у меня тут... предынфарктное состояние. А также мысль о самоубийстве...

На том конце телефона замешкались, донесся раздраженный голос: «Траванется, чего доброго, нам отвечать...» и:

— Соединяю с главным военным цензором генерал-майором Филимоновым Сергеем Алексеевичем.

Я икнул, перекашлял голос, настроил память на запоминание.

— Генерал Филимонов слушает.

Я: Здравствуйте, Сергей Алексеевич. Это Каледин, прозаик. Хотел бы получить кое-какие дополнения к заключению полковника Сысоева относительно моей повести.

Филимонов: А какие вы хотите разъяснения?

Я: Ну, чтобы вы поподробнее объяснили, что считается низким политико-моральным состоянием личного состава воинской части.

Филлимонов: Если с нашей стороны, то я могу сказать, что является то, что вы за целую часть даете политико-моральное состояние. У вас там большинство оказалось почему-то в этой части собраний все подсудимые... Мы же должны на факты опираться... а такого не должно... Мы ведь и к строителям обращались. У вас там всё в обобщенном виде, такая картина представляется, она ставит под сомнение...

Я (прерывая): Сергей Алексеевич, а ведь под сомнение поставил не только я, но и недавнее решение политбюро...

Филлимонов (прерывая): Не будем так, не будем так... нас никто не уполномочил, и вы, наверное, не владеете за всех. По нашему перечню, если речь идет о частном случае, если там один, ну два человека, можно показать. Когда же мы начинаем на факте двух-трех человек делать обобщение... Нет, художественная сторона у вас там есть, присутствует, и вы это выливаете, хотя они и строительные.

Я: Главный редактор журнала предоставил цензуре и Главному политуправлению полный карт-бланш...

Филлимонов: Кого?

Я: Предложил дать рецензию, отзыв, комментарий — что угодно в том же номере, где и повесть...

Филлимонов: Мы с вами ни к чему не придем...

Я: Значит, вы считаете, что мы с вами не найдем общего языка?

Филлимонов: Почему? Общий язык я имею и сейчас.

Я: Давайте договоримся о встрече, а?

Филлимонов: Давайте, хотя и ни к чему.

Канцелярская папка с надписью «Склока» (история «Стройбата») начала распухать. В конце октября 1988 года я во второй раз подошел к старинному особняку на Кропоткинской. Главная военная цензура. Дежурный, сличив меня с паспортом, вызвал лейтенанта. Тот повел тайными ходами и у очередной двери сдал полковнику. Полковник, оправив мундир, постучался в нужный кабинет, вошел и, кивнув в мою сторону, мрачно сказал встающему из-за стола генералу: «Вот». И отошел к стене.

— Добрый день, Сергей Евгеньевич, — радушно сказал старый седой генерал. — Как самочувствие? Присаживайтесь.

— Насчет разъяснений, — виновато напомнил я, занимая назначенное генеральским пальцем кресло. — А здоровье никуда, все плачу по ночам.

– Пилюльки, может, какие, – посочувствовал генерал.

Первое время наш разговор пробуксовывал, не схватывался, нудно повторяя телефонный. Тем не менее я что-то молод, апеллируя к Политбюро.

– Политбюро не надо трогать, – генерал вдруг резко изменил рыхлый ход разговора... – Есть перечень.

Он достал из сейфа красную книжечку и, полистывая ее, приговаривал:

– Во-первых, вы писатель... Не может быть, что вы не в курсе. Есть перечень сведений... Главлит им руководствуется...

– Дозвольте взглянуть.

– Да у вас же у самих, наверно, есть?

Я театрально развел руками.

– Откуда? Ничего у нас нет. Голяк.

При этом я блудливо выкручивал шею, стараясь заглянуть в лежащую перед генералом книжечку. Генерал же локтем загораживал текст.

– Вы прям как второгодник, Сергей Евгеньевич, – по-отечески пожурил он, – списать хотите...

– В точку попали, товарищ генерал; я и есть второгодник, в девятом классе выгнали на...

Генерал расцвел.

– То-то я и думаю: писатель, а такие слова...

Я закивал.

– Все правильно, Сергей Алексеевич, все правильно... взглянуть бы, а? По-свойски, по-военному: вы – генерал, я – рядовой.

– Так ведь секретно, – вяловато отбивался цензор. Но чувствовалось, что показать хочется.

– Какие там секреты, Бог мой! – порол я ахинею, зацепившись за краешек заветной брошюры. – Вы мне покажете, я ребятам своим перескажу, друзьям, товарищам по перу: Маркову Георгию Мокеевичу, Проскурину Петру Лукичу, Бондареву... расскажу им, чего нам можно, чего нет.

– Знакомы с ними? – уважительно удивился генерал.

– А то. Домами дружим, в баньку ходим, бабы наши фасоны обсуждают...

И генерал поддался. Он повернул ко мне текст, ладонями прикрыв при этом номера параграфов сверху и снизу, для прочтения оставался лишь узкий просвет.

– Еще чуть-чуть, – игриво упрасивал я цензора. – Ка-апельку. Только параграф.

С таким же энтузиазмом я в свое время склонял к любви особ противоположного пола. В данном же случае мы скорее напоминали голубую пару.

Но генерал был крут:

— Параграф не надо! — рявкнул, сведя на нет мои домогательства. — Чего могу — даю. И — будет!

В щели между чисто вымытыми генеральскими ладонями значилось следующее:

Перечень сведений в Вооруженных Силах СССР, запрещенных к открытому опубликованию.

СЕКРЕТНО № 2651

«Утверждаю»

21 июля 1988

С. Ахромеев

Упоминание о низком политико-моральном состоянии личного состава Вооруженных Сил СССР, в том числе о негативных отношениях между военнослужащими...

Сведения о неудовлетворительном состоянии воинской дисциплины (общая оценка, характер, взыскания, количество...) в центральных и окружных открытых видах информации...

— Мы уж и так и сяк пытались... — генерал вздохнул, — все равно политико-моральное вылазывает... Вы, Сергей Евгеньевич, думаете, что в стройбате собраны...

— Я не думаю, я служил в этом стройбате, товарищ генерал. Нас в шестьдесят девятом согнали из всех стройбатов страны, сволоочь, неудобную по разным причинам, и гнали на исправление в Билютуй, в Забайкалье. Знаете, там урановые разработки. Там солдаты на полгода меньше служат, зато потом приплод не дают, себе подобных не размножают. Половое атрофируется.

Генерал покачал головой, заловив меня на явной лжи.

— Но вы-то дали, Сергей Евгеньевич, приплод имею в виду.

— Так меня не довели до урана. В Ангарске тормознули.

Генерал оживился.

— Частный случай, частный случай. Нельзя исключительный случай накладывать на все вооруженные силы. У вас там драка, рота на роту...

— Да я сам в ней участвовал.

— Все равно: частный случай. Два-три человека, группа даже — пожалуйста. А часть целая — не на-адо. Это неправильно будет. В редакции же все знают. Заместитель главного редактора знает. Перечень утвержден маршалом Ахромеевым.

— Какой маршал у нас, однако, интересный! Одной рукой цензуру утверждает, а другой Рейгана уверяет, что у нас свобода слова. Нехорошо получается.

Наш разговор пошел по второму кругу. У генерала начался обед. В кабинет робко протискивались подчиненные, безмолвно напоминая шефу о своевременном приеме пищи, но генерал разговаривался.

— Я даже, честно говоря, удивился, как это журнал берет такую повесть. Еще еврей там у вас... Политическое у вас там. Национализмом пахнет... солдаты женщин в казарме сношают... Неэтично.

— А вы читали «Один день Ивана Денисовича»? — перебил я генерала.

Полковники, прилипшие к стене, синхронно дернулись, укоризненно взглянув на меня как на пукнувшего не ко времени недоросля. Но генерал не смутился, лишь трясанул погонами.

— Да. Знаю такой роман... Вам страницы предоставлены, а вы и рады...

Я встал.

— Всего хорошего, товарищ генерал.

Цензор проводил меня до дверей и, передавая застоявшемуся полковнику, по-отечески попросил не рассказывать никому о нашем разговоре.

Но я ему испортил весь уют.

— Дорогой Сергей Алексеевич! Даю честное слово, что, как только выйду из военной цензуры, тут же постараюсь рассказать о нашей встрече как можно большему числу людей. Не взыщите.

В приемной Главного политического управления повсюду висели плакаты: указательный палец мрачного воина грозил посетителю: «Помни о военной тайне». Я зашел в кабинку местного телефона. Телефон молчал. Я затравленно стал шарить глазами в поисках инструкции и нашел ее: «Закрой плотно дверь!» Притянул плотнее дверь — телефон загудел.

Заместитель начальника отдела культуры полковник Волошин отыскался тут же. Я зашел с обкатанного козыря: я в инфаркте и начинаю самоубиваться прям здесь, в телефонной будке.

– Подождите!

Красивый, моего возраста полковник Волошин легкой по-
бежкой спустился со ступенек. В руке он держал листки бумаги.

– Может, «скорую», Сергей Евгеньевич?

– Не надо «скорую», скажите лучше, печатать будете?

Полковник мужественно повел красивой головой.

– Нет! Не будем. Плохая повесть, Сергей Евгеньевич.
Очень плохая. – Он потряс зажатými в руке листочками. – Это
заключение ПУРа.

– Дайте, – попросил я худым голосом.

Полковник, совершая должностной грех, побоялся отказать
умирающему, разжал пальцы.

...С.Каледин собрал все отрицательные факты, всю грубость, всю жестокость и бессмысленность, которые рассыпаны по всем стройбатам страны... В наши дни, столь горячие обострением межнациональных отношений, напечатать повесть «Стройбат» в журнале с громадным тиражом – это значит сыграть на руку врагам перестройки, националистам...

Повесть печатать не нужно. Однако руководство журнала, ссылаясь на демократию и гласность, может опубликовать ее. После чего хорошо бы организовать несколько оперативных рецензий. Лучше бы о ней в печати промолчать, но это маловероятно...

О.А.Финько, член союза писателей СССР

И тут я понял, что, кажется, «Стройбат» напечатают. Слишком уж много дураков, запрещающих его.

Главный редактор был недоволен моим поведением.

– Прекратите самодеятельность!.. Я пятьдесят лет в литературе, а не встречал, чтобы автор так беспардонно себя вел! Прекратите ходить по инстанциям!

Заместитель приоткрыл дверь кабинета и в щель протянул две газеты.

– Что, что такое?! – воскликнул редактор, принимая прессу. – «Московские новости», «Комсомольская правда»!.. Рекламу себе делаете?! Ажиотаж нагнетаете?! Что вы намерены еще делать?

Я тяжело вздохнул.

– Послать телеграмму в Совет Министров с жалобой на Главлит.

– Не смейте! – взвизгнул зам.

Главный, не попрощавшись, ушел к себе в кабинет.

Вечером я приводил в порядок документацию по «Стройбату» и планировал очередные демарши. Пришел сосед. Поинтересовался, слушаю ли я сейчас «Свободу».

Я включил транзистор. «Свобода» голосом Юлиана Панича читала «Стройбат».

— Оля! — заорал я жене на кухню. — Сухари суши!

Но прошел день, два... «Стройбат» дочитали, повторили, а меня еще не забрали. Все-таки другие времена.

В почтовом ящике я обнаружил простенький конверт, в уголке — рыбка «Петушок», каких я разводил в детстве в аквариуме. В таких почтовых скромных конвертиках бабушка Липа присылала мне в стройбат потертые рублевочки из своей пенсии. В данном же случае «Петушок» в своем клювике принес письмо Филимонова. Не генерала, не начальника военной цензуры, — просто скромное письмецо, подписанное внизу аккуратно и мелко: «Филимонов». Без даты и исходящего номера. Удивительное совпадение с покойной бабушкой: она тоже подписывала письма без даты и географии, по-домашнему: «Бабушка Липа». Правда, в ее письмах всегда была денежка.

«Во время нашей беседы, Сергей Евгеньевич, я объяснил Вам, почему есть возражения против публикации повести «Стройбат». Но коль вы все-таки прислали в наш адрес письмо по этому поводу, то, видимо, хотите и от нас иметь непременно «бумагу»...»

«Ишь ты, как его повело! — подумал я. — Запросто мог не писать, а ведь написал!»

«...Стройбат в повести — это ежедневные пьянки личного состава, устойчивое человеконенавистничество, высокомерное отношение к туркменам, узбекам, молдаванам... Все они именуется не иначе, как: «чурки», «хохлы», «евреи»...»

А тем временем...

А тем временем в журнал прибывали делегации. И какие гости пожаловали!.. И без охраны!.. Заместитель начальника ПУРа генерал-полковник Стефановский, таинственный генерал с голубыми погонами летчика.

Генералы полдня охмуряли главного редактора. Ссылались они не только на свое ведомство, главной репоной они назвали «верха» — союзного идеолога Вадима Медведева, только через труп которого «Стройбат» может выбраться к читателю.

Еще не развеялся генеральский дух, в гости пожаловал начальник управления художественной литературы Главлита Солодин.

Я, естественно, на беседу приглашен не был и решил сам наведаться к Солодину в Главное управление по охране государственных тайн в печати при Совмине СССР.

Солодин был на месте, велел впустить.

Я поставил на стул возле его стола портфель, вынул из него разжиревшую за полгода хлопот папку с подновленной надписью «Склока». Папка была в три пальца толщиной. Полтора пальца было нажито естественным путем, а нижние полтора — незадействованная чистая бумага. Для солидности. Портфель я оставил раскрытым и в его нутре щелкнул зажигалкой.

Солодин заерзал, нахмурился, потянулся к темному нутру портфеля.

— Что вы так забеспокоились, Владимир Алексеевич, там магнитофона нет, одни бумажонки... — трепался я, обкладывая цензора документацией.

Солодин закурил.

— А знаете, как вас называют на Западе?.. Певцом советского дна.

— Поди-ка!.. И все-то вы знаете!

— Всё-ё мы про вас знаем, — загадочно улыбнулся Солодин. — Как-нибудь со временем я покажу вам много интересного. Жена-то — редактор небось?

— Старший. По прозе. Мы и поженились с умыслом: я пишу, она издает в «Советском писателе». Семейный подряд. Там директор был очень хороший дяденька, Еременко звали, он как узнал, что мы поженились, книжку мою из плана выгнал. Такой бдительный. Сейчас-то, слава Богу, все ничего. Вот скоро «Стройбат» выйдет — пивка прикупим, креветочек...

— Не прикупите, Сергей Евгеньевич. Не выйдет «Стройбат». Вещь-то мерзопакостная. Вы же ненавидите и страну нашу, и армию...

Солодин говорил тихим вкрадчивым голосом.

— Значит, не нравится вам мое творчество, Владимир Алексеевич. Печально. Вкус у вас плохой. А вот супругам Горбачевым, не считите за похвальбу, по душе...

Солодин поперхнулся дымом.

— Они читали? — незаинтересованно спросил он.

— Ну уж Раиса-то Максимовна точно читала, она же профессор, она быстро читает, хоп — и готово. Да и Михаил Сергеевич тоже, думаю, зачел. Повестушка-то с гулькин, извиняюсь, хрен. Зато с адюльтером. Наркотой. Дракой. Драка, кстати, по документам проходит. Документы тоже у Горбачева.

По сюжету надо было спешить. Я засуетился.

— Куда же вы, Сергей Евгеньевич? — сказал Солодин. — Посидим, потолкуем.

— Перестройка, ёж твою медь! — Заорал я опять-таки по своему сценарию. — Альтернатива!.. Всего хорошего! Бегу!.. Горбачеву обещал позвонить. Раисе Максимовне...

Через два дня цезура позвонила в журнал и сообщила, что получено разрешение на публикацию «Стройбата».

А Горбачеву я повесть передал. Читал он или нет, не знаю, врать не буду.

...Эмблема наша — кирка с лопатой:

Дороги строим сами.

Солдат не только

человек с автоматом,

Надо — рабочим станет!

К.Карамычев

(из «Боевого листка» 4-й роты)

1

— Бабай!.. Кил мында!..

Бабай дернул башкой, оторвал ее, заспанную, от тумбочки, вскочил, чуть не сбив со стены огнетушитель, и ломанулся не в ту сторону.

— Баба-ай!.. — Голос Женьки Богданова догнал его в чужой половине казармы.

Дневальный пробуксовал на месте, сменил направление и помчался обратно.

— Опаздываешь, — недовольно пробурчал командир второго отделения, забираясь к нему на спину, — поехали!

Бабай привычным маршрутом вез Женьку на opravку. Если бы у Женьки под рукой были сапоги, Бабай спал бы себе и дальше. Но дембельские хромачи Богданова были намертво придавлены к полу вставленными в голенища ножками койки, а на койке спит Коля Белошицкий, и будить его Женька не хотел. А чужими сапогами он брезгует.

— Тпру-у! — Женька затормозил Бабая у тумбочки дневального, перегнулся, как басмач с коня, прихватил с табуретки бушлат, накинул

на плечи и выехал на Бабае в холодную мартовскую восточносибирскую ночь.

У освещенных ворот КПП стоял «газик». Значит, подполковник Быков уже в расположении части, значит, скоро шесть, подъем и ночному отдыху конец.

Так и есть, Быков топтался у штабного барака, сбивая следы мочи с прилегающего к штабу сугроба.

Женька резво соскочил с Бабая.

Бабай побежал обратно в роту, а Женька, обжигаясь босыми ногами о шершавую подмороженную бетонку, свернул за казарму. Возле развороченного туалета в ослепительном свете пятисотваттной лампы колупался с лопатой в руках его приятель Константин Карамычев. Костя нагружал тачку отдолбленным дерьмом.

— Но пасаран! — Женька вскинул кулак к плечу. — Бог помощь!

— Ножкам не холодно? — отозвался Костя.

— Самое то. — Женька пританцовывал на снегу татуированными возле пальцев ступнями: на правой — «они устали», на левой — «им надо отдохнуть». — Когда Танюшку навестим? — поинтересовался он, заканчивая оправку. — Годы идут, а юность вянет.

— Обстучишься. У тебя Люсенька есть.

— Люсенька?! — возмутился Женька. — Люсенька — боевая подруга. А Танюшка — барышня... И завязывай ты наконец с дерьмом! — Женька брезгливо поморщился. — Где эти-то? Фиша-а! Нуцо!.. Ком цу мир!

Женька завертел красивой головой, похожей на голову артиста Тихонова. Только у Тихонова шея нормальная, а у Женьки кривая — скривили, когда щипцами тащили его из пятнадцатилетней матери. За шею и в стройбат попал.

Из ямы за спиной Кости показались две взлохмаченные головы, обе черные. Одна — красивая, но грустная — принадлежала закарпатскому еврею Фишелю Ицковичу, глаза подслеповатые, — оттого и стройбат, а вторая, с золотыми зубами, — цыгану Нуцо Владу. Золотые зубы изго-

товлены были из бронзовой детали водомера ротным умельцем Колей Белошицким. Сходство бронзы с золотом спасло Нуцо от гнева родителей, приехавших по каким-то своим цыганским делам в Восточную Сибирь и заглянувших в армию к сыну: мамаша в настоящих золотых зубах, бусах и разноцветных юбках, отец — толстый, коротенький, в черном костюме и шляпе. Деньги, которые они прислали сыну на золотые зубы, якобы запросто вставляемые в Гюроде, сын пропил сразу, и если б не Коля Белошицкий...

— Чего? — весело дернул башкой Нуцо. У него на все случаи было только одно выражение лица — бесшабашное, ни к какому другому выражению физиономия его не была приспособлена. — Чего орешь?

Фиша смотрел на Женьку строго и недовольно: зачем отрывает от работы?

— Проверка слуха! — Женька зевнул во всю пасть, как лев, и побежал к роте, оборачиваясь на ходу: — Готовь Танюшку, Констанц! Я сегодня кровь пойду сдавать, бабки будут! Фирма веников не вяжет, фирма делает гробы!..

— Гроба, — пробурчал Костя, принимаясь за прерванную работу. — В час к общаге подъезжай!

Он поправил ударение в «гробах» на уральский лад, потому как с Женькой Богдановым, Богданом, познакомился в прошлом году в эшелоне — их, погань, вывозили из стройбатов Уральского округа.

Потом, уже по приезде в Гюрод, оказалось, что от скверны освобождался не только Урал, по многим стройбатам страны прокатилась очистительная волна.

Везли их исправляться в Забайкалье, куда-то на границу с Китаем или Монголией. По слухам, житье там было будь здоров: летом плюс пятьдесят, зимой минус пятьдесят, питьевая вода по норме, песок в морду и радиация все половое атрофирует. Это — слухи, а что шоферня стройбатовская там по пятьсот-шестьсот рэ в месяц заколачивает — факт. А полтыщи казна за так платить не будет.

Короче, ехали в ад, а попали в рай. В Город, в Четвертый поселок. От центра Города до ворот КПП двадцать минут ленивой дребезжащей трамвайной езды. Вот ворота, а справа, метров двести, — танцверанда; вот ворота, а слева, метров двадцать, — магазин. А в магазине — рассыпуха молдавская, семнадцать градусов, два двадцать литр. С десяти утра. Малинник! Дай Бог здоровья отцам командирам, тормознувшим их по какой-то неведомой оплошке здесь, а не за Читой.

Воинская служба рядового Константина Карамычева заканчивалась. Последние восемь месяцев Костя пахал на хлебокомбинате грузчиком. Ясное дело, не просыхал: маслица сливочного заныкать, сахарной пудры — бабам в поселке почему-то очень нужна, — изюмчика килограмм-другой, и пожалуйста: ханка в любом количестве, жри — не хочу.

Но месяц назад Костя, вконец оборзев, понес куда не надо лоток кренделей глазированных, а так как у Кости со зрением напряженка да и загазованный уже был, прямо на стражу и нарвался. Стража сообщила в часть.

Командир роты капитан Дошинин предложил Косте на выбор: или он дело заводит, или Костя срочно, до активного потепления, чистит все четыре отрядных сортира. Капитан Дошинин объяснил все это прямо, по-мужски, не случайно он был похож на артиста Жженова (у Кости с детства была привычка искать у всех сходство с артистами кино). Тьлько Георгий Жженов при Сталине, по слухам, сам сидел, а капитан Дошинин, на него очень похожий, сажал других. Тем более сейчас, когда их военно-строительный отряд в результате вышестоящего недомыслия стал официальной перевалочной базой в дисбат или лагерь. Костя впал в тоску: ладно был бы салабон, по первому году, не грех и в дерьме поковыряться, но ведь дед, дембель на носу, да и товарищи по оружию что скажут? «За падлю» скажут, ничего другого не скажут.

Костя поделился сомнением с Богданом.

Женька пожал плечищами:

— Тебе-то что? Чеси грудь и ковыряй дерьмо! А вякнет кто... Никто не вякнет.

Костя перевел дух и сказал Дощину: согласен.

В помощники Косте Женька выделил Фишу и Нуцо Влада.

Фиша — человек старательный и не брезгливый, потому что из деревни. Сам он до армии плотничал, отец его был чуть не конюхом, и вообще Фиша рассказывал, что там, в Карпатах, полно их, деревенских евреев.

В армии Фиша как скаженный вцепился в учебники, в поселковой вечерней школе за год окончил два последних класса, аттестат у него уже был на руках, а он все долбит и долбит уроки, как ворона мерзлый хрен. Питая к Фише особую симпатию за прилежность, подполковник Быков выписал ему маршрутный лист в местный филиал областного политехнического института на подготовительные курсы, куда Фиша и выбывал два раза в неделю на зависть всему стройбату.

Фиша трудился на комбинате, вязал арматуру, в роте проку от него было мало, чуть отвернись — учебник из-за пазухи тянет, вот Богдан и сбыл его Косте в помощники. И Нуцо Влада сбыл, тоже проку мало — цыган. Впрочем, Нуцо уверял, что он не совсем цыган, а частично молдаванин. Вернее, в основном молдаванин, а частично цыган. Не поймешь, короче.

А начальник штаба майор Лысодор, чтоб подбодрить золотарей, от себя пообещал Косте и Фише досрочный дембель, как закончат, а первогодку Нуцо — отпуск на десять дней.

Таким образом, у Женьки в отделении за вычетом троих — Кости, Фиши и Нуцо — остались пять пахарей. Миша Попов из Ферганы — грузчик на мясозаводе. Одессит Коля Белошицкий, Эдик Штайц, немец из Алма-Аты, доски режет на пилораме. Как он еще себя не распилил, непонятно. Про Эдика говорят, что он в конопле и родился, в анаше то есть, вестибулярный аппарат не работает. Команда «направо», а его налево несет; «кругом» — на пол-

оборота больше заворачивает. А так парень ничего, спокойный такой, блондинистый. Проще говоря, никакой. Ну, и пахарь никакой, сообразно. Какая там пилорама! За таблетками на край света готов пешком бежать. За эти побегки Дощинин на него тоже дознание крутит. На малой скорости, больше для остротки, но крутит.

И двое молодых у Женьки в отделении: Егорка и Максимка, Егорка и Максимка — это по местному времени, а по паспорту: Рзаев Мамед Гасан-оглы и Шота Иванович Шалошвили. На ЖБИ работают, раствор бетонный льют.

Вот и все Женькино отделение. Второе отделение первого взвода четвертой роты N-ского военно-строительного отряда. А Женька Богданов — ефрейтор.

Сперва Женька решил Егорку с Максимкой Косте подарить, да потом одумался — всего-то пахарей у него эти двое. Он их нарочно в свое отделение взял, пока другие не разобрали. Егорка кроме основной работы Женьку с Мишей Поповым обслуживает: койку заправить, пайку принести из столовой, постирать по мелочи; а Максимка — Колю, Эдика и Старого.

Да, еще Старый у Женьки в отделении — шестеро их, значит. О Старом как-то все забывают — не видно, не слышно всю дорогу. Работает Старый на автобазе слесарем, в канаве все время торчит, а в роту приедет — в уголке сидит, курит. Ни выпить, ни в самоволку. Бойтся, что Дощинин снова в дисбат упрячет. Старый действительно очень старый. Призвали его за неделю до дня рождения — двадцать семь должно было стукнуть. Только-только из зоны вылез. За убийство. И главное, почти весь срок отсидел, а уж к концу разобрались, что не убивал он, а защищался. То есть убил, но при необходимой обороне. Дали десятку, выпустили на два года раньше. А тут хоп — и в стройбат! Не отдохнув толком от сиделовки, Старый завел было жизнь на вольный манер и скоро убыл в дисбат на максимальных два года. Какой он был раньше, неизвестно — сажали его не в этой части, — но сейчас ходил тихий, весь лысый почти, морщинистый, руки в окостене-

лых мозолях. Про дисбат — ни слова. Спит даже с открытыми глазами. Влезет на койку, подгребет под себя подушку и лежит, вперед смотрит, а на самом деле спит. А тут еще как-то по обкурке повело Старого на подвиги, и срезал он с какой-то пьяной руки «Победу» вшивую. Женька отнял его у ребят изметеленного почти до основания. Главное, вором-то сроду не был. Сам на себя удивлялся: чего это ему вдруг взбрело — часы срезать? Тем более свои есть. «Командирские», светящиеся.

Егорку Женька обратал сразу, тот почти и не рыпался. Пару раз ему кровь пустил слегка, чучмеки почему-то крови своей боятся. А с Шотой, тьфу, с Максимкой, повозился подольше — грузин в соседнюю роту бегал за земляками. Те сразу явились, а как увидели, что Шота Иванович их на Богдана настропаяет, от себя еще Шоте бабаху подвесили. Если бы Шота больше был похож на грузина, они б его в обиду не дали. А он ни то ни се: белокрысый, шершавый, грязный. А так-то грузины — не больно их обрабаешь! С усами все. Им на усы специальное разрешение от министра обороны. Чистюли: только и знают мыться да бриться. Бреются, правда, насухую: хруст стоит и на глазах слезы. Воды-то горячей где взять? Негде.

Костя катил перед собой пустую тачку. Тачка скрипела на весь поселок. С губы доносились песни.

Сам Костя на здешней губе не бывал, Бог миловал. Зато остальные из роты почти все побывали. Костя даже зажмурился от мысли, что может оказаться на этой губе, не очень даже и заметной: если б не вышка, не проволока — домик и домик. Да, домик... почки отобьют для смеха — и будь здоров, жуй пилюли. Вон у Нуцо до сих пор моча розовая. И смеется, дурак, не понимает, что, может, калека на всю жизнь. Может, еще рак разовьется. Фиша его чуть не насильно таблетками кормит. Жалеет, хоть сам на губе и не был.

Да ладно только б лупили губари, а то совсем оборзели — «расстрел» организовали. К стенке поставят и да-

вай... Нуцо как раз под этот знаменитый «расстрел» и попал. Вырубился, конечно. С непривычки.

Костя как-то намекнул цыгану, чтобы, мол, написал в Москву, в Министерство обороны. Или в прокуратуру. А Нуцо только ржет, как всегда. Костя и сам бы написал, да боится, найдут по почерку. Написал уже один раз, вот Чупахин его сюда и сплавил. Нет управы на губарей, законной — нет.

А без закона — можно найти.

Их ведь, губарей, тайком дембеляют, ночью в основном и заранее, до приказа. Ну а в штабе дивизии тоже свои есть. Писаря. Сейчас там, например, Дима Мильман. Это он осенью предупредил, когда губарям по домам разбежаться. И пожалуйста: одного с поезда скинули, другого отловили, и поехал он не домой, а в больницу в полуженском обличье: пол ему размолотили. Потом, говорят, и отрезали. А ведь честно предупреждали: что ж ты, козел, творишь! Земляков своих и то... Одно го пацана метелил, соседа, на электрогитарах вместе играли раньше, до армии, в клубе. Из одной деревни оба.

...Губарь помахал Косте. Костя тоже помахал неопределенно, хоть и не разобрал кому.

Внутри, во дворе губы, маршировали с утра пораньше арестанты, расхристанные, без ремней. Конвойный с автоматом погнал за ворота двоих с термосами на палке.

— Привет, — кивнул Костя. — К нам? За рубоном?

— Ну, — буркнул губарь.

Костя поежился. Сколько раз давал себе зарок не контачить с суками, а вот не получалось...

Трамвай, с визгом и скрежетом разворачивавшийся на конечном круге, заслонил процессию и приглушил позорный скрип Костиной тачки. И даже вонь от тачки вроде стала поменьше.

По ту сторону ворот москвич Валерка Бурмистров — хозяин КПП — тягал двухпудовую гиру.

Валерка пожал руку конвоира и заметил Костю:

— Здорово, земля!

Костя затормозил тачку метрах в десяти от КПП, чтоб не так воняло, пошел к воротам. Дерьмо, подтаявшее от разгоряченных ходьбой сапог, пятнало снег темными следами. Костя остановился в нескольких шагах от Бурмистрова, переживая свой запах, несильный — с глубины уже брали, перебродило, — но фекал есть фекал, никуда не денешься. Потыкал сапогами в грязный осевший сугроб.

— Привет.

— Слышь, зёма, — с натугой сказал Валерка, выжимая гирию. — Вас это... лупить намеряются... Ха-ха... Лечить будут... под дембель.

Костя кисло улыбнулся.

— Чего ты лыбишься? — засмеялся Валерка, не прекращая тягать гирию. — В натуре. Чинить хотят.

— Кто? — сорвавшимся голосом выдавил Костя, вспоминая почему-то губу.

Валерка оставил гирию в покое, вытер пот с жирного бабьего подбородка, пожал плечами:

— Как кто? Блатные. Вторая рота.

— Кого — вас?

— Как кого?.. Всех. Вашу роту. Живете больно красиво. А может, и не будут. Меня не щекотит... Слышь, земля, у вас в роте тоже колотун? Не топят, что ли? Кочегару пойти рожу настучать?..

Валерка молчал что-то про кочегара-салабона, про завтрашнее партсобрание, на котором его должны были переводить из кандидатов... Костя уже не слушал. На одеревеневших ногах дошел он до своей тачки и тупо покатил ее сквозь ворота по бетонке.

На плацу шел утренний развод. Приближалась зарплата, и Быков орал, как делал это каждый раз перед деньгами, чтоб не нажирались, а если и нажрут, чтоб не бросали друг друга. А если уж бросят пьяного, то чтоб наживот переворачивали, чтоб блевотиной не захлебнулся...

Костя не стал слушать известные уже слова, он катил тачку к последнему недоработанному туалету. А может, ничего? Мало ли что Валерка треплет! Идиот жирный!..

Нуцо выкидывал на поверхность уже не вонючую чернь, а обыкновенный восточносибирский грунт второй категории, то есть песок, лишь кое-где в нем предательски чернели вкрапления прошлогоднего перегноя. Фиша выбирал из раскиданных вокруг обрезных досок, какие поровнее, — для пола.

Костя подвез тачку ближе к яме и стал загружать.

— Молодой! — хохотнул снизу Нуцо. — Скажи что-нибудь.

— Молчи, салага, — пошутил Костя. — До обеда побуду, потом отвалою.

— Куда? Уши резать?

— Паши давай!..

— Костя, — укоризненно сказал Фиша, — надо больше работать, а ты все куда-то убегаешь. Надо уборную доделать. Мы же в воскресенье домой уезжать хотим. Давай хоть пол начнем, потом отвалишь.

Насчет ушей Костя действительно ездил в область, в косметическую поликлинику. Со школы не давали ему пока эти уши, торчали, заразы, под прямым углом в стороны. Окончил десятилетку, волосы отрастил — вроде ничего, а в армии опять проблема.

В поликлинике сказали, что уши исправить можно, но надо полежать три дня в больнице, а потом еще каждый день ездить на перевязку. Короче, уши Костя решил оставить до Москвы.

Из динамика грянул марш. Стройбат, отпущенный с развода, разбрехался с плаца по рабочим точкам.

Вторую роту — осенний призыв, набранный целиком из лагерей, — увозили в грузовиках на комбинат. Блатные работали пока на земле. Приживутся, оборзуют, тоже найдут непыльную работенку. Стройбату без разницы, где воин пашет, лишь бы доход в часть волок. Вон двое из первой роты на трамвай сели — инженерами на комбинате работают.

Марш окончился, стало тихо и пусто. Теперь Коля Белошицкий запустит битлов. Потом пойдет «Роллинг стонз». Эту кассету Костя знал наизусть — позавчера взял ее с переписки у парней в городской студии звукозаписи. Сделали, как-никак коллеги: Костя в Москве на улице Горького звукооператором работал.

Мать мечтала, чтоб он стал музыкантом. Отчаявшись отыскать у сына абсолютный слух, купила скрипку и часами заставляла его пикивать на ней под присмотром пожилой музыкальной маразматички с первого этажа. Костя пикивал, пикивал и допикикался: от долгого стояния стала слетать коленная чашечка. Тогда мать разнесла по дому, что Костя переиграл ногу, как пианисты переигрывают руку. Наконец музыкальная маразматичка умерла, но поскольку мысль о Костиной музыкальности по-прежнему не давала матери покоя, она определила его после школы в студию звукозаписи. А чашечка коленная через год определила Костю в стройбат.

Повспоминал Костя родной дом и в который раз с тоской убедился, что не тянет его домой. А куда тянет, и сам не знал. Никуда. Если только на студию. Веселая жизнь! Попивай потихоньку да клиентов пощипывай. А вечерами что делать?..

Фиша положил первую доску и приживил ее гвоздями.

— А ты иди покушай, — прервал Костины раздумья Нуцо. — Селедки принеси. С черняшкой!

Жрать хотелось страшно: завтракали в пять утра, а сейчас одиннадцать. Но пошел Костя не в столовую, а в баню — в загаженном состоянии есть он бы не смог. А Фишке и Нуцо хоть бы что. Сзади к столовой подойдут, пожрут в биндейке на скорую руку и опять вкалывать.

Костя еще и потому шел в баню, что твердо решил не пахать больше сегодня. Сегодня они с Женькой поедут в третий микрорайон, в общежитие четвертого НПЗ, навещать Таню-вонючую. Вообще-то никакая она не вонючая, просто моется хозяйственным мылом, а Косте это простое мыло... Ну, не переносит. А так она баба красивая.

— Открой! — Костя уверенно постучал пальцем в окошко обувной мастерской, помещавшейся в одном полубараке с баней.

Сапожник, он же зав. баней, открыл дверь, впустил Костю и снова закрыл: мало ли кто еще припрется.

Костя мылся, как стал золотарем, каждый день. По личному распоряжению Лысодора. Невелика радость, а все-таки. Фишка с Нуцо под это дело — под вонь — в свинарник спать переместились. Свины-то свины, зато покая больше.

Костя помылся, установил на подоконнике карманное зеркальце, внимательно поглядел на себя, приподнялся на цыпочках — посмотреть, каков он в нижней части. Ничего. Поджарый, длинноногий, ни тебе шерсти особой, ни прыщей... Нормальный ход. Еще бы уши...

Он уже заканчивал бритье, когда вдруг сообразил, что дембельское его пэша с лавсаном и сапоги дембельские, яловые, в каптерке.

Костя с треском отодрал оконную створку, потом вторую, наружную, замазанную белилами, и высунулся в холод: может, кто из своих рядом? Везуха! — возле клуба на перекладине корячился Бабай.

— Бабай! Кил мында! — заорал Костя и свистнул, чтоб тот лучше услышал.

Бабай услышал, свалился с турника, покрутил башкой, соображая, откуда крик, и надал к бане.

Бабай чудом оказался в армии — скрыл, что у него ночное недержание. Взяли в конвойные войска, куда весь Восток берут, но сразу же выкинули, как унюхали. В госпитале Бабай взмолился, чтоб не комиссовали — дома засмеют: не мужик. Так Бабай и оказался в стройбате. Не здесь, в нормальном. А в прошлом году, как очищали стройбаты, вытурили его. В Город, куда всю шваль скучили.

Теперь Бабай целыми ночами сидел возле тумбочки под переходящим знаменем и пустым огнетушителем. На тумбочке под треснувшим стеклом лежала шпаргалка, что

он обязан докладывать при посещении роты офицерами. Днем Бабай немного спал, а остальное время старался накачать силу. На турнике он докручивался до крови из носа и тогда ложился на спину в песок, а сейчас, весной, — на лавку рядом с турником.

— Чего тебе? — с готовностью затарахтел Бабай, грязными ручонками подтягиваясь к высокому подоконнику.

— Принеси из каптерки пэша, сапоги, носки и плавки. В чемодане моем. У Толика спросишь. Повтори. Что такое пэша?

Бабай задумался, но повторил правильно:

— Полушерстяное.

Не успел Бабай умчаться, мимо бани процокала полненькими кривыми ножками Люсенька. Люсенька не скрывала, что пошла работать в армию в поисках жениха. У нее уже был один — из позапрошлого дембеля, и от него даже остался у Люсеньки сынок. Жених уехал в Дагестан, а Люсенька по-прежнему работала в библиотеке. Быков хотел было погнать ее за блуд с личным составом, а потом сжалился. Быков вообще мужик клевый. Всех жалеет. И солдатъе, и вот Люсеньку. И Бабая. А здоровенный — штангу тягает! По воскресеньям его ребята на реке видят с этюдником, рисует чего-то. На войне был, потому и мужик классный. Все офицера, кто воевал, нормальные мужики, незалупистые.

С Люсенькой в настоящее время занимался Женька Богданов, собирался, вернее, обещал жениться. Это было на руку Косте: Люсенька всегда держала для него «Неделю», «За рубежом» и журнал «Радио». Более того, на дембель обещала списать для Кости все журналы «Радио» за последние десять лет.

Бабай обернулся мигом.

— Ничего не забыл? — спросил Костя, принимая амуницию. Строго спросил, но Бабай не только ничего не забыл, но и притащил Костину шапку, меховую, офицерскую — для увольнительных, — и дембельский ненадеванный бушлат.

— Костя, Костя! — залопотал Бабай. — Деньги сегодня дадут, сегодня дадут! Зарплату. Не ходи к бабам, завтра иди к бабам!.. Ты уйдешь — мне деньги отберут старики. Я тебе отдам, ладно? Тебе отдам, ты мне потом тоже отдашь. Ладно, хорошо, ладно?

— Ладно! — кивнул Костя и закрыл окно.

Бабай как постоянный дневальный получал шестьдесят рублей. После вычета харчей, обмундировки и так далее на руки ему выдавалось пятнадцать, еще пятнадцать ложилось на лицевой счет. Год назад Бабай упросил Костю отбирать у него получку — тогда другие старики не будут зариться. Костя согласился. Не за так, конечно, — трючок ему Бабай отстегивал из каждой зарплаты.

Костя довел себя до кондиции. Причесался, максимально напустив волосы на уши, надушился любимыми своими духами «Быть может», польскими, с полынным запахом. Спасибо, мать посылает. Надо, кстати, написать ей, с тоской подумал Костя. Нудит: в институт, в институт... Какой тут институт... Костя достал из нагрудного кармана крохотную щеточку для сапог, завернутую в лоскут бархата, отрезанный от клубной гардины, навел глянец на сапоги, изнутри кулаком оправил меховую шапку с недовытравленным на засаленном донце именем бывшего владельца и легкой журавлиной походкой, благоухая, вышел из бани.

Карманы его дембельской гимнастерки слегка оттопыривались.

В карманах у Кости находились конверты, шариковая ручка, бумага для писем и маленький, но толстенький дневничок в клеенчатой обложке, куда Костя записывал события дней и по обкурке стихи. Были там еще арабская зубная паста «Колинос», которую Костя применял специально для свиданий, упомянутые уже щетка для сапог, духи, а также зубная гэдээровская щетка. Упаси Бог, в роте увидят — тот же Коля Белошицкий занывает, и выявится его щеточка в виде наборного браслета для часов. Коля может даже и сознаться в пьяном виде. Понурит го-

лову, отягощенную большим переломанным носом. «Ну, прости, — скажет и разведет в стороны свои длинные жилистые руки. — Спер. А браслетик по люксу вышел. Хочешь, возьми. Простишь?» Ну кто ж после таких слов не потечет? Потому-то Колю никто в жизни и пальцем не тронул — рука не подымалась. А что нос перебит, так это еще до армии, на зоне, по недоразумению и в темноте.

2

— Слышь, земля! — Валерка Бурмистров орал прямо с крыльца КПП. — Ну, ты, в натуре, вчера хорош был, я те дам!..

Костя остановился перевести дух, вытер рукавом липкий похмельный пот, скривил улыбку:

— Да-а?..

— Будь здоров! — Валерка заржал. — Тебя мой молодой на себе до роты пер... Дрозд!

На крыльцо выскочил здоровенный, стриженный налысо молодой.

— Вот этот, — сказал Валерка.

— Ага. — Костя кивнул, благодаря не молодого, а Валерку, поскольку молодыми распорядился он. — Ничего такого, Валер?.. А?

— Нормальный ход. Тебя Рехт, дружок твой, заловил, хотел на губу. Еле отбил... Москвичей не любит только так!

— Спасибо, Валер... — пробормотал Костя, берясь за тачку.

— Земель! Погоди...

Молодой с интересом наблюдал за ними.

— Кыш! — прошипел Валерка, и молодой исчез. — Вчера обстриг их налысо, обросли, как деды. Тебя как зовут, забываю?

— Константин, — как можно спокойнее ответил Костя.

— Слышь, земля, трояк не займешь? Молодым осетрины прислали с Оби. Я считаю, им вредно. А?

— Вредно, — небрежно, по-дедовски кивнул Костя.

— Короче, трояк займи, рассыпухи берем, и вечерком приходи. Телек позырим. «Братья Карамазовы».

Костя с трудом понимал Валерку. Деньги нужны. Денег нет.

— Денег-то, Валер...

— Ну, здрасте, приехали! — Валерка хлопнул себя руками по ляжкам. — Как бухать — есть, как землю выручить — от винта! Хреновый ты, земля! Я таких в гробу видал!..

Надо бы объяснить, что денег у него с тех пор, как залетел с кренделями глазированными, вообще нет, только Бабаев трояк, который он вчера тоже упустил, потому что деньги у Бабая отобрали другие, пока они с Богданом клялись у Тани-вонючей.

Но как сказать, если язык чуть шевелится, обожженный вчерашним слабо разведенным спиртом? Найдет. Найдет он Валерке трояк. Не ясно где, но найдет. И больше достанет: сколько скажет Валерка, столько он ему и достанет. Потому что даже подумать страшно, как бы он мог служить без земляка на КПП. Вон вчера Валеркин молодой на себе его волок, а ведь всех бухих Валерка сперва сам отоваривает на КПП, а потом сдает на губу.

— Подожди-ка... — Костя потер рукавицей лоб. — Ты здесь будешь?

— А куда я, на хрен, денусь? — обиженно пожал плечами Валерка.

Костя, с трудом соображая, где взять денег, покати тачку прочь. Другие-то старики с Валеркой вообще не здороваются, за падло считают. Им что, Валерка их сам побавляется. У Миши Попова в Городе серьезные друзья по наркоте, с ним все учтивы. У Женьки через комендатуру все зашоколадено. А у него, у Кости?.. Нету у него отмазки! Конечно, когда он с Мишей или с Богданом, никто не залупнется. А когда один?..

«О чем, козел, думаю? — усмехнулся про себя Костя. — Какая отмазка, зачем отмазка?! Послезавтра в Москве гу- деть буду!»

— Слышь, земля! Тогда уж пятерик бери для ровного счета, — по инерции обиженно крикнул Валерка. — Слышь?

— Слышу, — отозвался Костя.

Фиша выпиливал очко. Вернее, пол-очка в одной доске, пол — в другой.

— Фиш, дай трояк до получки, в смысле пятерку, — нахраписто заявил Костя.

Фиша не спешил давать деньги, и Костя понял: атака с ходу не удалась. Сейчас Фиша начнет нудить. Костя сел на доски и полез за сигаретами.

Фиша не нудил. Фиша аккуратно выпиливал полукруг в доске по красной карандашной линии. Перед шмыгающими вверх-вниз зубьями пилы на линии нарастал холмик опилок.

«Сейчас с чирь съедет!..»

Костя, не поднимаясь с досок, изо всей силы дунул на Фишину работу. Фиша дернул головой вверх и стал остервенело тереть запорошенные опилками глаза.

— Извини, — виновато сказал Костя.

Пилил Фиша точно по линии. Он молча взглянул на Костю, как на убогого, ерзнул пилой еще пару раз и, аккуратно придерживая снизу, принял выпавшее полукружье.

— Дай трояк, — сбавил Костя.

— Получка, Костя, была вчера, — сказал Фиша. — У тебя получки вчера не было. И тебя не было. Ты вино пил. С Богданом.

— Ну и что теперь? — устало сказал Костя. — Застрелиться?

— Не пей вина...

— Гертруда, — усмехнулся Костя, — дай денег, чего ты жмешься?

— А ты помнишь, сколько мне должен? — склонив голову на плечо, со справедливой укоризной спросил Фиша. Точно так вот Костю допекала дома мать.

— Много, Фиша, много, — закивал Костя. — Все отдам. Все. Бабки огребем в субботу...

— Я тебе дам еще раз денег, если ты мне пообещаешь, что ты берешь у меня деньги не на вино. Разве ты не понимаешь! — Фиша возвысил свой обычный монотонный голос и соответственно воздел руки к небесам. — Ты можешь стать горчайшим пьяницей! Как все! Как Нуцо!

— Чего? — Из ямы показалась улыбающаяся небритая морда цыгана. — Оставь курнуть!

Костя протянул ему бычок.

— Фишка денег не дает.

Нуцо, обжигая пальцы, досасывал окуроч.

— Дай Косте денег. И мне дай.

— Тебе — таблетку! — отрезал Фиша, и Костя понял, что ему Фиша денег даст.

— А чего вы, собственно, не пашете? — нахмурился Костя. Надо было добавить что-нибудь поосновательнее, и Костя выпалил не совсем свое, но в настоящий момент подходящее: — Приборзели?!

— Лопатой больше не берет, — сказал Нуцо. — Клин нужен. И кувалдометр.

— Что ж вы, гады, сразу не сказали? — Костя даже застонал. Переться теперь в кузницу, клянить клин, кувалду... От одной мысли мозги скручивались. Костя страдальчески поморщился, поднял глаза на Фишу. — Пятерку дашь?

— Дам, — торжественно объявил Фиша. — Иди за клином.

Костя тяжело поднялся с досок.

— Пойдем, — сказал он Нуцо. — Сам все попрешь. Я — дед. Понял?

Когда вернулись с инструментами, Фиша читал книгу.

— На, — строго сказал Костя. Нуцо синхронно его словам скинул с плеча на землю клин на приваренной арматурине и кувалду. — Пашите, гады... Фиш, ну?.. — Костя протянул руку.

— Ты мне поддиктуешь сегодня? — с ударением на последнем слове спросил Фиша, не спеша расстегивая пуговицу на коленном кармане.

Костя молча следил за второй пуговицей, которая оставалась нетронутой.

— Часочек, — уточнил Фиша и протянул Нуцо завернутую в бумажку таблетку.

— Нуцо! — чуть не плача, простонал Костя. — Он смерти моей жаждет. Меня блевать волокет, а он — «подиктуй»!..

— Дай Косте денег, — вступился Нуцо. — Дай!

— Хорошо, — сказал Фиша. — Вот мы позанимаемся, потом я тебе дам денег.

— Слушай меня, Фишель, — сказал Костя, дыша в лицо Ицковичу перегаром, который Богдан называл перегном. — Учти, Ицкович, вас, всю вашу масть, вот именно за это в народе не любят. Вот таким своим... некорректным поведением ты возбуждаешь в нашем народе антисемитизм. Я правильно говорю, Нуцо?

— Точняк, сто процентов, — не поняв ни черта, кивнул Нуцо и на всякий случай хмыкнул.

Фишель Ицкович, огромный, очень красивый, медлительный, еще некоторое время собирался с мыслями. Наконец он тяжело вздохнул и расстегнул вторую пуговицу на кармане. Костя перевел дух, стараясь дышать потише, чтобы не спугнуть Фишино решение.

Фиша достал потертый бабий кошелек и долго выуживал из него пять рублей жеваными бумажками.

— А теперь, Фиша, могу тебе сказать: подиктую. Иди в техкласс, я сейчас приду.

Улыбка расплылась по Фишиному лицу. Он завалил инструмент досками, накинул телогрейку и потопал через плац к стоявшему на отшибе голубому бараку — техклассу.

— Дуй на КПП, — скомандовал Костя Нуцо. — Деньги — Валерке.

Веселый, жизнерадостный Нуцо помчался по бетонке к воротам, унося с собой легкую неотступную вонь.

Костя пошел учить Фишу.

— «...Лев Силыч Чебукевич, нося девственный чин коллежского регистратора... — медленно диктовал Костя, прохаживаясь перед Фишей, втиснутым в переднюю парту, — вовсе не думал сделаться когда-нибудь порядочным человеком...»

Фиша писал, низко опустив голову к тетради. Над курчавыми его волосами шевелился, не уходя, легкий дымок, потому что в зубах у Фиши торчала папироса. С куревом у него были странные отношения. Вообще Фиша считал курение недопустимым, хотя и не в такой степени, как вино и женщин, но во время особо сильных переживаний разрешал себе закурить. Занятия русским языком требовали от него большого напряжения, и смолит он сейчас без перерыва — папироска так и ерзала из одного угла рта в другой. Курил Фиша самые дешевые папиросы «Север».

На стене техкласса висел двигатель внутреннего сгорания с обнаженными разноцветными внутренностями. За окном на плацу, пригретом весенним полуденным солнышком, в подтаявшей лужице дрались воробы. «А ведь дембель-то вот он», — подумал Костя и, сладко потянувшись, открыл рот зевнуть.

— Евре-ей? — вдруг спросил Фиша.

— Чего? — недозевнув, щелкнул зубами Костя.

Фиша строго смотрел на него своими подслеповатыми припухлыми глазами в пушистых ресницах.

— Он евре-е-ей?

— Кто? — Костя наморщился и заглянул в учебник, отыскивая сомнительное место. — Лев Силыч?.. Ты что, Ицкович, спятил? — Костя взглянул на обложку сборника. — И где ты ахиною такую выискиваешь?.. Это ж для филфаков!

Фиша пожал плечами, вытащил окурок изо рта, напустив в него слюны, и кинул в закрытую форточку. Окурок отскочил от стекла и шлепнулся на раскрытую тетрадь, цыкнув на текст желтоватой слюной.

— Очки надо носить. Глаза посадишь.

– Разбил.

– А новые заказать – трешку жалко? Ладно, поехали. «...Во дни получения он хаживал в кухмистерскую, где за полтину медью обедал не только гастрономически, но даже с бешеным восторгом».

– Ты не забыл, что ты должен мне пятьдесят восемь рублей? – не поднимая головы от писанины, тихо напомнил Фиша.

Костя шваркнул сборник диктантов об стол, как разгневанная учительница.

– Еще раз о деньгах – и все!

– Почему ты так волнуешься? Ты не волнуйся. Ты диктуй мне помедленнее. «...Не только гастрономически, но даже с бешеным восторгом».

– «...После такого обеда, – хмуро продолжил Костя, – ему снились суп со свиной...»

– Не так быстро! – взмолился Фиша.

– Ладно, – буркнул Костя. – Проверь ошибки.

Он захлопнул сборник и подошел к окну. Стройбат был пустой. Почерневшие сугробы вокруг плаца даже на вид были шершавыми.

Солнце заваливалось за штабной барак, дело к обеду. А после обеда и покемарить можно, ни одна собака не пристанет. Это тебе не у подполковника Чупахина на Урале. Тот уже с семи утра мучил. Ночь еще, можно сказать, минус сорок – а он их на разводе по часу держал. Наставлял, как нужно трудиться. И уши у шапок опускать не разрешал. Правда, и сам, гад, стоял мерз. Потом оркестр вылазил, и под музыку – на работу. «С места с песней». А до работы три километра.

А ту-ут?.. За полтора года – одна тревога. И ту Лысодор сдуру учудил. Прикатил на своем «Запорожце» ночью: «Тревога!» Ну, побежали. До губы добежали и обратно, а Лысодор уже укатил досыпать. Такая вот армия. Специфическая, как Райкин скажет. А политзанятия?.. Тут у руководства одна политика: не перепились бы в зарплату, не передрались бы, не подошли...

Раз, проходя мимо, Костя услышал, как старшина их роты Мороз да Лысодор – дружки закадычные – горевали, закрывшись в каптерке, выпивали потихоньку. «Какая ж это умная голова придумала, – сокрушался Лысодор, – создать в Городе неуправляемую часть. Больше тыщи голловорезов! В Городе! Посреди баб, детишек... При Сталине бы...»

А кто их слушать будет? Один майор, другой старшина. Не сообразили после войны, куда податься, вот и застряли в стройбате. Сиди теперь в каптерке да начальство втихаря поругивай...

После обеда Костя сразу заснул и очнулся только к вечеру совершенно трезвым. Помотал головой: не кружится. Не подташнивает, пакость во рту исчезла. Ожил.

Костя засел в бытовку и начал сосредоточенно загонять в погон гимнастерки фторопластовую пластину, чтоб плечи не обвисали. Чего другого, а фторопласта в Городе навалом – нефтекомбинат под боком. Крупнейший в Европе. Все в этом Городе через наоборот. И нефтекомбинат – чистый яд – чуть не в центр Города воткнули. Ветерок подует, да и ветерка не надо, и при хорошей погоде до Четвертого поселка достает. И дети рахитами рождаются, гражданские сами говорят. Как эта пьеса-то называлась? Про комсомольцев... «Иркутская история»? «Город на заре»?.. Чего-то в этом роде. Город, кстати, не комсомоллисты строили, а зеки – обыкновенные, нормальные зеки.

Костя тыкал белую маслянистую ленту в погон, лента не лезла. До половины дошла и уперлась. Костя легонько резанул по напрягшимся швам перочинным ножичком. Ножичек у Кости особый, выпрыгивающий, в брюшину кому засадить – ништяк, наверное. Коля Белошицкий подарил на рождение.

Коля Белошицкий до посадки шофером работал в городском парке. Раз в день приехал, листья нагрузил – и на свалку. А машина без дела не стояла, работала. Вот и за-

работал Коля на ней пять лет. Но Коля себе цену знал и приговора не испугался: уверен был, что выйдет «по половинке». Рассказывал, у него и в лагере полная свобода была. Ни подъема, ни отбоя. И приехал в зону пересуд. И надо же, узнала Колю баба-судья, та, что его в Одессе судила. Припомнила ему, как он, под следствием, в тюрьме брагу в огнетушителях изготовлял. Так и отсидел Коля пять лет. От звонка до звонка. Правда, после этого на государство уже ни дня не работал. И здесь, в армии, — тыфу, в стройбате, — не работает. Числится киномехаником, а так и не найдешь: то в роте ночует, то в кинобудке, то в поселке у бабы... Кино за него молодой крутит. На вечерних поверках Колю уже и выкликать перестали.

...Со стен бытовки круглоглазые, стриженные под довоенный полубокс солдатики учили Костю шить, штопать, латать и гладить обмундирование, показывали, как надо оборачивать на ночь сапог портянкой для просушки последней. Раньше Костя недоумевал: зачем белую портянку на голенище наматывать, оно же в гуталине? Ан нет, прав был довоенный солдатик: начищенный сапог не марался. А вот мазь в жестяной посудине перед их ротой маралась. Поначалу жаловались на нее Буряту (он мазью заведовал): мол, и не мажется, к сапогу шмотками цепляется, и щетка в колтун. А Бурят свое талдычил: «Мазя утвержден в московский институт». И все дела.

А как сам Бурят, младший лейтенант Шамшиев, оказался в армии — одному Богу известно. Приперся он сюда с женой, перекошенной какой-то, с четырьмя детьми мал мала меньше. За неимением другой жилплощади Быков поселил его в санчасти. Перед санчастью теперь на веревках все семейство сушится: лифчики голубые, трусы Бурята, детское... Хорошо хоть старших двоих на пятидневку взяли, при нем только грудной да еще рахит лет двух. В дни полочки Бурят старался носу из санчасти не высывать: пришибут ненароком по бухоте. Быков и Лысодор его ни в копейку не ставят — уж больно не любят недоделанных. Такой этот Шамшиев поганенький, гимнас-

терка не ушита, на морде прыщи, штаны на заднице провисают, каблуки скособочены, не офицер — недоразумение.

Короче, у всех стариков в роте свой гуталин. А молодым, как Нуцо, или таким дедам, как Фиша, им красота без надобности. Фише бы только учиться, а Нуцо — песни петь. Он их и пел всю дорогу, пока его на губе не «расстреляли». Теперь редко поет. А вот кто его персонально стрелял, не рассказывает. Заклинило цыгана. Только Фише сказал. А мог бы и Косте сказать, Костя не из трепливых, даже по обкурке. Контролирует себя. За это мужики и уважают.

За дверью загалдели. Значит, народ с работы возвращается. Сейчас погалдят — и в клуб, на суд.. Костя закончил второй погон и надел готовую гимнастерку. Выходить на народ не хотелось. Его и на гражданке не особо на люди тянуло — лучше книжечку почитать, музыку послушать. Кстати, насчет музыки — не потерял ли схему высокочастотного генератора для подогрева резца? Коллеги из местной студии презентовали.

Костя пошарил в карманах. Где ж она? Вот. Он достал из кармана конверт. Нет, не то. Письмо какое-то. От Таньки?..

Костя с отвращением взглянул на конверт и вспомнил: когда он спал, молодой с КПП принес письмо — Танька привезла. Посомневался: может, выкинуть?.. Вскрыл конверт.

«Здравствуйте, Константин! Костя, ну куда ты меня вчера послал? Пришел уже поддатый, Евгения с собой зачем-то притащил. Я вас приняла по-хорошему. Я ж не виновата, что Женя ко мне на кухню пришел, когда я котлеты жарила. А в прошлый раз ты меня к нерусскому приревновал, к болгарину, который в общежитие пельмени принес для реализации...»

— К цыгану, дура, — проворчал Костя, кинув разорванное письмо в корзину. Нуцо раньше в холодильнике работал — грузчиком.

— Строиться! — раздался за дверью голос командира первого взвода Артура Брестеля. Когда начальства в роте не было, он был за старшего. — Командиры взводов — в канцелярию! — орал Брестель, подражая капитану Дощинину.

Только когда Дощинин вызывал взводных в канцелярию, он им чего-нибудь да говорил там, а Артур Брестель орал так, для порядка. Брестель не только говорить не умел, он и понимал-то по-русски плохо. Не потому, что эстонец, а потому, что тупой. Год назад вместе с Костей копал землю на комбинате. Норму никто не выполнял, и гонял их Дощинин вечерами с песнями по плацу до отбоя. А после отбоя без песен гонял. Брестель был как все: норму не выполнял, водку пил, вместо работы купался. И вдруг Дощинина осенило: поставил Брестеля командиром отделения. И на следующий же день картина изменилась. Артур пахал как пчелка и других шугал. Попервости на него не обратили внимания. Тогда он заложил наиболее злостных паразитов.

Вечером злостные, в том числе и Костя, до ночи стучали сапогами на плацу, а потом до утра чистили картошку. Такая же картина повторилась и на следующий день. Через неделю, когда Брестель стал младшим сержантом, Женька Богданов и Миша Попов начали думать, как быть. Миша Попов пошел в первую роту и привел своего друга по наркоте Нифантьева, комсорга отряда. Вот он и возник — в плавках, слегка торченный, обкайфованный, с вафельным полотенцем, намотанным на кулак. Брестеля вызвали из роты, и прямо под окнами санчасти Нифантьев его отоварил. Брестель улетел за штaketник — жена Бурята спешно задернула занавеску.

На следующий день Брестель, заклеенный пластырем, снова заложил неработающих, а вечером снова улетел за штaketник. А на третий день Нифантьев развел руками. Слава Богу, Дощинин возвысил Брестеля в командиры взвода. Не ихнего, а первого, в другой даже половине казармы. И что интересно, отношения с Бресте-

лем и у Женьки, и у Мишки Попова, и у Кости снова наладились.

На двери клуба с утра висело объявление: «Спецсуд-40. Слушание уголовного дела о самовольном оставлении части военными строителями, рядовыми Георгадзе и Соболевым. Явка всех обязательна».

Из их роты ребята. Пошли в увольнение, а поймали их через неделю в Иркутске. Машину угнали, пьяные, баб каких-то раздели...

На суд Косте не хотелось идти. А не идти нельзя: подошла его очередь выступать общественным обвинителем.

У входа в клуб стоял «воронок». Привезли. Костя почувствовал неприятное дрожание в ногах. Медленно потянул на себя дверь. Клуб был набит до отказа.

Володька Соболев стоял в оркестровой яме, опираясь на декоративный плюшевый парапетик, и глядел в зал. Бритая серая голова его лениво и незаинтересованно поворачивалась, озирая клуб. Время от времени Володька слегка наклонялся вниз и что-то говорил, наверное, Амирану. Кому ж еще...

Володька сплюнул, плевков лег возле ноги конвойного, тот рывкнул. Володька харкнул еще раз, в сторону. Костя удивился: не Вовкино поведение. Волнуется, вот и расплевался для понта.

На сцену солдаты таскали столы: один — для членов суда, другой — для прокурора, третий — для адвоката.

Костя присел сбоку на конец лавки, не со своими. Брестель вертел башкой — высматривал его по рядам.

Костя пригибался от его взгляда.

Из правых кулис вышла шумная группа улыбающихся людей в форменных черных мундирах.

— Встать! Суд идет! — проорал Бурят. На рукаве у Бурята была красная повязка дежурного по части.

Толстый, брюхатый прокурор засел за левый стол, пару раз привстал и наконец утвердился обстоятельно. Маленькая, легонькая адвокатесса порхнула за правый стол. И за центральным столом уселись. Все свои — спец-

суд-40, вот они, голубчики! А еще говорят: стройбат — армия. Какая же это, на хрен, армия, если даже судят по граждански.

Конвойный, стриженный губарь из молодых, ткнул Володьку, чтобы полностью развернулся к суду, а не полубоком стоял.

— Маму твою, пэтух комнатный! — громко сказал Амиран Георгадзе, заступаясь за неблатного своего поделника.

Конвойный лениво огрызнулся.

Костя пошарил глазами по рядам: Женьки, слава Богу, нет. У Люсеньки, наверное, после Таньки отсыпается, не увидит, как он выступать будет.

Пока главный судья говорил свое, адвокатесса достала из сумочки косметичку, зеркальце оперла о сумочку, стала подводить губы.

Костя теребил в руках листок с текстом обвинения, которым пользовались все общественные обвинители для ориентации. Текст Дощинин напечатал на машинке.

Володьку Соболева пригнали сюда после Кости. И тоже сунули землю копать на комбинате. У Володьки тогда деньги водились — товарищи по фарцовке из Мурманска слали, — и он ни с того ни с сего стал выручать Костю, ни разу не отказал. Нравилось ему, что Костя из Москвы, звукооператором работал — центральной, короче. Или просто от широты души. Потом Костя и с Амираном познакомился. Амиран — другой коленкор. Первый кавалер Города. Костя его специально в бане разглядывал: с виду обыкновенный, усатый, как все грузины, тело обычное, не волосатое. Но как только Амиран снял плавки, стало очевидно: репутация эта Георгадзе заслужена, что дополнительно подтверждало и слово «нахал», выколотое на самой секретной части тела.

Брюхатый прокурор попросил у суда пять лет для Амирана, судившегося повторно, и три — для Володьки.

— Карамычев! — крикнул Брестель. — Где Карамычев?!

— Не ори. — Костя встал, opravил гимнастерку.

— На сцену! — Брестель сегодня за старшего, боится, как бы оплошки не вышло.

Костя, опустив глаза, поплелся на сцену. Проходя мимо оркестровой ямы, услышал:

— Привет, Констанц! — Володькин голос. Костя кивнул и, запнувшись на ступеньках, влез на сцену. И встал возле кулис, чтоб особо не отвечивать.

Глядя в бумажку, он пробубнил положенное. Последнюю фразу: «Прошу строго наказать подсудимых, порочащих честь Советской Армии», — он пробормотал так тихо, что председатель суда заставил повторить:

— Громче!

Когда Костя спустился со сцены в зал, Амиран подморгнул ему:

— Здорово, Масква! Я думал, тэбя нэт.

Хрупенькая адвокатесса проверещала, что подсудимые молоды, а матери их ждут, она просит суд о снисхождении и считает три и два достаточными сроками наказания. Личико у адвокатессы было маленькое и морщинистое. Садясь на место, она взглянула на часы и нетерпеливо забарабанила пальником по столу.

В последнем слове Амиран попросил себе лагерь, а Володька в последний момент решил не портить биографию, и если можно, то лучше дисбат. Дисбат не судимость. Просто продлили человеку службу. Задерживается как бы.

Амиран знал, что делал, когда лагерь просил. Хотя сидеть теперь ему в Сибири, а не у себя в Кутаиси, как в прошлый раз, где он весь срок машины швейные налаживал в женской зоне.

В перерыве подсудимым разрешили покурить прямо здесь, в оркестровой яме. Подошли Сашка Куник, Миша Попов. Поболтали. Отошли. Володька Соболев высмотрел Костю и поманил:

— Констанц, вручи денежкой.

Костя набух краснотой, вывернул карманы.

— Нету денег. Понимаешь? Нет.

Володька усмехнулся, сплюнул не по-своему.

Амиран удивленно покачал головой:

— Эх, Масква, Масква... Нэ успел я тэбэ галаву разбить.

После перерыва Амирану дали три года лагеря, а Володьке, как просил, два года дисбата.

У КПП Валерка Бурмистров обнюхивал припозднившихся.

— Зажрать успел! — с радостным удивлением отметил Валерка, внюхиваясь в кружку, после того как туда дыхнул подозреваемый. Не вынимая носа из кружки, протянул Косте руку. — Кто ж так зажирает, чучело? Ванилин? Это фуфло, а не зажорка. Скажи, земель? Ты сам-то чем заедаешь?

— Ну, салол... — поежился Костя.

— Понял? — Валерка поднял указательный палец вверх. — Салол. В КПЗ! — кивнул он караульному. Тот с готовностью потянул «ванильного» за рукав.

— Валер, отпусти, — пробасил «ванильный».

— Не Валер, а товарищ старший сержант. Нажрались, суки, а зажрать толком не научились. В КПЗ.

— За «суку» отвечаешь.

— Чего? — Валерка приставил ладонь к уху, подался к «ванильному». — Повтори.

Тот молчал. Валерка дружески потрепал его по плечу.

— Ссышь, когда страшно, значит, уважаешь. В КПЗ. Фамилию пометь, — кивнул он подручному. — Его губа полечит.

К воротам подкатил «воронок». Валерка забежал на КПП — натужно заурчал мотор, ворота разъехались.

— Повезли ребят на отдых, — сказал Валерка и спрыгнул с крыльца. — Грузин-то, хрен с ним, а нашего жалко. Скажи, земель?

— Жалко, — кивнул Костя. — Им дембель в мае.

— Ишь ты. — Валерка сочувственно поцокал. — Под самый занавес... Следующий! Чья очередь, бухари?

Валерка занялся следующим пьяным.

— Вторая — все наколотые, я те дам! — базлал Валерка, не переставая обнюхивать солдата. — Я ж в Красноярск за ними ездил. В «Решеты». Привез. Быков пасть открыл, когда их увидел. Сто рыл — и все разрисованы. Струной колют, рисунок чистый. Я себе на дембель тоже наколочку сбациаю, маленькую.

К воротам подошел Бурят. Фуражка у него, как обычно, была натянута глубоко — уши оттопыривались.

— Здравия желаю, товарищ лейтенант! — козырнул Валерка, повысив Бурята на одну звездочку. — Записочки подпишите об арестовании.

— Сколько? — спросил Бурят, вытаскивая из кармана ручку, не ручку даже, а стержень шариковый. Все не как у людей.

— Пока трое, — пожал плечами Валерка. — Четыре подпишите на всякий случай.

— Давай, — важно сказал Бурят. — По скольку суток?

— По десять, как обычно. Нормалёк.

— Завтра воскресенье, комиссия из дивизии будет, — строго сказал Бурят. — Утром КПП мыть, пола, матраса вытрухать... Я проверю.

— Вас понял, — козырнул Валерка. — Вытрухнем, как нечего делать.

Бурят потоптался еще немного для порядка и ушел домой, в санчасть.

Валерка положил тяжелую руку Косте на плечо.

— Пойдем, земля, осетринки покушаем. Погоди, забыл, тебя ж Лысодор в штабу ждет. Еврея тоже. Документы получать. Потом не чухайся, прямо сюда.

— А не надо воровать, — стоя у дверей штаба, по-домашнему увещевал майор Лысодор старшину срочной службы Рехта. — Чего ж теперь рыпаешься? Сколько ты задолжал стране и государству?

— Триста восемьдесят, — ковыряя землю хромовым офицерским сапогом, промямлил Рехт.

— Ну вот. А туда же — домой собрался, — развел руками Лысодор. — Ты сперва с казной рассчитаешься... На земле

поработай, покопай. На земле рублей шестьдесят в месяц заработаешь. Глядишь, к Новому году и рассчитаешься. А ты как думал?.. Не надо воровать. Сними-ка ремешочек!

Красавец Рехт расстегнул ремень и протянул Лысодору. — Ишь как ты пряжечку изогнул, по моде. — Лысодор почти без усилия разогнул пряжку в положенное уставное состояние и вернул ремень Рехту. — Еще раз увижу — на губу... Понятно говорю?

— Так точно! — отчеканил Рехт.

— Ну, золотая рота, — Лысодор обернулся к притихшим на всякий случай дембелям, — заходи в штаб по одному. Прощеваться будем. Ицкович первый.

И Лысодор вступил в темное нутро штаба. Фиша пошел за ним.

Костя opravил гимнастерку, проверил указательным пальцем звезду — на месте ли пилотка.

— Костя, я тебя очень прошу! — Рехт ухватил Костю за рукав. — Выручай! — Он запоздало сунул руку, здороваясь.

Костя принял в сторону, хотел было удержать руку в кармане, но рука сама собой вытянулась наружу и вяло пожала руку бывшего Костиного мучителя. Когда старшина Егор Остапыч Мороз был в отпуске, их четвертой ротой месяц командовал старшина срочной службы Рехт. Костю он тиранил за то, что москвич. Месяц не вылезал Костя с полов и через ночь чистил на кухне картошку.

Рехт — отдать ему должное — сейчас покраснел.

К штабу подошел Валерка.

— Записок не хватило, бухих полно.

— Запиши на себя пяток простыней, а?.. — канючил Рехт. — Будь другом! Ведь на полгода тормознут... Запиши, а?..

Валерка ковырялся в зубах, ожидая, что скажет Костя. Костя медленно достал пачку «Опала», вытянул сигарету, протянул пачку Валерке, тот, хоть и не курил, взял сигарету. Затем Костя аккуратненько opravил пачку и не спеша уложил ее в карман. Рехту не предложил, хотя Рехт курил.

— Ну, три простынки...

— Ты человеческий язык понимаешь, да? — полувопросительно-полуутвердительно ласково спросил Костя, снял несуществующую табачинку с языка и долго ее рассматривал.

Рехт уважительно ждал, пока Костя разберется с табачинкой.

— Ты сам-то откуда? — спросил Костя, вытирая пальцы. — Из немцев?

Рехт закивал расчесанной на пробор головой.

— А великий русский язык понимаешь?..

Рехт заволновался, побледнел...

— Я же тебе, Рехт, говорил неоднократно, чтобы ты шел. Ты ходить умеешь?.. Куда?

Костя сложил ладонь трубочкой и, приставив ее к уху старшины, шепнул ему что-то.

— Падла, — сквозь зубы процедил Рехт.

— А ты чем недоволен, в натуре? — Валерка Бурмистров шагнул к ним, не переставая ковыряться в зубах.

Рехт зашагал прочь по бетонке.

— Кусок паскудный! — вдогонку ему крикнул Валерка. — Чеси репу — и скачками! Слышь, земля, — Валерка уже перескочил на другую тему, — ты мне значок техникумовский на дембель не достанешь? Поплавок? Организуй, земля! Бутылка. Ну, две. Спиртяги.

— Спрошу, — с достоинством кивнул Костя. Как равный равному. — Куда ты его вешать-то будешь?

Валерка с трудом нагнул голову — мешал жирный подбородок — и стал осматривать свою необъятную грудь. Места для будущего значка и правда не было, все занято: «Воин-спортсмен», «Первый класс», «Мастер спорта», «Отличник Советской Армии», комсомольский значок на пластмассовой подкладке, «Ударник коммунистического труда».

— Спрошу, — еще раз пообещал Костя. — Как у тебя с собранием, приняли?

— Приняли! — Жирная Валеркина морда расплылась в улыбке. — По уставу гоняли — я те дам! Потом по политике. А я газет год не читал, сам знаешь, некогда. Короче,

приняли. — Валерка подержал на лице улыбку, потом посерьезнел. — Ну, вообще в партию вступить сложно. Кроме меня, одного только приняли.

— Карамычев! — крикнул Фиша, выходя из дверей штаба. — Костя! Заходи!

Костя вошел в штаб. Фиша догнал его в коридоре и сунул четвертной.

— Ты мне будешь должен восемьдесят три рубля!

Костя ошалело уставился на него.

— Иди, чего встал?

Лысодор сидел за столом без фуражки. Костя вошел и почтительно встал у двери.

— Ну, все закончили?

Костя кивнул. Лысодор хитро прищурился.

— А бабий?.. Бабий-то гальюн забыли.

— Вы не говорили, — оторопел Костя.

— Сейчас говорю, — посерьезнел Лысодор. — Еврея предупредил, тебе говорю и цыгану скажу. Надо доделать. Там дел-то на копейку. Когда отбываешь?

— Послезавтра хотим.

— Ну вот, ночью и сделаете. Подойди поближе. — Лысодор открыл сейф, вытянул из нутра толстый пакет. У Кости пересохло во рту. Лысодор про себя прочел фамилию на конверте.

— Не твой. Вот этот твой. Ка-ра-мы-чев. Константин Михайлович.

Лысодор встал, надел фуражку.

— Ну так, Константин Михайлович. Держи! — Он протянул Косте пакет. — С окончанием действительной службы тебя, Карамычев! Родителям передавай привет от командования. Службой твоей довольны.

— Служу Советскому Союзу! — отчеканил Костя, тыкаясь пальцами в висок.

Он развернулся, шагнул к двери и замер: «А четвертак?»

Лысодор сидел раскрасневшийся, теребил бумажки. Левый ящик письменного стола был слегка выдвинут.

— Чего забыл? — не поднимая головы, спросил Лысодор.

— Тут вот... — Костя подался к столу, пихнул деньги в ящик. Лысодор на весу расправил четвертак.

— Разменять, что ль?

— Да-а-а, — проблеял Костя.

3

Костя чихнул. Еще раз, еще... И проснулся. Прочищенный чихом нос сразу учуял знакомый запах. План шабят! Анашку! Костя сел на койке, его слегка качнуло. Посмотрел время — часов не было. След белый был, а часы — ёк.

— Сняли, — пробормотал Костя, озираясь вокруг. Вора видно не было. Был запах, запах хорошего ломового плана. Дурь чистой воды.

Костя встал, поплевал на ладони — провел по гимнастерке и бриджам: липнет к хэбэ всякая парша, матрац дражный, надо у молодых поменять. Потом опомнился: какой матрац? Завтра домой!

Что-то уж очень скоро напился он у Валерки на КПП. Программу «Время» хорошо помнит, «Братья Карамазовы» уже пошли затуманенные, а конец и вовсе смазался. Где цыгане начали петь, плясать. Только вот почему там цыгане? У Достоевского евреи Мите Карамазову играли перед арестом. Это Костя помнил точно. Еще удивлялся, когда читал...

Казарма храпела.

Запах плана шел из Богданова угла, пробиваясь сквозь казарменную вонь. А перешибить ее нелегко: две с лишним сотни сапог и, соответственно, портянок.

Костя достал сигарету и долго прикуривал в надежде, что Женька заметит.

И тот заметил, свистнул тихонько:

— Ко-отик!..

Плановые были в сборе. Женька, Миша Попов, Коля Белошицкий, Эдик Штайц и незнакомый парень в наки-

нутом бушлате. Надвинутая фуражка закрывала его лицо. Парень сидел возле Женьки. На тумбочке в консервной банке горела свечка.

— Сколько времени, Котик? — улыбнулся Женька и протянул Косте часы. — Снимать надо на ночь. Не дома. Когда отвальную?

— Перед поездом. — Костя застегнул часы.

— Ты фосфор-то стери с циферблата, — посоветовал Коля Белошицкий. — Вредно для здоровья.

— Богдан, — простонал Миша Попов, — не мурыжь, кайф проходит.

— Садись, Москва. — Эдик Штайц подвинулся. Женька нацепил на хрупкий кончик стеклянного челима новый косяк, подлил в челим вина из кружки, стал раскуривать.

— Ты от Танюшки как добрался? — с подсвистом спросил он Костю.

— Марик Мильготин подвез.

— От какой Танюшки? — проворковал парень в фуражке. Знакомым женским голосом.

— Люся? — Костя смешался. — Вы?

— На, дембель! — Женька протянул ему раскочегаренный челим. — На посошок. Все сделали?

Костя осторожно потянул в себя замечательный дым. Челим уютно забубылкал.

— Почти. К утру кончим — и отвал.

— А нас до майских, наверное, не выпустят. Ты адрес мой не потерял питерский?

Костя проверил в записной книжке: на месте.

— Колесико не желаешь? — Коля Белошицкий достал из кармана таблетку.

Костя помотал головой.

— По люксу пойдет.

— Дай! — рыпнулся за таблеткой Эдик Штайц.

— Тебе звездюлей надо, а не колесико! — мрачно изрек Миша. Он уже неделю дулся на Эдика: послал его к знакомой аптекарше за каликами, а Эдик не тех таблеток наку-

пил, нажрался и полдня стройбату покоя не давал — бегал ото всех в одном сапоге и орал, змей.

— Тсс! — прошипел вдруг Коля Белошицкий, настороженно поднимая кверху вислый нос. — Показалось?..

— Менты на зоне, — вяло пошутил Миша Попов.

— Вя-язы, — гнусаво подыграл ему Эдик, приставив к шее два пальца.

На всякий случай Женька вырвал челим у Кости и спрятал в тумбочку, аккуратно спрятал, так, чтобы с носика не свалился недокурный баш. Женька замер, жестом приказав не шевелиться. Стало слышно, как бьется в банке со свечой не вовремя ожившая тяжелая муха.

— Проехали, — буркнул Миша Попов.

Женька полез в тумбочку. Протянул Мише челим. Миша затаился и закрыл глаза. Курнул еще раз и с полуоткрытым ртом отвел руку с челимом в сторону — следующем.

— Ништяк, — сказал сидевший напротив Миши Эдик Штайц. — Заторчал.

Женька тем временем высвободил челим из вялой Мишиной руки, обтер сосочек и протянул Люсеньке.

— Богдан, — из сонного омрачения возник голос Миши Попова, — ты новье будешь брать на дембель?

Он так вяло и незаинтересованно это спросил, что Женька не ответил.

— Покажи, как надо! — переживал Эдик Штайц, видя, что Люсенька неумело, с опаской берется за челим. — Людмила Анатольевна, вы не взятяжку, вы с подсосом, не сильно... Богдан, покажи толком!..

Люсенька запыхтела чрезмерно, челим заклокотал.

— Дам в лоб — козда родишь, — с закрытыми глазами пригрозил неведомому противнику Миша Попов.

— Та-ащится! — радостно отметил Эдик Штайц. — Готов Мишель. Коноп елька-то наша, тутошня. А то фуфло, фуфло...

В данном редком случае Эдик Штайц был прав. В настоящий момент куриди его анашу, его изготовления, а главное — его замысла.

Минувшим летом весь отряд по воскресеньям вместо выходных стали вдруг вывозить на поля собирать картошку. Как пионеров. Только возили почему-то в эковозах — длинных машинах с высокими бортами, внутри лавки поперек, а над головой решетки, даже не встать. Хорошо хоть без охраны. Картошечку собирали соответственно. И себе, и Городу, и кому там еще... Коля Белошицкий сразу надумал, как мимо дела проплыть. Шел по гряде, ботву обрывал, возле грядки складывал, а напарник следом бежал и черенком лопаты грядки ворошил. Картошечку не трогали, упаси Бог. Картошечку на зиму оставляли зимовать. А офицерье в машинах сидит, не смотрит. Тем более холодно — снежок уж начал капать. Неуютно. План считали по грядкам, не по картошке, и получилось, что в отделении Богдана перевыполнение. А собирали только Фиша с Нуцо. Всерьез ковырялись. Ну им простительно — народ деревенский.

Тогда-то Эдик Штайц и обнаружил, что здесь конопли завались. Правда, по колено только, но сойдет в армейских условиях. Начался лихорадочный сбор. Потом Эдик пробил коноплю, пыльцу замацовал — анашка получилась первый сорт. Только вкуриться нужно — с первых разов не пробирает. А потом благодать: с табачком растер, косячок набил — и торчи!..

— Богдан, — улывающим голосом пробормотал Миша Попов, — пихни колючего...

Женька не реагировал. Он пристроился в самом углу, приняв Люсенюку под крыло, тихонечко ее полапывал. Костя сидел напротив, ему стало совсем хорошо и хотелось, как всегда под кайфом, посмеяться и еще — стихи посочинять. Свечка разгорелась вовсю, коптящий язычок пламени вырос из консервной банки и метался перед оконным стеклом...

«Шарашится по роте свет голубой и таинственный... — сочинял Костя, спрятав лицо в ладони. — Шарашится по роте свет голубой и таинственный... И я не совсем уверен, что я у тебя единственный...»

— Богда-ан! — угрожающе прорычал Миша Попов. Женька отлип от Люсеньки.

— Чего тебе?

— Пихни колючего...

— Завязывай, Мишель, понял? Сказал — нет, значит — нет. — И снова приобнял библиотекаря.

Миша Попов последнее время ходил не в себе. Он вообще курил мало, он на игле сидел. А в последнее время сломалась колючка — деньги у Миши кончились. На бесшпичье он даже выпаривал какие-то капли, разводил водой и ширялся. Доширялся — вены ушли. И на руках и на ногах, все напрочь зарубцовано. Женька сам не ширялся, но ширятель был знаменитый, к нему из полка даже приезжали. Он Мишу и колол. А недавно сказал: «Все, некуда».

Мишаня в слезы: как некуда, давай в шею! Женька орать: «Ты на всю оставшуюся жизнь кайф ломовой словишь, а мне за тебя вязи!»

От скрипа коек проснулся Старый. То лежал, смотрел на них, но спал, а сейчас зашевелился — разбудили.

Костя протянул ему челим, Старый принял его в мозолистую корявую руку. Ни у кого в роте таких граблей не было, как у Старого. Отпустил бы его капитан Дощинин на волю, чего он к нему пристал?..

— Хочешь, я с Лысодором поговорю за тебя? — спросил Костя.

— При чем Лысодор, он без кэпа не решает, — ответил Старый и вернул Косте челим. — Не хочу. А Дощинин не отпустит.

Он достал обычную папиросу и, видимо с отчаяния, так сильно дунул в нее, что выдул весь табак на Эдика Штайца.

— Констанц, оставь мне бушлат, — попросил Старый. — Тебе зачем?..

— О чем говорить! — кивнул Костя. — Заметано.

Костя вдруг осознал, что дембель завтра, вот он, рядом. И даже покрылся испариной. И встал.

— Чего ты? — спросил Женька.

— Пойду помогу, ребята возьтятся. Фишка с Нуцо...
— Сиди! — Женька за ремень потянул его вниз. — Только кайф сломаешь. Сиди.

Люсенька закемарила. Женька подсунул ей под голову свою подушку и надвинул фуражку, чтоб скачущий язычок пламени не мешал глазам.

Потом Женька встал посреди прохода и обеими руками шлепнул по двум верхним койкам. Койки заскрипели, отозвались не по-русски.

— Не надо, Жень... — вяло запротестовал Костя. Но Богдан уже сдернул с верхних коек одеяла.

— Егорка, Максимка!..

Сверху свесились ноги в подштанниках, и на пол прыгнул сначала крепенький Егорка, а затем нескладный, многоступенчатый полугрузин Максимка. Оба чего-то бормотали, каждый по-своему.

— Подъем, подъем! — повторял Женька, похлопывая их по плечам. — Задача: одеться по-быстрому — и в сортир. Там Ицкович и Нуцо, скажут, что делать. Вопросы? Нет вопросов. Одеться — двадцать секунд.

Егорка и Максимка стали невесело одеваться.

— Не здесь, не здесь. — Женька вытолкал тех на проход.

— Торчит! — Коля Белошицкий тронул Женьку, показывая на Люсеньку. — Людмила Анатольевна!

— А-а... — донеслось из Люсеньки.

— Насосалась, кеша кожаная... — проскрипел Миша Попов. — Слышь, Богдан, гадом буду, куруха под окнами шарится, кой-то ползает.

— Ты давай, давай! — отмахнулся от Миши Женька, но на всякий случай прислушался. Было тихо.

— Же-еня-я... — прошептала Люсенька.

— Что с тобой? Плохо?

— Тошнит...

— Сукой быть, кой-то ползает под окнами — бухтел свое Миша Попов.

— Мам-ма... — простонала Люсенька. — Тошнит...

— Вось пошло, — улыбнулся Эдик Штайц. — Точняк — блевать будет!

— Давай ее на улицу, — предложил не заснувший еще Старый. — На свежачок...

— Не надо... — стонала Люсенька. — Ма-ма.

Костя протянул руку к окну — из щели бил холодный воздух.

— Сюда ее, к стеклу, похолодней, — сказал он.

Люсеньку передвинули к окну, она уперлась лицом в колодное стекло.

— Ага-а... — простонала она. — Лучше-е...

— Блевать будет, — уверенно повторил Эдик. — Сейчас бу...

Эдик не успел договорить — Люсеньку вырвало прямо на стекло. Консервная банка упала на пол, свечка потухла. Люсенька привалилась щекой к окну, тихонько постанывая.

— Тряпку! — рывкнул Женька, оборачиваясь к проходу, где мялись уже почти одетые Егорка с Максимкой.

— Богдан! — прорычал из дальнего угла разбуженный Сашка Куник, кузнец из второго взвода. — Кончай базар!

— Отдыхай лежи! — заорал Женька, ощерившись.

В ответ в углу звякнули пружины — Куник встал.

— Я кому сказал: тряпку! — Женька хлопнул в ладоши.

За окном мелькнула тень, зазвенело разбитое стекло, голова Люсеньки дернулась.

— А-а! — закричала Люсенька, хватаясь за лицо руками.

— Свет! — взвыл Женька на всю роту. — Бабай! Свет!

— Рота, подъем! — спросонья заорал Бабай и врубил в казарме общий свет.

4

Разбили еще одно окно с другой стороны. Костя судорожно рванулся к выходу.

— Куда?! На место! — Куник затолкал Костю в проем между койками. — Подъе-ем! — орал он тонким голосом,

не соответствующим его огромному волосатому тулову. — Подъем!..

Женька сидел на корточках возле Люсенки, пытаясь отодрать ее руки от лица. Сквозь пальцы высачивалась кровь и текла в рукава голубой кофточки.

— Люся, Люся, — задыхаясь, бормотал Женька. — Ну, чего ты?.. Покажи, Люсенка... Давай посмотрим...

Стекла лупили с разных сторон. Пряжки ремней, проламывая стекло, заныривали в казарму и исчезали, вытянутые наружу. Сразу стало холодно. В разбитые окна летели камни и мат.

Бабай метался по роте.

— Чего такое?! — Он подскочил к сидящему на корточках Богдану, вцепился ему в плечи. — Чего?!

— Воды! — отшвырнул его Женька. — Воды дай!

Куник вырвал у Бабая из рук графин, выскочил из казармы. И тут же ворвался назад, держась рукой за окровавленное плечо. В другой руке было зажато отбитое горлышко графина.

— Вторая рота. Блатные, падла! — рычал он. — Подъем!.. Без гимнастерок!..

Холодная казарма гудела. Молодые соскакивали с верхних коек и испуганно одевались, не попадая в штанины. Двоих залежавшихся Куник сдернул сверху.

— Кому не касается?! — орал он. — Без гимнастерок! Строиться! Ремни на руку, вот так!

— Рота, отставить! — всунулся было Брестель, вспомнив, что он за начальника.

— Кыш, шушера! — Куник дал ему по башке.

— Дай ему, чтоб на гудок сел! — посоветовал прояснившийся уже Миша Попов, стаскивая узкую перешитую гимнастерку. — Раскомандовалась, сучка квелая...

— Холодно без хэбэ! — вякнул кто-то.

— Кому холодно?! — обернулся Куник. — Строиться! Рота, слушай мою команду!..

За окнами с одной стороны казармы стало светло — врубили прожектора на плацу.

— Уходят! — радостно заорал молодой у окна.

Костя рыпнулся в ту сторону: действительно, солдаты бежали через плац к казарме второй роты.

— Суки! — ощерился Куник, подстегнутый неожиданным отступлением нападавших. — Четвертая рота! За мной!.. На плац!.. Без гимнастеров!..

Выход из казармы был узкий, в одну половину двери, и четвертая рота вытекала наружу в холодную ночь тонким ручьем. Оба пожарных щита у выхода уже разобрали и сейчас со щитов срывали красные конусные ведра.

Раздетая, в белых нижних рубашках, четвертая рота сучилась у торца казармы. Впереди был пустой, ярко освещенный бетонный плац, подернутый ночным ледком.

— Одесса! — заорал Куник. — Музыку вруби!

Коля Белошицкий вылутился из гудящей толпы и послушно полез по железной лестнице в кинорубку.

Над плацем женскими голосами громко заньли битлы.

Белошицкий вниз не спустился.

Костя лихорадочно перебирал глазами роту. «Фиши нет, Нуцо нет, а я, я-то почему здесь? Зачем я-то? Мне ж домой!..» От зависти к отсутствующим Фишелю и Нуцо у Кости схватило живот. Он чувствовал: будет что-то страшное, о чем пока не знает этот волосатый идиот Куник, и Богдан не знает, и Миша Попов. Только он, Костя, знает..

«Господи, — стонал про себя Костя, — ведь убьют!..» Анашовый кайф вылетел из его головы, как и не было. Просто так убьют, ни за что! Пусть они все передохнут: Куник, Богдан, Миша... Он же к ним не относится. Он же не с ними. Он другой! Другой!

А Нуцо был здесь. Выпорхнул из-под руки Куника и стал с ним рядом. С лопатой, к которой прилипла уже знакомая вонь. Он преданно смотрел на Куника, ожидая команды, и улыбался.

— Фиша где?! — крикнул ему Костя. — Где Фишка?

— За губарями побег! Валерка велел! — блеснул зубами цыган.

Поджарый Нуцо нетерпеливо прыгал вокруг огромного Куника.

— Пошли! Чего стоим? Холодно!

«Тебя кто звал?! — стонал про себя Костя. — У тебя ж отмазка!..»

Темная казарма второй роты молчала вдалеке, казалась спящей.

Над трибуной полоскался распяленный кумачовый транспарант: «Военный строитель! В совершенстве овладей своей специальностью!»

— За мно-ой! — Куник крутанул в воздухе ремнем, как шашкой, и двинул по диагонали плаца ко второй роте.

Четвертая с лопатами, ломами наперевес, галдя, повалила за ним, пряжки мотались у колен.

— Не бзди, мужики! — орал Куник. — Главное, всей хеврой навалиться!..

— «О-о гё-ол!..» — стонали битлы.

Куник был уже на середине плаца, как вдруг перед ним оказался Бурят. В расстегнутом кителе, в тапочках, Бурят судорожно цеплял на рукав красную повязку дежурного.

— Четвертая рота! Стой на месте!.. Приставить ногу к ноге! — Запутавшись в командах, он обеими руками уперся в волосатую Сашкину грудь.

— Мочи Бурята!

Куник, не останавливаясь, отгреб Бурята в сторону. Тот отлетел, упал, заверещал что-то, фуражка покатилась по плацу. Рота валила дальше, за Куником.

До казармы оставалось шагов тридцать. Вторая по-прежнему молчала. Становилось жутко. Видимо, это почувствовал и Куник.

— Не бзди, мужики! — снова заорал он и орал так через каждые два-три шага. Шел и орал, уже даже не оборачиваясь.

Женька со Старым рванулись вперед, чтобы не отстать от Куника. Костя тоже пошел быстрее. Женька держал в руке арматуру. Старый просто шел, шел без все-

го, ссутулившись по-пожилому, похожий на мастерового из фильма «Мать».

— Сука старая!.. — всхлипнул Костя, со злобой взглянув на свой кулак, в котором был зажат ремень. Опять Старый умнее всех, ремня нет — вины меньше.

Женька хлопнул его по плечу:

— Чего ты?

— Ничего! — огрызнулся Костя, стряхивая его руку.

— Не бзди, мужики! — взвился под небеса истошный визг Куника.

И вдруг черная молчавшая казарма ожила. Вспыхнул свет. Кроме центральных дверей, распахнулись боковые. И из трех прорех казармы живыми потоками наружу ломанулись блатные.

— Глуши козлов!

— Сучье позорное!..

— Петушня помойная!..

— Мочи пидоров!..

Костя увидел, как Куник, метнувшись навстречу толпе, сливающейся из трех потоков, увернулся от вспорхнувшего над его головой лома, и пружкой, под свист ремня, уложил одного и, обернувшись, ловко достал первого, с ломом, уже врывавшегося в чужую толпу. Оба подмялись, звякнул о бетон покотившийся лом.

— Минус два! — провопил Куник. — Мочи блатных!

Драка расплзлась по всему плацу.

Костя сразу подался в тень трибуны, в темноту. Но и там было страшно: вдруг увидят, что прячется.

На мягких ногах вбежал он в тусующуюся толпу одетых и своих. Он крутил вокруг себя ремнем, надеясь, что никто к нему не сунется. Его и не трогали. И он снова отбежал в тень — передохнуть. Нуцо уделал одетого — лопатой плашмя.

— Луди вторую роту! — кричал Женька, молотя арматуриной по одетым.

Костя готов уже был в очередной раз ворваться в драку, уже ногу приготовил для толчка, но от удара в спину у него перехватило дух.

— А-а!.. Ма-а-ма!..

Пока он несколько мгновений ждал смерти, стриженный блатной, отоваривший его пряжкой, побежал дальше. Костя понял, что не умрет. За блатным рыпнулся Нуцо, оторванный от своей драки Костиным воплем, и успел приглубить блатного лопатой. Из прорвавшейся на спине гимнастерки потекла чернота. Блатной сунул руку за спину, глянул на нее и помчался к своей казарме.

— Назад! — прокричал кто-то.

Неожиданно, как по команде, вторая рота стала отступать к своей казарме. Четвертая навалилась на отступающих.

— Козлы! — орал Куник. Ремень он потерял и дрался просто так.

— Еще! — взвыл рядом с Костей Миша Попов, тыча рукой в сторону.

Костя повернул голову, и у него онемели ноги: от тех-класса отвалилась толпа одетых и молча неслась на них.

И отступившая было вторая рота мощно подалась вперед. Блатные схитрили.

Полуодетые, придавленные сбоку свежими силами, заметались по плацу и, сбивая друг друга с ног, бросились домой, к казарме.

— Куда?! — заорал Куник. — Сто-ой! Стой, падлы!...

Костя бежал с зажмуренными глазами. Когда он открыл их, увидел, что в метре от него впереди несутся трое одетых с палками. Он обхватил голову руками и, споткнувшись, кубарем покатился по шершавому плацу. Одетый рыпнулся к нему с палкой над головой.

— Не бе-ей!.. — Голос Кости сорвался на писк.

— Удав гнутый! — Одетый с размаху ударил его сапогом. Хотел по голове, но Костя увернулся — попал по ребрам. И побежал дальше.

Костя потерял дыхание и на четвереньках уполз с плаца в темноту. И, заткнувшись за голый куст акации, скрючился. Потом с трудом вытолкнул накопившийся воздух и понял, что опять жив.

Вдалеке из толпы одетых с криками вырывались полуодетые и неслись к казарме.

Блатные лупили оставшихся.

Вдруг Костя услышал возле своей головы цокот подков, не стройбатовский цокот... Задевая за куст, на плац выносились губари, на бегу сдергивая с плеч автоматы.

Раздались короткие очереди.

Костя впервые в жизни слышал настоящие выстрелы.

Драка замерла.

— Губа-а!..

Все бросились врассыпную. Одетые бежали рядом с раздетыми. Куник с Мишей Поповым ломанулись во вторую. А одетые мчались к ним — в четвертую.

Костя отжался от земли, встал в несколько приемов, не сразу, и, наращивая ход, заковывал в роту.

На плацу, помыкивая, корячились подбитые.

Трещали выстрелы.

Костя споткнулся, налетев на сугроб, и, падая, увидел, как здоровенный длинный губарь с откляченной задницей гнал перед собой раздетого с лопатой и палил вверх из автомата.

И вдруг раздетый споткнулся, выронил лопату, свет прожектора мазнул его по лицу, блеснули зубы: Нуцо!

Губарь с разбегу налетел на него и стволом автомата ударил в спину.

Нуцо обернулся и застыл, уставившись на губаря.

— Ты-ы? — прошипел он. — Ты-ы?..

И пошел на губаря. Тот молча пятился, по-дурацки загоразживаясь автоматом.

— Ты! — выкрикнул Нуцо. — Ты!

— Не подходи! — Губарь перехватил автомат. — Убью!

Сзади над губарем взметнулась лопата. Костя видел ее блестящий штык. Губарь выронил автомат и схватился за голову. Вскрик был совсем слабый, заглушенный остатками драки и редкими выстрелами.

Нуцо шагнул в темноту, куда упал губарь, и медленно выпятился обратно.

— Беги! — громко прошипел он, выдергивая у солдата из рук лопату. — Беги, Фиша!

...Деревянные подпорки-столбики у крыльца четвертой роты были выломаны. Женька Богданов метелил одетых, но те, не обращая внимания на удары, тупо перлись в чужую роту.

Костя долго втискивался в узкий дверной проем, заклиненный ошалелой толпой. Кто-то оттолкнул его, он снова втиснулся, его ударили по лицу, он не ощутил боли. Добравшись наконец до своей койки, Костя упал на нее и с головой накрылся одеялом.

Сколько времени прошло, он не знал. Кто-то сдернул с него одеяло. Костя открыл глаза. Быков.

За разбитыми окнами тормознул «Запорожец» Лысодора. Лысодор, в шапке пирожком, в коричневом драповом пальто, быстро вошел в казарму.

— Здравствуй, Петр Мироныч! — протянул ему руку Быков. — Кто дежурным сегодня?

— Буря... Младший лейтенант Шамшиев.

В роту влетел старшина Мороз. Дернул руку к козырьку.

— Твои, Остапыч, — с удовлетворением сказал Быков. — Молодцы ребята... Ты им сухари суши, Остапыч.

Рота молча стояла посреди казармы.

— Зачем сухари? — тупо спросил Миша Попов, пробуя зубы на шаткость.

— Кто спрашивает? — обернулся к нему Быков. — Ты, плановой? Ты зубки-то не трогай, опусти ручки... Вот так. Сухари зачем?.. Гры-ызть... Сидеть и грызть. Вот так вот, ребята-козлятки. А вы как думали? Не хотите по-человечески служить, — голос Быкова набрал полную силу, — башкой к параше!.. Всю роту! На строгач! Роба в полоску!

— Вторая начала! — выкрикнул кто-то из строя.

— Кто сказал — шаг вперед!

Никто не вышел.

— Чего творят, падлы! — покачал головой Мороз. — Два года и тех не могут... А я, мы все вот... — Мороз поочеред-

Мороз заглянул в Ленинскую комнату, покачал головой.

— А здесь-то стекла кому мешали?.. Графин где?

— Разбили при наступлении, — усмехнулся Куник.

— Ты, верзила, молчал бы! С тебя первый спрос! — Мороз погрозил ему татуированным кулаком.

Брестель закончил поверку и с журналом подошел к Морозу. Мороз надел очки, взял журнал в руки.

— Все по списку? — спросил Быков Мороза.

— Никак нет, двое в больнице, один в бегах, трое на счет туалета, чистят. Их сюда без бани нельзя — в калу все...

— Карамычев здесь, — заложил Костю Брестель.

— Отбой, — скомандовал Быков и вышел из казармы. — Минута. Всем по койкам!

Строй распался, загудел.

— Слышь, Карамычев, твои не воевали, ясно? — сказал Мороз, подойдя к Костиной койке. — Ты-то сам на кой хрен в казарме?

— Не знаю... — промямлил Костя.

— Узнаешь... Следствие вот начнут — все узнаешь!.. Над тобой койка пустая? Я лягу. — Мороз расстегнул мундир, под мундиром была красная бабья кофта, застегнутая на левую сторону.

— Зачем вам наверх, товарищ старшина? — засуетился Костя. — Ложитесь внизу, я наверх...

— Ладно, — скривился Мороз и полез на верхнюю койку. — Это у вас, у сопляков, счеты: кому где спать... Петух жареный не долбил еще... Живые все?

— Губаря кто-то сделал, — сказал Женька.

— Их долбить — стране полегче, — сказал Старый.

— Молчал бы... Башка как колесо, а домой возвратиться не можешь!

Мороз заворочался, укладываясь поудобнее.

— Кто губаря — разберутся, — побряхтел он, — а вот библиотекарке глаз хоть фанэрой зашивай...

— Откуда вы знаете?! — вздернулся Женька.

— Ишь ты! — ухмыльнулся Мороз. — Задергался, хахаль кособрюхий. Будешь ей теперь из тюряги за увечье платить. Побахвалиться захотелось перед сикухой: нет, мол, на меня управы!.. Хочу — дурь сосу, хочу — бабу в роте черепешу... Дурак! Спать. Отбой.

Казарма затихла.

Костя лежал с открытыми глазами. Наверху под Морозом заскрипели пружины.

— А билеты-то взяли? — шепотом спросил Мороз, свесившись с полки.

— Взяли.

— Ты вот что, ты одеись и к своим иди, может, ничего, может, получится...

5

Голая — старики в плавках, молодые в одних подштанниках, — посиневшая четвертая рота стояла, выстроенная вдоль казармы.

Комиссия — коротенький полковник и два майора в сопровождении Быкова, Лысодора, капитана Дощинина, Мороза и забинтованного Буряты — неспешно бродила вдоль строя.

Уже начались хитрости; поврежденные в побоище старались по мере приближения комиссии встать в начало строя, где комиссия уже прошла. Поэтому комиссия прошла вдоль строя один раз, потом еще раз — со спины.

— Руки вверх! — скомандовал коротенький полковник.

Двести с лишним багровых стройбатовских кулаков на белых руках вскинулись к потолку.

— Туда, — негромко скомандовал полковник Сашке Кунику. Под мышкой у него синел квадратный отпечаток пряжки.

Куник понуро поплелся в Ленинскую комнату, куда комиссия загоняла явных участников.

Через некоторое время восемнадцать человек без ремней в сопровождении губарей потопали по бетонке к во-

ротам. И Куник, и Женька, и Миша Попов. На губу. На КПП места мало.

В казарме вставили стекла, стало теплее. Максимка оттирал присохшую к тумбочке кровь и рвоту.

— ...Вина хорошего попьем... — Нуцо ломом натягивал половые доски, а Костя шил гвоздем. — У меня вся Молдавия родня. У меня дед есть. Он еще против вашего царя воевал. Его побили, он глупой сделался. И слабый весь. Румынский царь ему пенсию платил. А потом ваши пришли перед войной. Перестали платить, враг стал...

— В Москву пусть напишет, — посоветовал Фиша.

Нуцо засмеялся.

— Да он помрет скоро. Старый... Мороз идет!

Мороз подошел к яме, заглянул в нее.

— Кончаете уж?.. Ну-ка хэбэ скидайте!

Фиша стянул робу.

— Ты-то чего рэздеешься? — жестом остановил его Мороз. — Ты ж на плацу не был. Одеись назад. — Мороз покачал головой. — Ишь, какая нация шерстистая, хуже грузинов. — Обошел голого по пояс Нуцо. — Чисто. Одеись. — Посмотрел на Костю спереди, остался доволен. — Повернись! (Костя повернулся спиной.) Божечки ж ты мой!.. Ты погляди, у него ж спина!.. И пряха. След. Куда ж ты лез-то, паразит! — Он пыхнул дымом в сторону.

Костя стал вяло одеваться.

— Да, кто ж губаря-то, а?..

Костя пожал плечами. И посмотрел на Нуцо. И Нуцо, улыбаясь, тоже пожал плечами.

— Работайте, — сказал Мороз. — Бог даст...

С губы донеслась песня: «Не плачь, девчонка, пройдут дожди».

— Ты зубы-то сыми, — проворчал напоследок Мороз в сторону Нуцо. — Медь во рту — один вред... И людям в глаза бросается... А то слухи: с зубами ктой-то по плацу прыгал...

Мороз ушел.

Нуцо ногтями стал торопливо сковыривать бронзовые коронки, от усердия даже на землю сел.

— Ты чего? — обеспокоился Фиша. — Земля холодная, а тебе почки болят. Встань.

Перед самым ужином прибежал Валерка Бурмистров. Валерку бил колотун, тряслось все: и сиськи и брюхо...

— Земеля-я! Мать твою... — зашипел он, настулив кедом на гвоздь в доске. С перекошенной от боли мордой Валерка другой ногой придержал доску, снялся с гвоздя. — Чурка ваш повешался, на хрен!

— Бабай? — выдохнул Костя.

— Он... Сволочь, — шипел Валерка, тряся ногой. — Заражения не будет?

— Когда?

— Да он не до смерти, — скривился Валерка. — Слышь, еврей! — крикнул он Фише, столбом замершему в яме. — Йод принеси! По-быстрому! Кому сказал?!

Фиша не трогался с места,

— Принеси, — попросил Костя. — В канцелярии аптечка.

— Сплю, земля, и чего-то прям, знаешь, ну не знаю, как сказать, — бормотал Валерка. — Встал, в глазок глянул. А он висит, ногами дрыгает. Я раз — и за сапоги!.. Чуть ему калган не оторвал.

— Живой он?

— Дышит... Я его малость... — Валерка потусовал кулаками воздух. — А чего он? Я с него ремень брючный забыл, он на нем и повешался. Пойдем глянем, а то я один не это... Пойдем, земля...

Бабай лежал на бетонном полу в камере. И плакал. Лицо его было разбито.

— Бабай! — Костя потерял его за рукав. — Ты чего?.. Зачем ты?..

— В турму не хочу..

— Да кому ты, на хрен... — замахнулся по инерции Валерка.

— Позови Морозу! — плакал Бабай. — Позови старшину Морозу!..

— Позвать бы... — поднимаясь с корточек, полувопросительно сказал Костя. — Мороз в роте?

— За дочками в детсад пошел. Да вон он!

Мороз стоял на трамвайной остановке, держа за руки двух девочек. Когда жена Мороза, работавшая поварихой в полку, в Шестом поселке, опаздывала на автобус, Мороз сам забирал дочек из сада, и они до темноты ошивались в роте. Богдан приволок для них со свалки трехколесный велосипед, подвинтил, подкрасил.

— Товарищ старшина! — заорал Валерка.

— Чего орешь? — Мороз потянул девочек к воротам КПП, приподнял фуражку, пятерней прочесал седые волосы.

— Чурка чуть не повешался! — выпалил Валерка. — Я сдернул!

— Чего-чего? Идите-ка погуляйте, — сказал Мороз дочкам. — Велисапед свой в каптерке возьмите, покатайтесь.

Девочки вприпрыжку убежали.

— Живой? — спросил Мороз.

— Нормальный ход. Не до смерти.

— Та-ак... — пробормотал Мороз. — Начинается...

6

Последним из трамвая вылез старик в азиатском халате и на костылях. На голове у него была огромная лохматая папаха из рассыпающихся завитков, а на единственной ноге — нерусский коричневый сапог в остроносой калоше. За спиной старика был вещмешок.

Он вылез из автобуса, подпрыгнул пару раз на ноге, устоялся и поправил вещмешок. Потом стал озиаться.

— Стирайбат? — сказал он Косте. — Сын тут.

Костя показал на железные ворота с двумя красными звездами.

— В гости, — сказал Костя Валерке, подводя старика к крыльцу КПП.

— Фамилия?

Старик достал из-за пазухи паспорт, сунул Валерке.

— «Керимов», — прочел Валерка. — Какой роты?

— Стирайбат, — кивнул старик.

— Керимов, Керимов?.. — повторял Валерка, наморщив лоб. — погоди.

Валерка занырнул в КПП и пальцем поманил за собой Костю.

— Слышь, земля! Гадом быть, Бабаев пахан!

Валерка вышел на крыльцо, отдал старику паспорт.

— Вы это... — Валерка почесал за ухом. — Вы чайку попейте с дороги. Командир скоро придет, тогда... Эй!

Из караулки выскочил молодой.

— Отведешь товарища в столовую. Чтобы ему там...

Из столовой Мороз привел старика в роту.

— В ногах правды нет, — сказал он, пододвигая старому туркмену табуретку.

Старик сложил костыли и, придерживаясь за тумбочку, сел на половину табуретки, на свободную половину табуретки показал Морозу, приглашая его тоже сесть.

Мороз похлопал его по ватному плечу.

— Сиди, сиди. Дневальный где?! Рзаев!

Дневального он нашел в каптерке. Егорка дописывал хлоркой свою фамилию на подкладке нового бушлата. Под свежей фамилией «Рзаев» — фамилия прежнего владельца.

— Чем занят?! — заорал на него Мороз. — Где твое место?

Егорка вскочил, сунул бушлат в хлам, наваленный в углу каптерки.

— Эти не разъехались, а уже застариковал, — проворчал Мороз. — И побройся хоть. От людей стыдно. — Он кивнул на старого Бабая, привалившегося лохматой папашой к стене.

Старик открыл узкие глаза.

— Оглум, мусульманмысан?

— Бяли, мусульманым, — ответил Егорка совсем иным, почтительным, голосом.

— Понимает, — удивился Мороз. — Так у вас что ж, нации одинакие?.. Или как?

— Понимаю просто, и все!

— Тогда таким порядком. — Мороз снял фуражку, провел по волосам пятерней. — Рзаев, слушай сюда. В углу у Карамычева коечку застлать товарищу чистым, полотенец... Пусть отдыхает. Расход ему вечером принесешь — покушает.

Мороз протянул старику руку. Старик засуетился с костылями, хотел встать.

— Сиди, сиди, — остановил его старшина. — Может, обойдется... Как суд решит...

— Будды, — кивнул старик и приставил костыли к стене.

Старик расположился на Богдановой койке. Сейчас он рылся в своем вещмешке.

— Не мешаю? — буркнул Костя.

Старик не понял вопроса, достал из мешка большой белый платок, расстелил его на полу. Костя подобрал ноги. Старик снял халат, под халатом был пиджак с медалями.

Встав коленями на платок, старик стоймя поставил на тумбочку папаху, сложил перед собой на груди руки, закрыл глаза и сказал, как в кино:

— Аллаху акбар...

И начал тихо стонать по-своему — молился. В промежутках между бормотаниями он проводил руками по лицу и груди. Медали на пиджаке позвякивали, когда он нагибался.

— Аллаху акбар, — сказал старик и со скрипом стал подниматься.

Потом стащил на пол матрац и лег на него, укрывши голову платком. И тут же захрапел.

Костя принес из каптерки свою шинель и набросил на старика.

Заложив руки за спину, Мороз медленно брел по ботинке, Костя плелся за ним.

— Чего ты все ноешь?! — обернулся к нему старшина, хотя Костя молчал. — Русский язык не понимаешь! Сказано: ступай в роту.

— Билеты у нас... Мне домой...

— Домой!.. — прошипел Мороз. — Ты ж на проверке торчал, дурень!.. Сводку в штаб дивизии послали, кто участвовал... пофамильно... Губарь-то помер!

— Не я же! — простонал Костя.

— А кто? Дед пихто?

Мороз остановился у входа в казарму, поднял с земли вырванную дверь. Костя дернулся помочь.

— Не лезь! — Мороз прислонил дверь к стене казармы. — Все равно не поедешь! Пока то-сё... Кто губаря, кто закоперщик... Ицкович-то поумней тебя, не светился. Так что билет свой Бурмистрову отдай, он пошлет кого, хоть деньги получишь.

— А Ицкович?

— А Ицкович пусть едет.

— Фишель?! — ахнул Костя. — Так ведь это же он...

— Что он? — Мороз обернулся.

— Он... губаря...

ХАРАКТЕРИСТИКА

*на военного строителя Карамычева К.М.,
год призыва — 1968 (июль), русский, б/п, 1949 года рождения.*

За время службы в N-ском ВСО военный строитель рядовой Карамычев К.М. проявил себя как инициативный, исполнительный, выполняющий все уставные требования воин.

За отличный труд, высокую воинскую и производственную дисциплину рядовому Карамычеву К.М. было присвоено звание «Ударник коммунистического труда». Был назначен командиром отделения.

Карамычев принимал активное участие в общественной жизни роты, являлся редактором «Боевого листка» и членом совета библиотеки N-ского ВСО.

Военный строитель рядовой Карамычев К.М. пользовался авторитетом среди товарищей, морально устойчив, политически грамотен.

Характеристика дана для представления в Московский университет.

Командир подразделения:

Доцкин, 1 апреля 1970 года.

«Согласен».

*ВРИО командира ВСО:
Лысодор, 2 апреля 1970 года».*

1987

НА ПОДЛОДКЕ
ЗОЛОТОЙ

НА ПОСУДИНЕ ЗОЛОТОЙ

Мне с детства нравился роман-сказка Ремарка «Три товарища». Это во-первых. Во-вторых, мне давно не нравится, что творится в русском ПЕН-центре, членом которого я являюсь (ПЕН-центр — филиал международного Союза писателей с правозащитным уклоном) и который я вознамерился вывести на чистую воду. О чем и заявил в каком-то интервью. Стало быть, натрепался без острой необходимости. И в-третьих, давно хотел написать про себя сегодняшнего: довольно толстого, довольно лысого, довольно известного, довольно капризного и т.д. Чтобы все по-честному — в лучших русских литературных традициях.

Три вышеперечисленные задачи я постарался совокупить в небольшую автобиографическую повесть «На подлодке золотой».

«Золотая подлодка» — это «Желтая подводная лодка» Битлов в переводе моего свояка Виктора Лунина. Он намеренно опустил высокомерную субмарину до «подлодки», и более того — до «посудины золотой», сразу сделал ее теплой, уютной, гостеприимной.

Вот и мне захотелось воспользоваться подсказками свояка и Эриха Марии Ремарка: и о дружбе поведать, и о серьезном поразмышлять, но только просто, беспяфосно, по-домашнему.

Итак, Роман Бадрецов — это я на девяносто процентов, но на десять лет моложе. Синяк — мой ветхозаветный друган из низов. Ванька Серов — товарищ интеллигентный. Как в сказке. Ну, а КСП — Клуб Свободных Писателей — русский ПЕН-центр.

Да, еще забыл сказать об очень важном. Почему посвящается Белле Ахмадулиной? Потому что моя соседка по дому Белла Ахатовна как-то высказала мне упрек: мол, давно ничего моего нового не читала. И я на лестнице возле лифта поклялся восполнить урон. Сел писать. Писал два года, переписывал пять раз. И вот что получилось.

Быть или не быть?

Не знаю, не бывал.

Иван Серов

*Синь небес, простор морской
на посудине золотой...*

Песня «Beatles».

Перевод В. Лунина

Посадили Ваню Серова на пятом курсе Иняза за перепечатку «Архипелага».

В лагере предложили выйти досрочно, но с условием — постучать.

Стучать не хотелось. Ванька муржил оперов изо всех сил, и, не добившись от него никакого толку, они сдали его солагерникам. Ночью его чуть не зарезали. Ванька башкой пробил верхнюю шпонку и, чудом живой, убежал на вахту.

Потом полежал в больничке, оклемался.

Выпустили его все-таки досрочно, по двум третям. Ваня вернулся на родину, но не в свой Новосибирск, а в деревню поодаль. Пристроился в клубе библиотекарем, решил отсидеться в тишке.

Конечно, он писал стихи. Все-таки из культурной семьи, мать преподавала в Академгородке. И в деревне он тоже сочинял, в основном эпитафии самому себе. «Когда священник отпоет псалом, когда меня сожгут или засыпят, когда друзья за памятным столом, не чокаясь, по первой выпьют, тогда...»

Что «тогда», Иван так и не придумал, а вот в Литинституте, куда он на арапа послал заупокойные стихи, эпиграфии понравились. Его приняли на заочного поэта. Тогда же он второй раз перебрался в Москву, устроился пожарным в театре «Ромэн».

Новых знаний институт не добавил, зато свел с Романом Бадрецовым, а тот познакомил Ваню со своим школьным товарищем Синяком. Синяк как-то приперся в институт и утянул обоих в шашлычную по соседству, где поведал о своей печали: не смог достать билеты на любимого певца Сальваторе Адамо. Синяк, правда, до сих пор считал, что певец — все-таки женщина, исходя из голоса, а поскольку никто не мог его опровергнуть, хотел лично убедиться в своей правоте.

Иван тогда таинственно скрылся из шашлычной. Оказалось, съездил в Лужники, добыл корешок билета и на его основе сотворил роскошные подделки — Синяку, Роману и себе. Выяснилось, что вдобавок к прочим талантам он еще и художник-документалист, достойно поднаторевший на зоне.

И снова не дотянул Иван до диплома — отыскался след Тарасов. Надыбал Ваньку ГБ. Снова попросили поступать. Ванька отказался. В Литинституте о разговоре прознали. Перестали здороваться. Одна лирическая поэтесса прилюдно плюнула ему в лицо. Ванька пошел домой и повесился, да неудачно: сорвался, сломал копчик. От позора Иван бросил институт.

Друзья поддерживали его, как могли. Синяк, сам вразбивку насидевший семь лет по хулиганке, жалел интеллигентного Ивана, поил-кормил, давал деньги. Роман безуспешно пытался пристроить Ванькины стихи по журналам, доставал ему переводы и внутренние рецензии.

Когда раскрутилась перестройка, Иван опубликовал в «Огоньке» статью «Как надо и не надо стучать». Его позвали на ТВ выступить в паре с демократическим генералом ГБ. И тот, раздухарившись, на весь эфир пообещал Ивану выдать его досье. И выдал. Оказалось, посадил Ивана сокурсник.

Потом Иван женился, родил ребенка. Кстати, женился на полуспившейся к тому времени поэтессе, некогда в него плюнувшей. Оборотясь в христианство, она раскаялась и простила ему долги его. А Ванька по слабости характера не смог отстоять даже дочку: жена придумала ей имя Николь. Иван тихо порыпался, смирился и стал звать дочку Коля. Иногда он роптал на свою незадавшуюся судьбу, рикошетом — на жену. Тогда жена резала вены, правда, не смертельно.

Таким образом, семья была. А денег не было.

И Ваня отмочил. Он задумал разбогатеть.

Занесло Ивана не куда-нибудь, а в наркобизнес. Добрые люди предложили отвезти пакетик носопыри в город Тверь. За очень хорошие бабки. Скрепя сердце Иван повез. Потом ждал заказчика в кафе, потягивая «шартрез» и наблюдая, как за окном полуторный низенький бассет вступил тяжелой кривой лапой в собственное ухо — и не мог сдвинуться с места... Объезжая обескураженного песика, на мокром асфальте заскользила машина — врезалась в бордюр, но выскочивший шофер не только не стал ругаться, но и помог уродцу освободиться. Иван от умиления даже набросал эту сцену в блокноте.

Сумка с козлячьим порошком висела на спинке стула.

А дальше как в кино: группа в камуфляже, маски, короткие автоматы, наручники...

Из ментуры, посулив начальнику вознаграждение, он позвонил домой. Жена лыка не вязала. Что отложилось в ее углу сознания, так и осталось невыясненным, но дурь поперла: она в панике выкинула в мусоропровод весь великий свадебный хрусталь, несколько дешевых колечек, а заодно и урну с прахом своего отца, которую третий год не могла собраться захоронить и держала в серванте.

Протрезвев, жена сообщила о звонке мужа Синяку и Роману. Синяк запряг свой «мерседес», и друтаны помчались в Тверь.

Слава Богу, менты взяли деньги. Ивана выпустили, урюмого и вшивого. Синяк хотел выписать ему бабаху на память прямо у ментовки, но тот был такой зачуханный,

запуганный, виноватый, что Синяк кару отменил. Потом поехал на разборку к заказчикам пакости и все уладил. Правда, иной раз Синяк неестественно замирал, напряженно вглядывался в друга, желая постичь, как того уго раздило полезть в неправильное. Пишешь стихи и пиши. Тоже мне, наркобарон колумбийский.

...Сегодня Иван ждал гостей отмечать двадцатилетие своего освобождения из лагеря. Надо было также узнать, от чего на сей раз собрался помирать Роман. Дело в том, что Иван многократно спасал Ромку. Жирный был мнительен и постоянно находил в себе разные опасные болезни — инфаркт, рак, СПИД... Недавно вдруг обнаружил под ребром лишнюю кость. Торчит, и все. Роман, лишившись сна и аппетита, до тех пор подозрительно прощупывал себя, пока Ванька не притащил из библиотеки медицинский атлас и не продемонстрировал на себе, худом, что кость никакая не лишняя, а — обычное ребро, недозабранное в грудину, как и задумано по конструкции.

Ожидая гостей, Иван подстригал бахрому на облохматившихся любимых джинсах — обновлял гардероб.

Первым объявился Роман. Принес джин «Бифитер» и банку килек — любимый харч Синяка. Ванька отложил стрижку штанов, молча предъявил такую же банку и такой же джин.

— Сосуды у нас в мозгах очень общающиеся, — с удовольствием поставил диагноз Роман.

— Кстати, о сосудах, — встрепенулся Иван, — какую опять заразу в нутрях нащупал?

— Эх, Ваня, Ваня, — покачал головой Роман, — я тебе сонник добыл для перевода — забочусь о твоей жизнедеятельности, а ты насмешничаешь над моими недугами. — Роман протянул другу потрепанную брошюрку.

Иван полистал ее.

— С английского?.. А-а, с французского?.. Пойдет. Благодарствуйте.

— Шолом, козлы! — В комнату вломился Вовка Синяк. — Кто дверь не запер, Жирный?

— Жирного не замай, — вступился за Романа Иван. — Жирный болен.

— Чем? — радостно поинтересовался Синяк.

— Панкреатитом, — трагически констатировал Роман.

— Чего ты врешь! Панкреатит у оленей на рогах растет.

Иван под разговор заботливо полюбопытствовал:

— Вовик, ты килечку, часом, не запамятовал?

— Обижаете!.. — Синяк расплылся в белоснежной улыбке и достал из кейса джин и каспийские кильки.

— А зубки где взял?! — удивился Роман. — У тебя их сроду не было.

— Почему? Сначала были, спроси у мамы. Потом прошли со временем.

Роман задрал Синяку губу. Тот недовольно мотнул башкой:

— Чего ты мне в новую пасть руки поганые суешь!.. — Висюля на конце косы больно ударила Романа по носу.

С недавних пор Синяк для изменения имиджа завел новую прическу. Содрал он ее у американского актера Стивена Сигала.

Но с косой он стал больше похож не на супермена, а на немолодую мужеподобную индейскую женщину. Чтобы коса не висела без толку, к ее концу он привесил бронзовый амулет — кулак, и теперь, когда оппонент раздражал его, резко поворачивался, и клиент как бы невзначай получал по физиономии.

— Столом бы лучше занялся. Где салаттики? — капризно спросил Синяк. — Где приклад, где харч?

— Салаттики отпали, — не развивая тему, вздохнул Роман, рассматривая потревоженный нос в зеркале.

— Бухая, что ль? — сморщился Синяк.

— У нее вечером всеношная, — потупившись, защитил жену Иван. — Она отдыхает.

Синяк, разом поскучнев, завалился на тахту, выбив из нее пыль, ткнулся в раскрытый на кроссворде журнал.

— Жирный, из чего у меня шапка зимняя?

— Из нутрия.

– Не подходит. Четыре буквы надо.
– Тогда – нутр, – подсказал Ваня, вскрывая кильку.
– Или выдр, – уточнил Роман, отворачивая джину голову.

– Нутр годится, – кивнул Синяк, утомленно закрывая журнал и потягиваясь. – В Германию пора ехать, а права ушли по утренней росе, по весеннему бризу. Иван, нарисуй права, будь человеком.

Иван растерянно обозревал праздничную снедь на письменном столе: три штофа с джином и три банки килек. Чего-то не то. Он почесал нахмуренный лоб.

– Сделай права... – канючил Синяк.

Иван обернулся.

– Чего? Какие еще права?.. Поди да купи.

Синяк перекинулся на Романа.

– Жирный, у тебя двое прав, сам говорил, поделись с товарищем. А Ванька их малёк подправит.

Роман полез в карман, достал права и кинул Синяку. Иван перехватил их на лету, вбил в глаз черную лупу и циклопым оком впился в документ.

– Мня... Тушь старая... волены много... сироп надо готовить. – Он вырвал увеличительный кляп из глаза. – Тебе когда ехать-то надо?

– Чем позднее, тем хуже, – проворчал Синяк. – А то – обнищал вконец.

– Тогда пойду сахар варить.

И Ваня вышел из комнаты.

Синяк включил телевизор – шла реклама женского белья.

– Кстати, Жирный, надо мне свою половую жизнь упорядочить. У тебя тетки приличной нет на примете?

Реклама кончилась.

– Надо подумать, – сказал Роман, забираясь на велотренажер «Кеттлер».

Синяк выключил телевизор и, чтобы не мешать Роману думать, снова уткнулся в кроссворд.

– Современный прозаик? – пробубнил он. – Восемь букв.

— Бадрецов, — предположил Роман, нажимая на педали. — Хм, откуда у Ваньки «Кеттлер»?.. Дорогая вещь...

— Слышь, Жирный, — Синяк заворочался на тахте, — «Бадрецов» подходит, только с нутром не согласуется...

— Зачем Ваньке тренажер?.. — бормотал свое Роман. — Надо отобрать.

Роман с детства боролся с жиром всеми возможными способами, но ненавистные боковины над задом — «жопы ушки», за которые его всю жизнь щипал Синяк, — не рассыпались. Роман установил рычагом тугую тягу и давил сопротивляющиеся педали.

Синяк остался недоволен его действиями.

— Жирный, ты кончай ехать, ты информацию гони. Насчет бабуина.

Роман изнеможенно откинулся назад, отпустив руль, как велогонщик на финише.

— Тпру-у... Дама есть. Красивая... Длинноногая. Первый муж арап. Второй англичанин...

— Детки?

— Одно. В Кувейте. — Роман слез с тренажера, вытер локтем запотевшее седло. — Дама нуждается в помощи... Силовой.

Синяк на тахте засопел, заерзал, достал электронную записную книжку и, плохо попадая толстым пальцем, стал тыкать кнопочки.

— Давай телефон. Даму беру... Помощь окажу.

Иван на кухне ждал, пока поспеет чайник. В кастрюле кипятились белые трусы. В углу под раковиной, забитой грязной посудой, в стеклянной с одной стороны клетке маялся варан Зяма, размером с кошку. Колька сидела на корточках и дразнила маленького ящера. Варан стоял, прижавшись к стеклу чешуйчатым боком, и нервно подрагивал.

— Папа, Зяма шипит.

Варан в подтверждение ударил хвостом по стеклу. Иван вздрогнул, выключил чайник, помешал деревянной скалкой трусы, насыпал в кружку сахар и залил кипятком.

— Николай, оставь реликт в покое, — пробормотал он. — Твое дело труссы варить.

Активно педагогировать после позорной истории с наркобизнесом Иван стыдился. Помешивая в кружке сахар, он вернулся в комнату.

Роман после велоаезда полуголый лежал на тахте, обмахиваясь журналом.

— Рома... — Иван замер со своей кружкой, подыскивая сравнение. — Ты похож на немолодую бородатую лысеющую одалиску. Такую, знаешь... на любителя. С грудями... Типа — профорг борделя... Кстати, не забудь завтра же подать заявку, что права потерял. А то Синяка тормознут в Германии, проверят права на компьютере — и сидеть тебе, Ромочка, не пересидеть. А скажешь: потерял, и сидеть будет один Синяк.

— Точно, — кивнул Синяк.

Роман отложил журнал и надел рубашку.

— Иван, ты человек худой и бедный, зачем тебе «Кеттлер»? Я же, напротив, человек состоятельный и полный. Отдай его мне.

Валяк опешил, молча пожевал губами, осваивая предложенную логику, уселся за письменный стол и равнодушно произнес:

— Забирай... Вообще-то это подарок... но забирай.

Потом пригнул к столу пружинчатую шею сильной лампы, раскрыл права, выбрал тоненькую кисточку, окунул в горячий сироп, отжал волоски и тихонько потянул прозрачную паутину по фамилии «Бадрецов».

— Каждую букву надо прописывать... — сладострастно ворожил он, высунув от усердия язык. — Вот та-ак...

Синяк оторвался от кроссворда.

— Жирный, мне гараж на две персоны предлагают. Соединиться не желаешь?

— А могилы тебе на две персоны не предлагают? — усмехнулся Роман, заботливо натягивая чехол на обретенный «Кеттлер».

— Теперь подсушить... — колдовал Иван, покусывая пригнутый языком ко рту ус. Обычно, когда он творил — рисо-

вал или сочинял стихи, то свободной рукой вязал бесконечные крохотные узелки в своей роскошной шевелюре великовозрастного инфанта, которые потом с трудом на ощупь выстригал. Иван обернулся к Синяку. — Фотографию давай.

Синяк засопел недовольно.

— Где я тебе в субботу фотку возьму?

Иван медленно поднял на него глаза, ничего не сказал, повернулся к Роману.

— Рома, будь за старшего. В метро есть моменталка. Проследи, чтоб этот придурок глазки держал открытыми.

Иваново предостережение было не случайным. Веки Синяка были татуированы со времен первой юношеской ходки двумя краткими, но емкими словами: «Не буди».

Роман послушно снялся с тахты.

— Собирайся, чучело, — ласково похлопал он Синяка по плечу.

— И купите чего-нибудь к столу, — вдогонку им крикнул Иван.

Проводив друзей, Иван принес из-под ванны, где погнилей микроклимат, две майонезные баночки с замотанными марлей горлышками. На баночках были наклеены этикетки — «муравьи голодные», «муравьи сытые». Раздвижной рамочкой он выгородил промазанного сиропом «Бадрецова Романа Львовича» со всеми прилегающими подробностями, развязал марлю на голодных муравьях, осторожно вытряхнул цепких мурашей внутрь рамочки и карандашом довыскреб особо прилипчивых.

Муравьи разбрелись по тексту. Не лесные, барственые, с тугими обливными пузиками, а крохотные, псивенькие, мелочевка насекомая. Они учуяли сахар, заерзали, выстраиваясь чередой по сладкому следу, и принялись за работу...

У Ивана оказался вынужденный перерыв. Он со вкусом потянулся, вспоминая о своей судьбе, о том, что жена пьяная в соседней комнате, что они с дочкой не жрамши с утра, и сочинил стих в одну строку, даже не один стих, несколько. «Люблю поесть. Особенно — съестное». «Нет,

весь я не умру, и не просите». «О смысле жизни: никакого смысла».

Друзья принесли готовых харчей. Роман, чтобы не отвлекать Ивана, взялся сервировать пол возле тахты на газетах «Экстра-М». Синяк втихаря подсасывал джин прямо, из горлышка.

Иван сосредоточенно следил за муравьями, изредка остро заточенным карандашом подгоняя нерадивых.

— Вместе с сиропом и тушь выгрызут и покакают одновременно.

Синяк, булькнув алкоголем, взрогттал мокрым голосом:

— Какать, может, не надо?

— Ты чем там, чадушко, хлюпаешь? — обернулся на внеплановый бульк Иван.

— Зачем какать? — недовольно спросил Синяк.

— Чтоб тушь не расплывалась. Не нагнетай алкоголь за годя. Жирному лучше пособи.

Синяк сделал обманчивое движение — будто с тахты, но Роман придержал его: сиди, не нужен.

Чтобы порыв не был пустопорожним, Синяк прихватил с пола лепесток ветчины.

— Рассказывай, Жирный, — приказал он. — Развлекай.

— У меня во Франции книга вышла, — начал Роман. — Летом поеду...

— Опя-ять он свое, — скорчил рожу Синяк. — Что же вы по-человечески базлать не можете, все про книги!.. Кстати, Жирный, моя крестная психиатром в отсталой школе для дураков работает. Говорит, твоя книга про меня у питомцев настольная...

— Рома, а где же фото? — раздраженным на всякий случай голосом рассеянно спросил Иван. — Фоту сделали?..

Роман протянул ему фотографию.

— Да-а... — задумчиво произнес Иван. — Такое лицо может любить только мама. Хорошо, косы не видно. Скажут, гермафродит.

— Кого? — насторожился Синяк.

Наконец муравьи закончили свою работу. Ванька загнал их в «сытую» банку. Достал батарейку «Крона». От ба-

тарейки тянулись два проводочка, оканчивающиеся обнаженными жальцами. Он легонько совокупил проводки — стрельнула искорка. Ванька снова вбил в глаз черный цилиндр и еле заметными движениями начал подковыривать искрящимися электродиками недовыеденные фрагменты текста.

— Потом проварить в щавелевой кислоте, подstarить... — бормотал он и, закончив свою ворожбу, со стоном разогнулся.

— Наливаю, Иван? — нетерпеливо спросил Роман.

— Не ломай традицию, — напомнил Синяк. — Пусть Иван сначала стих зачтет.

— Можно, — кивнул мастер и заговорил давнишними своими тюремными стихами, которыми в свое время, еще в шашлычной при первом знакомстве, навсегда покори́л Синяка.

— Значит, время прощаться, коль вышло все так, как все вышло. Повторите, маэстро, — пусть звуки заменят слова, только скрипку печальней, оркестр — потише, чуть слышно, только тему надежды — пунктиром, намеком, едва...

— Ну, быть добру! — провозгласил Синяк тост. — Шолом, козлы!

Пили старательно. За двадцать лет Ванькиной свободы, за новые зубы Синяка, за книгу Жирного, вышедшую в далекой Франции, за дружбу, за любовь...

Когда наступил перекур, Иван, лениво ковыряясь в зубах, вяло поинтересовался:

— Рома, за кого ты нашего Вовика сватаешь? Она окрашена в обручальный цвет? Прошу подробности.

— Даму зовут Александра, — сдержанно сообщил Роман. — Правда, Михеевна. — И смолк.

— Что-то ты подозрительно немногословен, — заметил Иван. — Не со своего ли плеча?.. Инцест грядет?

— Дама — коллега, — уклонился от вопроса Роман. — Коммерческий зам. Сикина. Генерального директора нашего КСП. — И продолжил: — Инцест отчасти есть. Плюс-квамперфект.

— Кого? — нахмурился Синяк.

— Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой... — перевел Ваня.

— Да она еще за такого чмо и не пойдет, — набивая цену, сказал Роман.

— Ладно вам дуру гнать, — оскорбился Синяк, — я для вашей Михевны волшебный принц из детской сказки.

А Иван озадачился другим.

— Как директора фамилия, говоришь? — спросил он, извлекая из кильки нежный хребет.

— Директора? Сикин, — удивился любопытству Ивана Роман. — Юрий Владимирович Сикин. А чего ты весь набряк, как золотушный?..

Ванька медленно облизнул губы.

— Сикин, говоришь? — проглотив помеху в горле, выдавил он.

— И ты его знаешь? — удивился Роман. — Сочувствую.

— Юру Сикина я знаю хорошо, — медленно, чуть не по складам произнес Ваня. — Языки вместе учили иностранные... Юра Сикин меня посадил.

2

Юрий Владимирович вошел, как всегда, несколько смущенный. Саша не стала дознаваться, с чего это начальник заявился в нерабочий день да еще в такую рань, — обычно он приезжал к ней на буднях, и отправилась в ванную.

Встала под душ, по привычке глянула в зеркало. Губы и веки она делала еще в Англии: пять лет без забот — ни подводить, ни красить. Открыла рот: зубы плотно пригнаны друг к другу без единой червоточкины, пломбы беленькие, незаметные... Грудь? Грудь как грудь, с учетом возраста. Ноги? Ну, ноги — ее гордость.

Заранее морщась, Саша повернулась к зеркалу боком и привычно вздохнула. На границе попы и спины выделялся лоскут кожи, не соответствующий общему покрову. Это отец ее пятилетнюю в родном городе Холуе ошпарил пойлом для поросенка.

По случаю выходного дня Саша вставила бирюзовые контактные линзы вместо зеленых повседневных, благоуханная, впорхнула в комнату, красиво скинула кимоно. Но... Юрий Владимирович не лежал, где ему полагалось, а сидел согбенно за обеденным столом в очках на шнурочке, насупленный, обремененный раздумьями, похожий на немолодого дурака. Однако!.. Саша подняла кимоно, встряхнула у начальника перед носом, как бы сбивая пыль, на самом же деле отрясала сексуальный налет ситуации, теперь уже абсолютно исключенной.

Юрий Владимирович очнулся, заданно потянулся к возлюбленной, но возлюбленная — коммерческий директор КСП — Клуба Свободных Писателей — Александра Михеевна Джабар решительно отвела его руку, надела кимоно и ушла на кухню готовить завтрак.

Юрий Владимирович от роду был крупный высокий мальчик, но имел некрасивую фамилию Сикин, что очень мешало ему в юности жить. Пять букв, а сколько слез! Из-за ненавистной фамилии Юра пошел в бокс. Но там было больно. По дороге с бокса его перехватил гребной тренер и увлек в гулкий бассейн, где в неподвижной лодке дырявыми веслами усталые гребцы черпали вонючую воду. В секции был недобор.

К концу года он нагреб на первый разряд, а через два «мастер спорта» помог ему при поступлении в Иняз.

В институте Юра заинтересовался религией, в смысле продажей икон. Его пригласили в деканат, после чего увлечение религией прошло. В деканате ему посоветовали активнее интересоваться студенческой жизнью.

Проклятую фамилию от свел-таки позже псевдонимом «Суров», когда вступал в Союз писателей, для чего перевел три поэмы греческого коммуниста. Мечтал он быть дипломатом, разведчиком, а стал поэтом-переводчиком, литератором, короче говоря, никем. Но документы ему удалось переименовать на «Сурова». Некрасивая фамилия осталась только в узких сплетнях. Еще был у Сикина маленький аккуратный женский носик, который покрывался

капельками пота после принятия алкоголя. Поэтому Сикин старался вообще не пить и всегда был трезв.

...Тахта все еще была призывно расстелена. Юрий Владимирович решительно снял пиджак и туфли, чуть менее решительно расстегнул брюки... Но жена ждет овощей с рынка, дочке обещал пойти на собачью площадку...

Саша залила сваренные яйца холодной водой, поставила на поднос забытую соль и понесла завтрак в комнату.

Муж ей не нужен. В Англии есть один, хватит. Мужик ей нужен, да основательный, не трус, не зануда, желатель но с деньгами. Желательно сексуальный. А с Юрой не секс — гробовое рыдание, делово-половой очень тщательный акт. Саша прекрасно осознавала, что того, что ей требуется, практически не бывает. А значит, меньше требований, Александра, а то так со своими капризами и запросами не заметишь, как выстаришься напрочь...

Юрий Владимирович виновато принял у нее поднос, попытался улыбнуться, но улыбка получилась недоделанная. Он за гребень снял вязаного петушка с насиженного теплого яичка, колупнул макушку, но почать яичко не пришлось — под окном истошно завыл автомобиль.

— Сигнализация, — виновато и частично обрадованно, что все разрешается само собой, пробормотал Суров, натягивая пиджак. — Днем постараюсь...

— Новую сигнализацию поставь, на дерьме экономить, — как можно спокойнее, задавливая раздражение, посоветовала Саша и добавила, отворачиваясь: — Днем я занята.

Юрий Владимирович так печально, так униженно заинтересовался, чем, что Саша брезгливо — ну, какой с таким секс! — пояснила сквозь зубы:

— Бадрецов обещал своего товарища сегодня прислать, крутого. Поедем негров выселять.

— Дай Бог, — виновато вздохнул Суров, делая жалостливое лицо.

— Уходи, Юра, — попросила Саша.

Год назад она сдала свою новую, только что купленную квартиру неграм, а теперь вот никак не могла их выгнать.

И вынуждена теперь снимать чужую халупу. А негры тем временем и квартиру загадили, и телефон им за неуплату сняли. И управы на них нет — с детьми милиция на улицу не выгоняет. Да баба еще дополнительно рожать намылилась, сучара!..

От грустных размышлений ее оторвал звонок в дверь. Юра забыл очки.

Он их так близоруко искал, хотя они лежали на видном месте, что Саша смягчилась.

— Юра, а чего ты приходил-то?.. По делу?..

— Да, понимаешь... — забормотал Суров. — На автоответчике слова...

— Ну? Чего там?

— «Сикин, не ходи тропой Моисея, вспомни лучше Ванюшу Серова», — потупившись, проговорил Суров.

— Что за ахинея! — поморщилась Саша. — Кто такой Сикин?

— Н-не ахинея... — И Суров, слегка заикаясь и подвигаясь, рассказал, что в принципе он вообще-то Сикин.

3

Абд эль Джабар, Алик, первый муж Саши, не стал тогда тянуть, не хочешь быть второй женой, уезжай. Аллах с тобой! Он произнес при свидетелях три раза традиционное бракоразводное заклинание «Талеп таяти!», что по-нашему означает «пошла вон», и полразвода состоялось. В шариатском суде он, испугавшись, что Саша потребует денег в компенсацию, заныл было, что только два раза сказал «Талеп таяти!», а вместо третьего просто чихнул, но свидетели подтвердили, что то был не чих, а слова. Развод состоялся окончательно. Суд потребовал, чтобы Абд эль Джабар еще три месяца посодержал бывшую жену, дабы удостовериться, что она не беременна на кувейтской территории и, стало быть, не сможет в дальнейшем иметь претензий к государству.

Дочка Фируз оставалась в Кувейте. С отцом и пятнадцатилетней чернокожей мачехой, новой женой Алика. Фа-

тима была из бедной семьи потомственного суданского феллаха, девушка ласковая и спокойная. Она поклялась на Коране быть маленькой Фируз вместо матери и попыталась еще раз отговорить Сашу разводиться. Саша настолько ей доверяла, что рассказала про роман с англичанином — преподавателем английского из «Бритиш каунсел»; у англичанина кончается контракт в Кувейте, и он хочет на Саше жениться. Фатима все поняла, будто и не арабка.

Напоследок Саша внимательно обозрела теперь уже бывшего мужа. И едва удержалась от хохота. В бабском га-лабей до пят, похожем на ночную рубашку, да еще если учесть, что под ним желтые ниже колен трусы и футболка... И это тот самый граф Жофрей из «Анжелики», что смутил когда-то ее девичий покой!.. Институт из-за него бросила!.. Отец тогда предупреждал: «Гляди, Шурка, морду чадрой обмотают, дальше гор ничего не увидишь!..» Жофре-ей!..

Оказалось, простой араб. Инвалид. Чурка, короче. Про ногу хромую все наврал. Не на войне сломал, а поддавши, на мотоцикле. Кстати, и пил он, несмотря на религию, будь здоров, только втихаря. Не зря в России учился.

Какая там война, он палец порежет, весь трясется. Гра-аф!..

Абд эль Джабар стоял перед ней и сосредоточенно плевался. Был Рамадан, и бывший муж во время поста усиленно демонстрировал свою правоверность: мол, не только воды не пьет, даже слюнями собственными брезгует. Тьфу!

Но до последнего момента Саша хотела, чтобы все было по-культурному, цивилизованно, даже по-родственному впрок наставляла Фатиму, чтобы та не употребляла розового масла. Ведь Алик привык к европейскому парфюму.

Если бы он не распоясался напоследок, все бы прошло спокойно. Развелись, и уехала. Но тот на прощание все-таки подгадил. Заявил, что Саша в самом начале была не совсем девица. На что возмущенная Саша напомнила ему мудрость из Корана: «Обвинять целомудренных могут

только распутники». Это сказал Аллах в передаче Фатимы, которая была на ее стороне.

От себя же лично Саша пообещала, что, если еще раз прозвучит незаслуженное обвинение, она заявит в шариатский суд. Хотя она и не мусульманка, но и Кувейт, слава Богу, не Саудовская Аравия. Ее выслушают, примут во внимание триппер, который Алик привез из Бейрута, куда ездил с друзьями блядовать, и о котором по трусости проболтался Саше; изучат пустой флакон из-под антибиотиков, трусы со следами болезни, которые Саша припрятала на всякий случай, и Абд эль Джабар получит по жопе за оговор. Жалко, что в переносном смысле. Кувейтцев палками не бьют во дворе шариатского суда, что на улице Эль-Халидж. А наказать его в пользу поруганной жены на пару тысяч динар, чтобы неповадно было, могут запросто.

Но оговаривать больше бывшую жену Алику не пришлось: Саша улетела в английский город Брайтон вместе с новым мужем Биллом, заключив с ним брачный договор в нотариальной конторе по упрощенной процедуре, ибо мусульманства Саша не принимала.

Но Англия обернулась не той Великобританией, которую предполагала увидеть Саша.

Трехкомнатная квартирка в два неудобных этажа громко скрипела каждой половицей. Кухня внизу выходила в узкий, кишочкой, садик, обнесенный сплошным некрашеным забором. На задах садика две запущенные грядки, покосившийся сарайчик, куст шиповника, по-бабьи повязанный красным платком, и пенёк, лохматый от перезревших опят. По утрам в соседнем дворике психопатическая немецкая овчарка, завывая, обгрызала кору почти уже засохшего дуба. Рыжая кошка в зеленом ошейнике паслась на стриженном колючем газоне.

Мебель в доме была хоть и мягкая, но старая, обитая потертым расплзающимся гобеленом; менять ее Билл категорически отказался — наследственная. Одним словом, не закайфуешь... А впрочем, малость ты завралась, Александр. Был кайф — и немалый! И окна прямо на море.

И абажуры старинные из травленого шелка; и бытовая техника вплоть до вделанной в раковину дробилки, пре-вращающей все отходы в жидкое месиво, без засора утекающее в слив. А зайцы поутру в садике!.. Серые пушистые бугорки, лениво перебирающиеся с места на место...

А рыболов!.. Мужик в плаще каждое утро возле их дома ловил в Ла-Манше на трехкрючковую мормышку полуметровых непугливых рыб, похожих на лососей. Саша из окна второго этажа советовала, куда кинуть снасть. Рыболов кивал ей: «Сенькью», — и дарил лучшее из улова.

И главное — по утрам ее нога не натыкалась в постели на кривую волосатую ногу в бабьем трико. Да и не это главное. Главное: Билл ей ни разу не сказал слова «нет», как будто такого слова не было вообще. Любое несогласие он предварял тихим «может быть...». Ну, не говоря о том, что подавал пальто, открывал перед ней дверь, вставал, когда она входила, что для англичан его возраста, запуганных оголтелыми феминистками, было редкостью. Билл рассказывал, как уже был бит в автобусе одной беременной бабой за попытку уступить ей место.

Да-а... Он открывал дверь, подавал пальто, вставал, когда Саша входила, а в ней тем временем нарастало раздражение на Билла. И на то, что он, шотландец, обижался, когда Саша называла его англичанином. И на то, что раз в месяц он регулярно навещал родителей в Глазго, с гордостью привозя оттуда местные шотландские фунты с изображенным на них угрюмым мужиком, которые не принимали в магазинах Брайтона. Бесило ее теперь и то, что в Эль-Кувейте очаровывало: как Билл подает левую руку для рукопожатия вместо правой, загадочно не поясняя причину такой подмены. Да, многое, многое ее теперь раздражало. И калоши, которые носил в портфеле, и преувеличенно толстый «паркер», и очки-половинки, и плащ поверх пальто в плохую погоду...

Вечерами хорошо одетый нищий с потушенной сигарой во рту неспешно копошился с фонариком в мусорном баке. Саша говорила с ним за жизнь. За его жизнь, за свою, за дочки Фируз. Про дочку она говорила размыто.

Нищий слушал, не переставая палочкой ковыряться в ящике, кивал понимающе, на самом деле не понимал, что леди имеет сказать. А леди имела что сказать.

Пару лет Билл исправно шел после работы домой. Он преподавал английский на подготовительных курсах университета.

Обед, садик, телевизор... А на третьем году стал возвращаться преимущественно через паб, как правило, пьяный, порой облеваный, почище мужиков в родном Холуе. И уже совсем не похожий на Шерлока Холмса с трубкой, каким казался ей в Эль-Кувейте. А в свободное трезвое время — гольф.

Сашенька пыталась завести себе недостающего европейского ребеночка, но при помощи Билла тот не заводился. Вскоре выяснилось, что причина пьянства мужа еще и в этом, и Саша пошла работать. Переводчицей.

Одна группа состояла из писателей и их жен. Писатели рвались поглазеть на проститутку, жены донимали магазинами. Сопровождал группу Юрий Владимирович. Он был без жены, в глаза не заглядывал, был внимателен. Нанял машину и отдельно от группы свозил Сашу в усадьбу писателя Киплинга, который сочинил «Маугли». Вокруг усадьбы на промытых изумрудных полях серыми валунами лежали толстые овцы. Возле водяной мельницы, которую писатель завел у себя в поместье, неспешно сновали бурые крысы, похожие издалека на уток. А вблизи и вправду: у запруды лежали утки, а между ними бродили ленивые, спокойные крысы. Никто из посетителей их не гонял.

В промежутках между туристами Саша скучала по дому в Холуе, хотя она старалась всегда избегать некрасивого названия малой родины, заменяя его на город в Ивановской области. Еще скучала по дочке.

Одинокими нетопленными вечерами она подолгу стояла на кухне у горки с приданым — расписными лаковыми шкатулками. Пышногривые кони, раскинув в стороны оскаленные запаленные головы, мчали по заснеженным просторам сани; круглолицые румяные одинаковые девушки

ки с белозубыми чубатыми парнями катились с горок на салазках... И никакого изменения в ее жизни не предвиделось.

Не хотелось Саше согласиться с тем, что жизнь ее кончилась, и она плакала.

И в эту печальную пору случился очередной заезд Юрия Владимировича. Узнав, что сестра Саши работает в Холуе на фабрике миниатюр начальником ОТК, он предложил поторговать здесь, в Брайтоне, шкатулками. Тем более что вскоре будет международный театральный фестиваль и директором назначен его знакомый.

Перед фестивалем Суров привез из России первую партию шкатулок с едва уловимым браком. Директор фестиваля отвел им в Культурном центре подходящее место под ларек. Наторговали знатно. Барыш разделили по-честному. Третью часть — сестре в Холуй.

Жизнь у Саши пошла веселее. Скоро она купила машину, а через год открыла маленький магазинчик. Кроме шкатулок Юрий Владимирович привозил и другую русскую национальную ерунду. Все наладилось. Скорее бы только дочка приехала — они вместе съездят в Россию.

...И вот наконец появилась Фируз. Яркая, модная по-европейски и по-восточному отводящая глаза от малознакомой женщины, своей матери.

Вечером Саша поднялась к ней наверх. Фируз стояла, держа в руках Коран. Саша что-то вякнула насчет обеда ужина, но та жестом попросила ее выйти. Больше Саша старалась не влезать в жизнь дочери и не смущать ее нелепыми разговорами о поездке на далекую русскую родину.

А через некоторое время ночью пьяный Билл назвал Сашу «Фируз». И сама ситуация, и голос не предполагали случайную оговорку.

На следующий день муж довольно спокойно подтвердил высказанное ею опасение и предложил ей отныне супружескую жизнь «по sex». Фируз же вежливо извинилась перед матерью, сославшись на женскую восточную покорность.

Саша стала думать, что делать. Наверное, надо было покончить с собой. Но этого Саше не хотелось. Она посоветовалась с адвокатом: наказанию Билл не подлежал — Фируз была совершеннолетней, во-первых, а во-вторых, отчим падчерицу до приезда в Англию в глаза не видел и, стало быть, налицо заурядная половая связь, роман.

Саша решила попросить помощи у Бога. Каково же было ее изумление, когда в Нью-Баркли, где должна была находиться по справочнику «Ортодокс черч», на фронто-не здания рядом с православным крестом протянула в небо семипалую растопыренную ладонь еврейская мино-ра!..

Выяснилось, что денег на содержание храма не хватало ни у евреев, ни у православных (а англичанам было наплевать на тех и на других), и потому для экономии они объединились и служили через раз. Один уик-энд — очередь православных, следующий — иудеев. В таком храме искать заступничества у Бога Саша не решилась.

Все бы ничего, но уж очень Саше хотелось наказать Билла, изменить ему, уравновесить ситуацию. Она даже стала присматриваться с этой целью к изящному директору фестиваля, но он, как выяснилось, был не по этому делу. Она зачастила на пляж, где решила загорать без лифчика, но, несмотря на Сашину красоту, успехов пляж не принес. Даже когда она, полуобнаженная, просила молодых мужиков прикурить, помочь установить зонтик или открыть неподдающуюся бутылку, просьба исполнялась всегда вежливо, но формально. На север надо было ехать, в Манчестер или Ливерпуль! Там мужики активнее, а здесь одни голубки!

И тут снова появился Суров — и проблема разрешилась сама собой...

Суров был на седьмом небе, клялся в вечной любви, обещал, обещал, обещал...

Таким образом, Саша утвердилась в своей неотразимости, в которой за время семейной жизни успела засомневаться. Утвердиться-то утвердилась, но кайфа полового не словила.

На животноводческом языке такое недопокрытие называлось пробным, а недоуестественный бычок — пробником. Его применяли, чтобы возбудить достойную, темпераментную корову перед основным осеменением. Дома, на ферме, где Саша летом подрабатывала в старших классах скотницей, пробникам во время пробы подвязывали фартук с противозачаточной целью. На ферме этот процесс выглядел очень смешным. Здесь, в Брайтоне, с Юрием Владимировичем, к сожалению, — тоже.

Тем не менее Суров помог Саше купить квартиру в Москве, устроил к себе на работу заместителем.

А магазинчик в Брайтоне вполне мог функционировать и без хозяйки: уже два года в помощницах у Саши состояла очень толковая сестра Юрия Владимировича, выехавшая из России на неприметном индусе-англичанине, инженеру по лифтам.

4

Обещанный Романом Бадрецовым крутой подняться к Саше поленился — просто погудел снизу машиной.

Саша спустилась, села в «мерседес».

— Саша.

Крутой небрежно кивнул. Он оказался малосимпатичным. Огромный, морда бандитская, пухлая, на шее цепь с крестом, сзади коса. Крутой повернулся. Саша заметила на его веках недовытравленную татуировку «Не буди». Ничего себе дружок у писателя!

— Четвертая форсунка текёт, — пробурчал он, заводя машину. Голос грубый, похмельный, корявый. Зачем она с ним связалась?

Мотор заработал, двигатель застучал ровно, как маленький трактор. В салоне запахло соляжкой. Значит, дизель. У нее в Брайтоне тоже была «школа»-дизелек, так же тархтела.

Синяк почесался спиной о спинку кресла.

— С бодуна спина кружится и глаза чешутся.

– Почесать? – эротическим голосом спросила Саша. Синяк вида не подал, но про себя отметил: отменное бабло. Еще когда из подъезда выходила, он ее уже оценил. Вся пойдет по люксу. Ноги достойные, длинные, с едва уловимой кривизной, в которую даже не хотелось верить – так классно было все вместе взятое. И высокая – не по возрасту: в их поколении таких длинных не было. Конечно, не школьница, а на кой ему малолетка, пузыри пускать?

– Противно, – проворчал он, симулируя невнимание. – Капает и капает с утра... Противно...

Саша отметила, что понравилась бугаю и он порет ахиною, стараясь быть покруче, понезависимее. А куда ты денешься, дружок, мы еще посмотрим, кто кого...

– Надо медную шайбочку отожженную подложить под форсунку, – посоветовала Саша и констатировала по взгляду Синяка, что достала. – Только закручивать с небольшим усилием, чтобы не порвать металл.

Бугай протянул к ней лапищу.

– Володя... Вова... Синяк.

– Дамам руку не суют, – улыбнулась Саша, набирая обороты. Забрало козла крапчатого. – А я думала, вы убитый. – Саша только что долистала автобиографическую повесть Романа, где фигурировал герой под фамилией Синяк, и в подтверждение привела на память последние слова из книги – «Открыть гроб полковник Синяк не разрешил». В гробу... вы?

Синяк кивнул с удовольствием.

– Я. Жирный, паразит, меня всю дорогу то замочит, то оживит.

Он достал из-под сиденья тапки, снял туфли – носок о каблук, переобулся. Все это, не останавливаясь, не снижая скорости и не глядя под ноги.

– Специально обувь приобрел в связи визита к вам... Полуботинки. Жмут в мысах. Выкину – и весь сказ до копейки.

– Не надо выкидывать. Намочить носок спиртом, носить – и нет проблем.

Синяк хмыкнул. Саша ему все больше нравилась. Надо ее в горизонтальное положение побыстрее уложить. Жирный, сволочь, знал, что дарит.

— Куда едем? — спросил он погрубее, чтобы не разомлеть.

Саша назвала адрес. Синяк притормозил у ближайшего автомата, вылез из машины в мягких стариковских тапочках. Не успел он поговорить и отъехать метров сто, на животе у него заикал пейджер. Он отщипнул приборчик, протянул Саше.

— Глянь, очки лень обувать.

— А почему не мобильный? — спросила Саша.

— По нему базлать надо, а пейджер — молча.

— «Базар дошел. Будем в двенадцать», — прочитала вслух Саша.

Синяк позвонил в нужную квартиру. Глазок зашевелился.

— Кто там?

— Домофоны ставим, — сказал Синяк грубовато, попростому.

— Не вызывали, — отозвалась дверь визгливым бабьим голосом.

— Оргкомитет района домофоны монтирует. В связи криминогенной обстановки и близости к вокзалам. Постановление магистрата мэрии столицы.

Саша, приоткрыв рот, с интересом слушала ахинею. Дверь не сразу, но отворилась. На пороге стояла эффектная крашенная блондинка. Увидела Сашу и хотела закрыть дверь, но куда там — Синяк вставил в щель здоровенное копыто в тапке.

— Я милицию вызову! — взвизгнула блондинка.

— Зови, — кивнул Синяк.

Он отодвинул ее в сторону и шагнул в квартиру. У тапочек были заломлены задники.

— Вы бы уж лучше босиком, — брезгливо вякнула блондинка, чтобы скрыть обеспокоенность.

— Босиком зябко, можно ноги простудить. — Синяк обернулся и внимательно обозрел женщину. — А слух был,

что дело к родинам. А визуально — голяк на базе. Когда рожать будем, хозяйка?

— А вам какое дело! — огрызнулась дама, потуже запахивая короткий халатик. Она повернулась к Саше. — Я же вам русским языком сказала, будут деньги — заплатим. Разве не ясно?

— Да-а... Круто... — Синяк сделал вид, что опешил. — Придется брать за яйца и производить поворот в прогрессивную сторону. Иначе никак.

— Что-о? — теперь уже опешила блондинка. И Саша тоже.

Синяк зашел на кухню, уселся на изувеченный мягкий стул из гарнитура, перетянутый широким скотчем. Стул под ним закричал, намереваясь развалиться. Синяк спешно пересел на табурет.

— Мня, — сказал он, снял кепку и принялся расплетать косу, по-бабьи — на плече. — Приболел стульчик... Так было, Александра Михеевна?.. Молчим и плачем?.. Значит, не было.

Саша не плакала, хотя без слез смотреть на разор, учиненный в любимой квартирке, ей было тяжело.

Синяк отцепил от косы бронзовый амулет-кулачок и перетянул конец косы аптечной резинкой.

— ...Таракашек развели... — Он, улыбаясь, сощелкнул с кухонного стола неторопливое насекомое. — Это правильно, без домашних животных скучота и сердцу остода. Значит, хозяйка, съезжать с хаты категорически не хочешь и башлять не жаждешь. Тогда отдыхай. А то бы — ехала в Африку, там нынче тепло... — Тут Синяк запнулся — в кухню вошел здоровенный негр в «адидасе». — Кстати, про Африку, — продолжал Синяк, уставясь воспаленными с похмелья глазами на негра. — Мы когда в пустыне работали, реки поворачивали, мы ослов рабочими оформляли: Иванов, Петров, Сидоров. Потом ослов продали, деньги пропили. Сидоров, правда, сдох. У вас как фамилие?

Саша не поспевала за трепом Синяка, но нагнетаемую этим трепом угрозу ощущала буквально кожей. Наверное, что-то похожее почувствовал и негр, он побледнел.

— Уходите отсюда, — негромко сказал он.

Синяк стянул с крючка кухонное полотенце, обтер шею. Потом достал из нагрудного кармана торчавшую, как карандаш, сигару, обрезал ей прямо на столе конец, закурил.

— Утром еду за Михеевной, а на дороге прям мертвый труп лежит. Чего лежит без толку, не знаешь? — Он вытянул перед собой растопыренные ладони. Указательный палец на правой руке был короче и порос на торце черными волосами вперед. — И руки у меня дрожат. Крупноразмашистый тремор верхних конечностей. Синдром Корсакова. Не пей вина, сколько раз себе говорил. Все без толку. И палец у меня короче нужного. А почему? А потому. Оторвался при разборке вооруженной. В больнице пришили на грудак. Месяц ходил, как Сталин. Не попысать толком, ни зашнурковаться. Потом отрезали от груди — гибче стал, но с волосами...

«Всерьез или бред?» — подумала Саша, услышав, как напряжение в ней спадает. Не зря про него Роман повесть написал.

— Чего говорю, — продолжал Синяк, стряхивая пепел с сигары в чашку с кофе. — У меня друтан, Ванька, разумеется, стихи слагает порой. В одну строку. К примеру: «Я не люблю, когда меня не любят».

В кухню тем временем вбежал очаровательный голый негритенок лет пяти, сандаловая статуэтка, хотя нет, слишком вонючая — должно быть, прямо с горшка. Он подбежал к Синяку и стал отчаянно молотить его по колену черным кулачком.

— Покупаю! — заорал Синяк, подхватывая негритенка на руки.

Блондинка рванула сына к себе. На втором рывке Синяк отпустил ребенка — мамаша с дитем в руках отлетела к холодильнику. Негр шагнул вперед. Синяк даже не пошевелился, только лапой помахал.

— Но пасаран! Без рук!

И тут раздался звонок в дверь.

— Ну вот, — удовлетворенно пробурчал, подымаясь, Синяк, — а ты говоришь. — Хотя никто ничего не говорил, только поскуливал испуганный негритенок.

Синяк открыл двери. В переднюю вошли двое одинаковых парней: короткие кожаные куртки, широкие штаны, черные вязаные шапочки.

Парни прошли следом за ним, как бы выдавливая негра с семейством из сразу ставшего тесным пространства кухни. Попили кофе, сказали «спасибо», чашки опустили в раковину. Встали и молча вышли из кухни.

— Посиди тут, — сказал Синяк Саше, сам же пошел за парнями.

— Где ваш муж, мадам? — спросил Синяк, и Саша не узнала его голоса.

В прихожей стало тихо, видимо, Синяк с парнями вошли в комнату. Саша на цыпочках пробралась в пустую переднюю.

— Ты русский язык понимаешь? — чеканил за дверью вопросы Синяк. — Слух, зрение в порядке? Тогда слушай. Ты должен деньги! Ты понял?!

Из комнаты выскочила ошалевшая от страха блондинка. По лицу ее, размывая макияж, текли слезы. Она рванулась к Саше.

— Я знаю, кто это... — прикрыв ладонью дрожащий рот, доверительно прошептала она. — Они выбивают деньги...

— Угу, — улыбнулась Саша. — Выбивают.

Дверь в комнату была приоткрыта. Саша заглянула внутрь. Синяк стоял вплотную к негру. Они были одного роста, только Синяк в полтора раза шире. Парни скромно расположились за Синяком, расставив ноги и одинаково сложив руки на причинном месте.

— Слушай внимательно, — сказал Синяк, стряхивая с плеча негра несуществующие соринки. — Ты идешь во двор. Звонишь. Если через час деньги не будут, ты поедешь с ними. Покататься. Ты понял, любезнейший?

Синяк протянул руку в сторону, как хирург. Один из парней вложил в нее жетон.

— На разговор тебе десять минут. Вперед! Время пошло!

Негр исчез. Синяк с помощниками расположились на ковре, достали карты. Блондинка с ребенком заперлись в ванной. Саша вошла в комнату.

— А если милиция?

Синяк усмехнулся.

— В вашей квартире ваши друзья...

Негр прибежал скоро. Он с размаху сунулся в комнату, открыл было рот, но Синяк, не оборачиваясь, в зеркало платяного шкафа еле заметно погрозил ему укороченным пальцем: жди.

Когда доиграли партию и собрали карты с ковра, Синяк кивнул негру: рассказывай.

— Деньги будут. Уже везут...

Синяк задумался.

— Ладно, братцы, свободны. — И повернулся к негру. — Документы давай. Паспорт...

Негр протянул Синяку паспорт, Синяк передал парням.

— А паспорт мадам? Свидетельство о браке? Метрика пацана, ключи от машины, права, техпаспорт? Ребятам покажешь, где машина стоит.

Парни попрощались и вместе с негром ушли. Через час в квартире появились директор фирмы, где работал негр, и кто-то из посольских. Саша начала было что-то объяснять по-английски, но директор сразу, без глупостей, достал бумажник.

— Две тысячи? — уточнил он.

— Речь шла о четырех, — мягко поправил Синяк. — Издержки, знаете ли, помощники...

— Знаю, — кивнул директор, — но у меня только две.

— На две можно расписку. Сутки на добор, — разрешил Синяк. — Кстати... А где мадам?

Появилась блондинка.

— Знаете, красавица, почему отключен ваш телефон? — спросил Синяк.

— За неуплату междугородных разговоров... — пробормотала, запинаясь, она.

— Правильно, — кивнул Синяк, улыбаясь. — За разговоры. Только не междугородные. Вот справочка из телефон-

ного узла. Муженек ваш, мадам, вот этот, темной ноченькой звонил специальной суксуальной барышне и под ее аккомпанемент надročил в кредит две тысячи баксов.

— Может, это не он, — пролепетала блондинка.

Синяк погладил негритенка по курчавой голове.

— Тогда он.

5

КСП — Клуб Свободных Писателей — открылся несколько лет назад на бульваре в центре Москвы в помещении бывшего альманаха «Поэзия». Вместе с помещением Клубу Свободных Писателей достался и Суров, многие годы проработавший в покойной «Поэзии». На двери его кабинета теперь висела табличка: «Всемирная организация писателей. Московская штаб-квартира КСП. Генеральный директор Суров Ю.В.».

По международному уставу ему полагался чин исполнительного секретаря, но, когда Юрий Владимирович заказывал себе визитные карточки, в текст вкралась ошибка, и должность была завышена. Исправлять ошибку не посчитали нужным — суетно и накладно.

Зарубежные коллеги, по примеру которых был организован КСП, презентовали «субару», ту самую, с капризной сигнализацией, на которой Суров ездил на работу, иногда с утренней остановкой у Саши; также подарили подержанную оргтехнику.

Секретарь французского отделения КСП, горбатенький старичок, привез в подарок медикаменты, в основном просроченные поливитамины.

Задач у Клуба было две. Первая — обмениваться творческим опытом со своими и зарубежными коллегами; вторая же — если кого-нибудь из пишущей братии прищучат власти, всем миром вступаться.

Опытом члены Клуба обменивались по-прежнему без посредников, самостоятельно. Инакомыслие же в России прекратилось в связи с учреждением демократии. Для малопродуктивной правозащиты остались только коллеги из

ближнего, главным образом юго-восточного, зарубежья. Но интерес КСП к чужим делам законно раздражал и центровую власть и местную, а также отвлекал от главного — полноценных международных общений: конгрессов, симпозиумов, «круглых столов»... А эта сфера деятельности Сурова удачно смыкалась с его бизнесом в Англии, в чем ему весьма помогло высокое международное положение Клуба.

Все бы ничего, да был в биографии Сурова один прокол. В августе девяносто первого он явился на работу в черном торжественном костюме с галстуком — посмотреть по служебному телевизору любимый балет «Лебединое озеро». Весь облик его в тот день дышал подъемом и воодушевлением.

Этим обстоятельством позднее его частенько донимал Роман Бадрецов. Суров для успокоения определил Бадрецова на очередную халяву с творческой группой в Бухарест, но неблагодарный Бадрецов хоть в Бухарест и съездил, угодив в тамошний вытрезвитель с какой-то бабой, но подкалывать его не прекратил.

...На ночь Суров принял снотворное, и нехорошие мысли о злополучном сообщении автоответчика к утру растворились. Теперь все казалось просто.

Значит, Ванька жив. И телефон узнал, не поленился. Вот откуда про «Тропу Моисея» ему известно? А впрочем: если Иван жив, наверняка трется по журналам, издательствам, значит, вполне мог узнать и про поездку членов КСП по библейским местам. И вся загадка. Наплевать и забыть.

Выглядел Суров сегодня отменно: в черных кожаных штанах, в роскошно-скромной ковбойке, с шелковым фуляром на шее. Крепкое его туловище было оплетено желтой портупеей, сводившейся слева под мышку в кобуру газового пистолета.

Он просматривал список отбывающих в пустыню поэтов, небрежно положив ноги на тумбочку письменного стола. Списки составлял он сам, утверждать избранных

должен был по уставу Исполком КСП. Исполком и будет утверждать, но уже после мероприятия, задним числом. Постфактум. Так удобнее.

Ощущение власти над судьбой визгливых поэтов — кого включить в поездку, кого погодить — грело душу. У него начался обычный в таких случаях прилив настроения.

Он был в кабинете один, когда туда без стука вломился огромный детина полубабьего вида с седой косой, в кожаной куртке, зеленом пиджаке, в тапочках и комбинированной кепке. Дитина, не снимая кепки, почесал под ней темя.

— КСП тута? Джабар пришел?

Чувство страха накатило на Сикина позже, пока же он, не снимая ног с тумбочки, процедил, не поднимая глаз:

— Александра Михеевна Джабар на рабочем месте в своем кабинете. Стучаться надо...

— Пасть закрой, — сказал дитина, — кишки простудишь.

Коричневые туфли Сикина медленно переместились на пол. Он приоткрыл рот в нехорошей догадке...

— Соображаешь, — улыбнулся Синяк, развалисто усаживаясь в кресле. — Это я звонил насчет Ивана.

Сикин встал, почему-то опустив руки по швам. Синяк обзрел его, сосредоточив внимание на кобуре, привязанной к Сикину сыромятными путами.

— Ну, ты прям как памятник Высоцкому на Ваганькове. — Синяк откусил кончик сигары и выплюнул на пол. Сикин независящим от себя движением придвинул к нему пепельницу. — Обвязался весь...

Сикин похолодел. Он почувствовал, как кишки предательски забормотали, кожа на лице стянулась и запульсировала, зачесалось плечо под ремнем. Все это время, что функционировал шкатулочный бизнес в Англии под прикрытием КСП, он ждал наезда рэкета.

— В следующий раз, — продолжал Синяк, небрежно разглядывая кабинет, завешанный фотографиями Сикина с именитыми товарищами, — как меня завидишь, сразу стреляйся газом из своей пистолы. И маленький совет: пора, мой друг, пора с вещами на выход. Засиделся в девках. Забей себе: твое место у параши, в связи того, что был ты дя-

тел-стукачок, а теперь ты вечный Птица-Пенис. Пенис-петушок. Повтори.

Сикин послушно пожевал губами веленые Синяком слова.

— Ну, будь здоров, петушила, — улыбнулся Синяк, выкарабкиваясь из низкого неудобного кресла. Он подошел к двери, но решил еще покуражиться. — Между нами, эта кобура — говно.

Синяк задрал над мощным задом куртку и постучал себя по рукоятке пистолета в кобуре, заткнутого за пояс на прищепке.

— И ножки на стол не ложи. Будь проще — люди потянутся.

Закрыв за посетителем дверь на ключ, Сикин с тоской подошел к окну. Конечно, «мерседес». И пистолет у него наверняка не газовый. Он достал из холодильника бутылку виски и отхлебнул прямо из горла.

За дверью послышались разнополюе голоса. Форсированные, избыточные, театральные. Как они обрыдли ему еще за те годы, что обретался в альманахе «Поэзия»!..

Сикин отстегнул все еще дрожащими руками газовую упряжь, намотал ремни на кобуру и уложил оружие в расшифрованный кейс. Кинул в рот жевательную резинку, через силу улыбнулся в зеркало и отворил дверь.

Сегодня должны были обсуждаться организационные вопросы поездки «Тропой Моисея».

А Саша в это время смотрела на компьютере последний концерт Мадонны. Певица была не очень молодой, не очень фигуристой, с перенакачанными мышцами ног, вульгарная вся от и до! Ни кожи, ни рожи, а на тебе!..

— Я на минуточку... — В кабинет впорхнула запыхавшаяся пожилая дама в тяжелых украшениях. — Это вам презентик маленький, — заворковала она, выставляя на письменный стол шампанское и разноцветные мыльца. — Что за голяшку вы смотрите?..

Саша молча выключила компьютер. Не хотела она с этой жирной курицей обсуждать звезду.

— Молодость, молодость... — воркуя, дама полной рукой всколыхнула воздух, нагнетая густую волну приторных духов. — Вы не поверите, Сашенька, у меня в ваши годы были дивные ноги... Но не буду мешать, не буду мешать... Вы на собрание пойдете?

— Пойду, — мрачно ответила Саша.

— Куда? — поинтересовался Синяк с порога, пропуская даму с ногами. — Постой-ка. — Он подошел к Саше, взял ее за уши и внимательно уставился ей в глаза. — Или меня негры твои слгазили или собственными силами рехнулся: почему очи зеленые? Были голубые.

Саша поворотом головы выпростала уши из рук Синяка и отколупнула контактную линзу, под ней глаз был карий. Она посмотрела на Синяка разноцветными глазами.

— Доволен?

— Та-ак... А на Октябрьские красные вставь — коммуник пугать... А чего у тебя еще не свое? Колись немедля. Кто ты?

Саша послушно включила компьютер, поерзала мышкой и застрекотала вслепую десятью пальцами. На экране монитора набивались буквы...

«Симпатичная леди, блондинка, фигура манекенщицы...»

— Покрупней сделай шрифт, — попросил Синяк, — без очков глаз нейдет.

«...желает познакомиться с интеллигентным по жизни, сексуально привлекательным обеспеченным джентльменом. Не лысым».

— Лысый? — Синяк нагнул голову в ее сторону. — А насчет секса врать не буду, — сказал он. — У Жирного спроси.

Саша медленно подняла голову и произнесла странным голосом:

— А при чем здесь?.. Вы что?..

— Не туда мысль ползет. Просто Жирный лучше может сформулировать.

— А ты что делаешь, ну, по жизни? — поинтересовалась Саша. — Где работаешь?

— Я разве не говорил? — удивился Синяк. — Автомобилями торгую. Там беру, здесь сбываю. Хочешь, тебе тачурочку подберем под цвет глаз...

Разговор перебил маленький вальяжный человечек с трубкой. Не углубляясь в кабинет, он хорошо поставленным голосом произнес, откидывая голову назад, чтобы было слышно в коридоре:

— Хочу напомнить, мое оформление в Цюрих только через депутатский зал!

Саша брезгливо порылась в папке на столе.

— Да готовы ваши бумаги.

Крошка недовольно взял документы, вернулся на исходную позицию и, дождавшись, когда в коридоре послышались шаги, повторил медным голосом:

— Только через депутатский зал. — И, не торопясь, вышел.

— Матерый человечеще, — усмехнулся Синяк.

В кабинет просочился звон колокольчика. Саша встала.

— Пойду. Собрание. Ты на хозяйстве.

Синяк заметно огорчился:

— Особо не рассиживайся. Скажи, чтоб побыстрей.

— Скажу. — Саша включила ему Мадонну, на которую была похожа, чтобы Синяк за время собрания ее не забыл.

Даже сквозь стены кабинета Синяк видел, как Саша вышагивает по коридору, старательно виляя бедрами и зазывно цокая модными каблучками.

Он выскочил в коридор.

— Потом к Жирному поедем! — крикнул он вдогонку.

Саша обернулась:

— Поглядим.

Из приоткрытой двери уже бубнил знакомый Синяку голос Сикина:

— Итак, дорогие друзья, мы отправляемся тропой Моисея... — И шутливо: — Я буду вашим Моисеем все предстоящие две недели...

Дверь за Сашей закрылась.

Не понравилось Синяку, что Сикин уже оправился и, вишь ты, даже шутит. Едет, стало быть, генеральный секретарь, хотя велено было дома сидеть.

Синяк вернулся в Сашин кабинет, развалился на ее вертящемся стуле. И закурил, чего хотел, не сигару вонючую «Портогас», понтовую, блажь травяную, не сигареты с ниппелем, а нормальный «Беломор», любимый с детства.

А Мадонна тем временем вытворяла невесть что. Синяк не мог понять одного: как она поет, пляшет, акробатикой крутится — все одновременно — и не запыхается.

Зазвонил телефон. Синяк не обращал внимания. Но телефон зудел очень настойчиво и как-то не по-русски. Синяк лихорадочно стал искать на клавиатуре компьютера кнопку выключения звука. Не нашел.

— Чего?! — заревел он в телефон. — Говорите!

Голос писклявый, бабий, верещал вроде на татарском, а может, на азербайджанском смахивал. Мяукающий какой-то голос...

— По-русски говори. Не слышу! В смысле: не въезжаю!..

Он снова потыкал кнопки компьютера и неожиданно вырубил все. На экране поползла, переплетаясь, музыкальная геометрия. Голос в телефоне перешел на европейский — на французский, наверное, явный гундос слышался.

«Джабар» разобрал Синяк, «Фируз» и заперезживал, что нагрубил вначале.

— Виноват! — заорал он. — Джабар на собрании... — Он заскреб лбину, вспоминая чего-нибудь по-немецки, все-таки в Германию часто ездит... — Ихь ферштее нихт. Ауф видерзеен. Попозже перезвоните.

Закончив разговор, Синяк тщетно пытался отыскать Мадонну всеми клавишами, но вместо этого по экрану плыли космические разноцветные фигуры.

Сидеть без толку надоело. Он вышел в коридор. Навстречу ему шел улыбающийся высокий красавец из кино про «Доктора Живаго», которое он смотрел на видеке у Романа. Омар Шариф, точно!

— Сал-лом, дорогой! — очень уважительно сказал Омар Шариф, прикладывая руку к сердцу.

Он был в белом пиджаке с подвернутыми на один раз до синей подкладки рукавами. На тонком запястье правой руки болталась цепочка. В распахнутом вороте рубашки — тоже цепура, на которой колыхался золотой полумесяц со звездой.

— Здорово, — кивнул, слегка оторопев, Синяк.

— Скажи, дорогой, где красавица Александра?

— Собрание у ней. Козлов пасет. Скоро кончат.

Омар Шариф взглянул на дорогие часы. Синяку он нравился, а чем, Синяк не мог понять. Вроде по прикиду на пидора смахивает, но не пидор, это точно. Просто очень красивый мужик. И запах от него не пидорный. Богатый красивый мужик. Может, писатель. И вдруг его нехорошо осенило: муж ее первый!

— Ты не из Кувейта? — непохожим на свой, робковатым голосом предположил Синяк,

— Зачем Кувейт? — улыбнулся Омар Шариф. — Очень Средняя Азия, дорогой. Самолет летит скоро. Жена ждет. Дети ждут. Аллах торопит...

— Так ты не из Кувейта? — Синяк радостно перевел дух. — Выпить будешь? У меня в «мерсе» коньяк, виски... Тебе можно по религии?

— Нужно! — воскликнул красавец. — Аллах запретил сок виноградной лозы, про виски ничего не сказал. Забыл, наверное,

И только тут Синяк заметил, что с одной стороны у красавца нет уха. Хм, отморозил? Синяк затащил его в Сашин кабинет. Про ухо не спросил, стеснялся.

— Ты пока Мадонну включи, я ее вырубил, а назад не найду. — Синяк разозлился на себя, что так невнятно объясняет нерусскому. — Короче, пела баба, нет бабы.

Нерусский все понял, ткнул кнопку, и голая Мадонна, прикрытая лишь двумя крохотными тряпочками, появилась на экране, с неба ей в руки спустился в дыму светящийся шест, и певица, не прекращая пения, стала виться вокруг него.

Синяк пошел за бутылкой. Возле приоткрытой двери собрания маленький депутат курил трубку.

— Жирный не выступал? — спросил Синяк депутата. Депутат нахмурился, явно оскорбленный невежливостью вопроса, и, подумав, не ответил.

— ...Моисей увел в пустыню рабов!.. — послышался вибрирующий женский голос, похожий на плач. — И там превратил их в народ! А мы — зачем мы идем в пустыню? Давайте подумаем, сформулируем наши цели...

— Ну и голосок! — покачал головой Синяк. — Зарыганный. Должно, газы мучают.

Он хотел послушать еще, но не при этом же гноме важном. Чего Жирный волюну тянет? Клялся, что скинет Сикина. Что все поддержат, узнав, что тот стукач. ЭТИ подержат?.. Синяк в этом очень и очень засомневался.

Когда он вернулся с бутылкой, депутата в коридоре уже не было. Из разноголосого толковища за дверью неожиданно выпростался высокий голос Романа:

— Конечно, то, что я хочу сообщить, — вопрос для общего собрания, а вас здесь мало. Но, поскольку вы отправляетесь в святую, так сказать, землю под водительством нашего генерального директора, считаю своим долгом сказать, что Юрий Владимирович Суров, в девичестве Сикин, многие годы служил в КГБ...

Синяк замер.

— ...Полагаю, и по сей день помогает Лубянской конторе... Хорошо ли это, учитывая тот непреложный факт, что КСП, по существу, организация правозащитная?.. Кроме того, он посадил моего товарища...

Урчащий где-то невидимый холодильник рыгнул, сожрав окончание слова, вновь торопливо заработал, как бы нагоняя упущенное.

Роман, видно, не выдержал тишины, повисшей в собрании, и сам забормотал:

— Сейчас вы начнете: охота на ведьм, где справка из ГПУ... Справка — не проблема...

— 3-зачем! — страдальчески закрипел новыми металлокерамическими зубами Синяк.

— Нам не ссориться надо в это трудное для всех нас время, а взяться за руки, — услышал Синяк голос из зала.

— За чьи руки? — выкрикнул Роман. — Топтуна?
Синяк резко пнул дверь ногой. Чтобы не поддаться соблазну войти и вмешаться.

— Что такое, дорогой? — улыбаясь, встретил его одухий красавец. — Где лицо такое нехорошее взял?

— Не туда Жирный повез! — сказал Синяк, мрачно откручивая пробку у бутылки. — Договорились: объявит, что Сикин Ваньку посадил, и — весь сказ! Без дискуссии. Без базла... — И тут Синяк примолк, пожалев, что вовлек чужого человека в свои дела. Он забулькал темно-желтой душистой прекрасной жижей в подставленный бокал. И сразу подобрел. — А где ты ухо забыл. Отморозил?

— Добрые люди отрезали... — Красавец поднял стакан.

— Шапана? — поинтересовался Синяк, чокаясь с ним.

— Зачем шпана, — улыбнулся красавец. — Коммунисты.

— О, бляди! — воскликнул Синяк, уже влюбленный в красавца. — А чего ты им сделал?

— Смеялся.

— А-а, — протянул Синяк, хотя ничего не понял. И повторил налив. Красавец не возражал. — А слышать не мешает? — спросил Синяк.

— Лучше стало, — улыбнулся тот. — Ярче звук. — Он тонкими смуглыми пальцами шевелил на столе бумагу.

— Чего ищешь? — поинтересовался Синяк, желая пособить. — Как фамилие?

— Сурали. Бошор Сурали.

Синяк на правах хозяина полез в стол — человек все-таки на самолет спешит — и нашел бумагу.

На красивом бланке КСП писатели просили президента России предоставить выдающемуся деятелю культуры Бошору Сурали политическое убежище и гражданство России. Поэт постоянно подвергается угрозам физического уничтожения... Среди подписавшихся была и фамилия Романа.

Синяк пожалел, что, не разобравшись, стал грузить Бошора. Ему, видать, своих проблем выше крыши.

— Я, веришь, коммунык зрить не могу, — сказал Синяк. — Своими бы руками душил...

— Зачем так строго? — улыбнулся Бошор. — Сами тихо уйдут.

— Пока идти будут, мы с тобой сдохнем, — проворчал Сияняк, чокаясь с ним.

— На все воля Аллаха. Подождем.

Сияняк достал «Беломор».

Закурил и поэт. И Сияняк по дыму учуял: не просто курево, дурь шмалит.

— Будешь? — Бошор протянул ему благоуханный косяк. — Качество гарантирую.

— Вообще-то уже не балуюсь... — засомневался Сияняк, — но давай. За компанию и жид удавился.

— Хорошая поговорка, — оценил Бошор. — У нас тоже есть... Коня подковывают, ишак копыто сует.

— Еврей, в смысле? — недопонял что-то Сияняк, ибо анаша была чересчур крепка. Он протянул папиросу назад Бошору. — Тебе если гражданство-то дадут, где жить будешь?

— Аллаху акбар, — снова улыбнулся Бошор, и Сияняк понял, что эта тема не для трепы. И чуть не вякнул: живи у меня. Полагая, что переберется к Саше. А все виски плюс дурь. Размягчает.

— Хватит! — резко сказала Саша, входя в комнату. — Больше не могу там... Очередной скандал... Роман на Сурова бочку катит. Моча в голову ударила. Привет, Бошор. Письмо про тебя еще не отправили...

— Ничего, ничего, — замахал поэт красивыми легкими руками. — Это не срочно.

Сияняк удивился: такой мужик, а чувствуется, робеет Сашки. А та чуток этим пользуется.

— Ну, твой Бадрецов!.. — она покрутила головой. — Что пьете?.. А накурили!..

Сияняк открыл форточку.

— Жалко, у Жирного голос не ораторский, — сказал он. — Я ему еще в школе говорил: сделай ты себе, Жирный, голос нормальный, девки давать будут...

— Да при чем здесь голос! — Саша раздраженно вытряхнула пепельницу в корзину. — Вон у Миши Жванецкого тоже тембр высокий, а какой успех!

— Короче, мента сняли? — спросил Синяк.

— Да какое это играет значение! — Саша выключила Мадонну, раздраженно зашарила сигареты, не нашла.

Синяк достал на выбор — сигары и «Беломор». Саша закурила папиросу.

— Стучал, не стучал... А кто, интересно знать, не стучал? Вон попы и то стучали... И не покаялись. Чего все к Юрке пристали?! Не пьет, не ворует, никому не мешает...

— Я не стучал, — негромко заметил Бошор, как бы про себя.

— Ну и молодец! — Саша раздраженно затоптала вонючую папиросу в пепельницу. — Сиди, радуйся...

— Тебе межгород звонил, — вспомнил Синяк. — Писклявый такой.

— Фируз! — ахнула Саша и схватилась за телефонную трубку. Вот еще чем хороша была служба в КСП. Беспрепятственно, то есть бесплатно, можно было звонить в Кувейт и в Англию.

— Салямат, — кротко поздоровалась Саша с бывшим мужем. Спокойно, уговаривала она себя, не психовать. — Позови, пожалуйста, Фируз.

Но тот занудил. Фируз заболела. Ее нет дома. Она в Англии. Абд эль Джабар всегда врал тупо, лениво, без выдумки.

— Заболела или в Англии? — напирала Саша и, поняв, что проиграла разговор, выкрикнула, прежде чем положить трубку: — Козел! Мудила!

— Любимые слова! — мечтательно прикрыв глаза, сказал Синяк.

— Да-а, — согласился Бошор, кивая. — Жалко, что я только вполуха могу слышать такую музыку. Кому посвящены эти прелестные звуки?

— Муженек мой бывший, — проворчала Саша.

— Счастливый человек, — вздохнул Бошор. — У нас женщины так не говорят. — Скажи, друг, — обратился он к Синяку, до сих пор не зная его имени, а спросить, видимо, было не принято по восточным законам нелюбопытства. — Скажи, вам тоже пришлось немного полежать в турьме?

— По глазам прочел? — обрадовался Синяк, проводя обрубком пальца по векам. — В ней, родимой... Бошор, жди малку, не уходи, я сейчас мигом Жирного высвобожу и... Предложение имею.

— Как скажешь, дорогой, — сдержанно улыбнулся Бошор.

Синяк влез в собрание уместно. Был перекур, пили кофе. Роман сидел под пальмой, низко опустив лысоватую голову. Распухший, бордовый.

— Права человека... права человека, — монотонно скрипучим голосом повторяла кому-то в углу женщина с низкой седой челкой.

— Жирный! — тихо позвал Синяк.

— При чем здесь права человека! — раздраженно пророкотал сзади дикторский голос, перекрывая все остаточные шумы. Синяку показалось, что включили радио. — Своего товарища...

— Он мне не товарищ! — крикнул из-под пальмы Роман.

Синяк обернулся к «диктору». Тот оказался видным мужиком с роскошными усами, жидкой кожей на лице, лет шестидесяти. Он сидел на диване, между его ног была зажата палка с резной звериной головой.

— Чушь все это! — не обращая внимания на реплику Романа, продолжал усатый. — Мы собрались поездку обсудить, а не спасать страждущее человечество. Давайте продолжим, хватит пить кофе. Мне вообще решительно противен общий тон Бадрецова, это его расследование...

— Как я понимаю, Роман хочет нас взять на гоп-стоп, — раздался приятный неспешный голос. — Я против такой лагерной методы...

Синяк встрепенулся, высматривая говорящего. Оказался пожилой усталый дядька с лицом активно выпивающего. Вроде бы свой: и нос перебит, и курит по-родственному, в кулак, а поди ж ты — с козлами вместе!..

— А я — за, — тихо прошелестел ветхий старик с бледной лысиной и огромным насморочным носом. — Обвинение основательное.

Сикин молча обносил присутствующих кофе. Синяка он не видел.

Дама с дивными ногами придержала Сикина за руку, когда он передавал ей чашку:

— Скажи нам, Юра! Ты работал в КГБ?

Сикин даже попятился от нелепости вопроса:

— Зачем вы так?..

— Вот она, наша черная неблагодарность! — вскричала дама. — Я предлагаю премировать Юру месячным окладом в порядке компенсации за оскорбление.

— Двумя! — ударил «диктор» палкой в пол.

— Скандал протянется минимум пять лет, — молитвенно прижав руки к груди, заявила пожилая астматическая блондинка со странно гладким лицом. — Надо думать о последствиях.

— Давайте кончать, — сказал крошка депутат. — А то превратимся в приснопамятный Союз писателей.

— Жирный! — крикнул Синяк и влез в зал полностью. — Из турбюро, — для краткости объявил он, тыкая себя в грудь. — Насчет туризма. Узнать пожелания. Кому жарко, кому холодно, кому диет, кому прохладные клизмы...

Оскорбительного слова «клизмы» собрание не выдержало, заволновалось, но Синяк, не останавливаясь, молот дальше:

— ...В пустыне места всем хватит. Как на кладбище. Значит, по пути где шатер разобьем, где под солнышком, по ситуации. Товарищ Бадрецов, вас к телефону. Господин Сикин, продолжайте.

Синяк подошел к пальме, почти силком выволок изпод нее очумевшего Романа, одновременно отметив, что на «Сикина» собрание не среагировало.

— Шолом, господа. У вас интим, а я не претендую. Всех благ, господин Суров.

Друзья вышли в коридор. Роман был ошалелый. Таким Синяк его давно не видел.

— Говорил, не рыпайся! — шипел Синяк. — У них же остаточный бздюм играет. Очко-то не железное. Что ты до

них ласкался? Сказал — и ладушки. Смотри, набух весь, набряк — лопнешь, а мне отвечать...

— Даже слушать про Ваньку не стали... — бормотал Роман.

Они вошли в кабинет Саши.

— Салом! — воскликнул Бошор.

— Живой! — заорал Роман, обнимая Бошора. — Теперь ты мой согражданин наконец?

— У-у... — уклончиво развел руками Бошор. — Не совсем.

— А что такое? — другим, брезгливым голосом спросил Роман, поворачиваясь к Саше.

— Юрий Владимирович еще не подписал, — небрежно бросила она, пририсовывая какой-то красотке в журнале «Семь дней» длинные запорожские усы.

— Почему? — напряженно поинтересовался Роман. — Критические дни? — И повернулся к Бошору. — Башка болит, спасу нет! Давление, наверное.

— Вылечим. — Бошор полез в кейс. — Сейчас чайку заварим, голова будет лучше швейцарских часов работать.

Саша, не отрываясь от рисования, включила электрочайник. Бошор насыпал из кожаной коробочки желтый грубый чай в чашку, прикрыл блюдцем.

Раздался вежливый стук, и дверь открылась. Вошел тот самый старик с бледной лысиной и унылым носом, сейчас он был в шляпе с обвисшими полями. Это он на собрании поддержал Жирного.

— Деточка, — тяжело дыша, сказал старик Саше, — я вас умственно целую. Должен вас предупредить, я не поеду в Египет. Вы кого-нибудь вместо меня...

— А что случилось, Лазарь Иудович? — встрепенулась Саша.

— Деточка... видите ли, дело в том, что я по этическим моральным соображениям не хочу никуда отправляться под руководством Юрия Владимировича, тем более тропой Моисея. Хотя, как вы знаете, мне это очень нужно для работы... Я вас целую, — повторил он и, поклонившись, удалился.

— Кто это? — спросил Бошор.

— Раритетный дед, — улыбнулся Роман. — Мой друган. У него в застой книжку из плана выкинули. Он пришел к директору. Достал пистолет. С войны привез. Не издашь, говорит, застрелю. У директора понос буквально. Книжку в план своей рукой вписал. Книга вышла. Вот такой дед. Отчество даже во время жидобоя не менял. Раз Иудович, значит, Иудович... Слушай, Бошор, — Роман с удивлением посмотрел в чашку. — Чем ты меня напоил? Башка-то прошла.

Бошор лишь усмехнулся, а Синяк смекнул: маковая соломка, не иначе, и пальцем незаметно погрозил поэту.

— В лечебных целях, — еще раз улыбнулся тот.

— Поехали с нами, — сказал ему Синяк. — Едем к Жирному. Погуляем, отдохнем...

— Посуралим, — подмигнул Бошору Роман.

— В другой раз посуралим. — Бошор, склонив голову, прижал правую руку к сердцу. — Самолет.

— Бошор, прошу как брата, — торжественно на восточный лад произнес Роман. — Поосторожнее, не валяй дурака. А то помрешь ненароком.

— Башку отрубят, кинут в вагон с углем, и будешь кататься по всему Советскому Союзу, — добавил Синяк.

Бошор взглянул на часы, болтавшиеся на его тонком смуглом запястье, и неожиданно как-то очень по-русски потянулся и зевнул.

— Когда ко мне смерть придет, меня дома не будет.

6

«Мерседес», чуть не обдирая бока, выбрался из узкого двора КСП и покатил вверх по бульварам мимо памятника Крупской с развевающимся против ветра каменным подолом.

Саша сидела впереди, а Роман переживал неудачу с собранием сзади. Не в полный мах, как полчаса назад, но переживал.

— Не вздыхай, Жирный. — Синяк взглянул на него в зеркало заднего вида. — Башка не болит, значит, порядок. А вообще, Жирный, тебе лучше всего цианистого кала в

другой раз принять. Раз — и нет проблем. А желаешь, мы тебе негритяночку спроворим для утешения?

Роман не слушал.

Синяк внимательно обозрел его, обернувшись.

— Не помрешь. Глаза горят, мозги фосфоресцируют... Александра, ты не против?

Саша думала о своем. Видел ли Суров, что она поехала с ними? Выключила ли масляный радиатор? Как вести себя с Юрой теперь, после появления в ее жизни этого чокнутого бандита, который, похоже, в нее влюбился? Да и ей он почему-то нравится... Хотя у него, наверное, девок пол-Москвы. Знал бы он, что ей сороковник скоро... А впрочем, зачем ему это так уж знать... Дала ему понять — у них с Юрой что-то было... Подробности Синяка не интересуют. За это он ей и понравился, что нет в нем бабского любопытства.

— А? — встрепелась она. — Ты что-то спросил?

— Значит, не против, — уверенно подытожил Синяк, сворачивая на Тверскую.

За «Елисейским» собралась толпа. Телеоператоры настраивали кинокамеры на окна второго этажа гостиницы «Центральная». Подъезд был оцеплен милицией, широко забран флажками. Движение в этом месте Тверской ослабело, «мерседес» еле тащился.

— Чего там? — поинтересовался Синяк у милиционера, приспустив стекло.

— Ехай, — огрызнулся тот.

Синяк остановился.

— Ты, слышь, меня в Думе ждут, — солидно заявил он, — доклад на подкомиссии комитета прав человека и помилования...

Милиционер на всякий случай помягчал:

— Террорист ребенка захватил, бомбой грозит.

— Денег дали? — с умным видом поинтересовался Синяк.

— Думают.

— К-козлы! — с удовольствием сказал Синяк и проехал медленное место.

Из Государственной думы выходили ухоженные озабоченные мужики с понурыми физиономиями и рассаживались по черным машинам, исподволь кидая как бы незаинтересованные взгляды на девушек в коротких юбках, кучкующихся на зябком ветру у гостиницы «Москва».

Синяк снова приоткрыл окно и заорал наружу дурным голосом:

— Слышь, козлы-ы!.. Хочется, а низ-зя-я! По домам, пацаны!.. И — на ручную дрезину!.. Забесплатно! На хохряк!.. — И дополнил текст красноречивым жестом.

Саша передернула плечами.

— Закрой окно. Холодно.

За негритянкой для Романа Синяк поехал проторенным маршрутом. К паперти Музея Ленина, где их класс принимали в пионеры. Синяка тогда за хулиганство в пионеры не взяли, и он плакал.

Синяк причалил к священному месту, хряснул ручником и вылез из машины. К нему подъехал на коляске инвалид в камуфляже. На груди у него висела табличка: «Люди добрые, помогите...»

— Дай на протез, — хрипло сказал он Синяку, не разжимая рта с воткнутой сигаретой.

— Не дам, — строго сказал Синяк. — Ты цыганам отдашь, они вашу масть держат.

— Согласен, — понуро кивнул инвалид, взялся за отполированные ободья красными распухшими руками и тихо покатиł прочь.

— Стой, афган! — крикнул ему вслед Синяк, догнал и сунул деньги. — Заначь поглубже.

Тут из мрака глубокого подъезда выскочила, как подпружиненная, мелкая бесполоя блошка, серенькая, в брючках, задрипанная, заморенная.

— Привет, Батя! Чего-то ты нас совсем забыл.

— Вас забудешь, — Синяк грубо, как мужику, пожал ей руку. — Я с твоей барышней — лица не помню — бумажник с правами потерял. На деньги наплевать, права жалко.

— Совсем ты, Бать, на головку присел, — посочувствовала блошка. — Старенький стал... Тебе кого?

— Негритянку.

— А всерьез?

Синяк заговорил подробнее.

Саша уже разобралась с масляным радиатором на работе (выключила) и теперь медленно въезжала в ситуацию... Та-ак. Это проститутки!.. Только сейчас она начала смеяться, к чему идет дело, и беспокойно заерзала.

— Чего он хочет? — Саша подозрительно обернулась к Роману.

Роман молча пожал плечами. На беседы с ней после Бошора не тянуло.

— Таня! — крикнула тем временем блошка в темноту.

Таня оказалась русской красавицей, в годах, что порадовало Сашу, с косой, закрученной на затылке. Прямо из ансамбля «Березка», подумал Роман. В короткой, разумеется, юбке, как положено по тутошной работе, высоких замшевых сапогах с золотыми пряжками.

Настроение у Романа приподнялось.

Синяк постучал в окно.

— Ну как, Жирный?

Роман высунул в открытое окно кулак с оттопыренным большим пальцем.

Хозяйка, учуяв спрос, затарахтела:

— Не меньше двух сотен, Бать. Тебе отдам за полторы. У нее одна коса чего стоит! Себе в ущерб работаю.

— Не торгуйся, не на базаре, — отрезал Синяк. — Музей Ленина все ж. А коса и у меня есть. Сто и — по краям!.. Танечка, поедете с нами за сотенку?

— Я за стольник поеду! — раздался простуженный хрипчатый голос, и с паперти спрыгнула молоденькая бойкая проститутка, юбка нулевая, декольте спереди и сзади, задрогшая...

— Тебя не надо, ты у меня дезодор похитила.

— Вали отсюда! — Таня грубо пихнула ее обеими руками в грудь. Та оступилась, села на мокрый тротуар белыми ажурными трусами — юбка задралась.

— Я не хитила! — взвизгнула проститутка. — Ты сам мне подарил. Ты пьяный был.

— Тогда прости. — Синяк подал ей руку, помог подняться.
— Деньги в кассу... — верещала хозяйка. По ступенькам Музея Ленина чечеточной пробежкой спустился вертлявый блондин в белом костюме.

— И я мог бы составить компанию...

— Ну, ты даешь, друг! — опешил Синяк. — Я с дамой. Жирный с Таней. Куда тебя, скажи на милость?

— Мало ли, — парировал, улыбаясь, блондин, — бывает, требуется. Секс инвариантен. Пардон.

Саша нервно курила, намереваясь что-то предпринять, скорее всего даже вылезти. Она приоткрыла дверь. Синяк предупредительно рыпнулся к ней.

— Уже едем.

Он захлопнул ее дверцу и открыл заднюю перед Таней, но что-то его насторожило.

— Слышь, хозяйка, а чего она у тебя молчит всю дорогу? Не больная?

— Сам ты больной. Скажи что-нибудь, Таня, — приказала блошка.

— Здравствуйте, — улыбнулась Таня, прикрыв ладонью рот. Прореха в два зуба все-таки мелькнула.

— Слышь, хозяйка, — не унимался Синяк. — А чего она у тебя без зубов? Драчливая? Излупит в одночасье...

Но Роман уже подвигался, уступая место на заднем сиденье. Синяк важно хмыкнул — видел, что Жирный завелся, и, довольный обустройством его личной жизни, солидно расплатился и залез в автомобиль.

— Ну, с Богом! Видите, Танечка, Жирный вас сразу полюбил. Да, Жирный?

Саша обернулась удостовериться, что Роман не спятил.

— Ой! — воскликнула Таня, забыв прикрыть выбитые зубы. — А я вас знаю! Мы вместе в Политехе учились, Владимирском...

— Город невест, — всунулся Синяк.

— Иваново — город невест, чучело, — поправил друга Роман, — а Владимир — «Золотое кольцо», история...

— Да, да, правильно, — согласилась с Романом Таня и продолжила свое: — Вы на экономическом учились, а я на

технологии... За вами еще хромой араб ухаживал... красивый очень...

— Танечка белку на лету в глаз бьет! — заорал Синяк, радостный, что есть общая тема. — Колись, Михеевна.

— Прекрати, — прошипела Саша, ненавидевшая свое отчество. Надо же — землячку нашла, и где!

— Я же говорил, Таня не местная. Я ее раньше здесь не видел, — вякнул Синяк и осекся. Выходит, он тут пасется. Думай, Ананий, когда болтаешь, а главное, базлай поменьше.

— Я раньше на другой точке стояла, — пояснила Таня. — На Пушкинской. А у Владимира Ильича недавно.

Наконец «мерседес» въехал в Басманный переулок и меж задремавших троллейбусов пробрался к подъезду шестизэтажного дома, обшарпанные колонны которого поддерживали этажерку из огромных балконов. Фары высветили медную табличку возле двери — «Издательство «Ромб».

Синяк выключил двигатель.

— Жирный здесь и живет, здесь и книжки выпускает.

— ...А дети есть у вас? — спросила Саша, вылезая из машины.

— Леночка школу кончает, — ответила Таня, — она отличница... Ей медаль...

— А муж? — допытывалась Саша.

— Сань, может, хватит? — спросил Синяк. — Чего ты устравиваешь допрос с пристрастием? Отдохнуть хотим, оттянуться... А ты грузишь.

— У меня муж... есть, — не совсем уверенно сказала Таня. — Но мы развелись. У него другая женщина, тоже с нашей фабрики. Но он меня иногда встречает на мотоцикле...

— Зубы иной раз выбивает, — не по делу влез Синяк, забирая руль на желтую клюку от утона.

Роман повертел пальцем у виска: чего несешь, от Сашки набрался? Синяк виновато пожал плечами. А Таня подкола не заметила.

— Да, — бесхитростно подтвердила она. — А как вы дога-
дались?.. Забывает порой, что мы в разводе...

«Я пришла к тебе с приветом»; — теперь уже Синяк
подмигнул Роману и незаметно повертел обрубком у виска
в адрес Тани.

— Угу, — кивнул Роман.

— Харч из багажника взяли, — зачастил Синяк, пытаясь
замять неловкость. — Кура, пицца, алкоголь. А хлеб? Жи-
рный, хлеб имеешь? Имеет... Тогда вперед.

Дом, где Роман жил с нуля, почти весь уже продали. Ро-
ман держался из последних сил — новые владельцы дома
вместо углой его квартирёшки, доставшейся после покой-
ной бабушки Липы, предложили великолепную квартиру
в Отрадном с видом на шлюзы, где канал шагал по сту-
пенькам. Любимое место Романа в Москве, он его и зака-
зывал богачам. Теперь вот и отказываться неудобно, и уез-
жать неохота.

В маленьком коридоре на первом этаже жил когда-то
Боря Гольцман. Когда все дружно вступили в половозре-
лый возраст и вопрос хаты стал пыром, Боря, пес паскуд-
ный, стал сдавать им в отсутствие родителей свою комна-
ту почасово.

А сейчас в той же самой комнатенке, переделанной на
евролад, находится кабинет главного редактора издатель-
ства «Ромб». Не так давно Роман принес редактору авто-
биографическую повесть и показал место, где описывает-
ся малый Борькин бизнес со всеми пикантными подроб-
ностями. Редактор зашелся, тут же заключил с Романом
договор и, что самое невероятное, выдал аванс потертой
деньгой в мутном целлофановом пакете с хлебными крош-
ками...

...Саша разложила на блюде зелень, овощи, нарезала
брынзу.

— А давайте я греческий салат сделаю, — предложила
Таня. — Я на Кипре научилась...

При слове «Кипр» Саша насторожилась.

— Зачем? — задала она недоношенный вопрос.

— Меня мой друг возил... — слегка смущаясь, ответила Таня. — Его... убили уже.

Саша облегченно перевела дух и спокойно занялась разделыванием копченой курицы.

Синяк от безделья решил принять душ. Через короткое время влетел в комнату мокрый, как жаба, злой, но в трусах, слава Богу. Вполне мог бы и без.

— Жирный, гад, чего не сказал, что воды горячей нет?! Я пускаю — оттуда ледяная!..

Пока орал, досрочно согрелся финской клюквенной водкой и, успокоившись, теперь причесывался перед гардеробом, будто и впрямь помылся. Заодно демонстрируя себя с удовольствием дамам, главным образом Саше. Саша рассматривала его с нескрываемым интересом. Да-а, кажется, что тюфяк, а на самом-то деле весь из тугих сфер, не ущипнешь.

— Одеваться-то будем? — поинтересовался Роман. — Танечку бы постеснялся...

— Никогда не видала, чтобы пьяница так прекрасно выглядел, — пожалала плечами Саша, выколупывая перед зеркалом линзы. — А если бы ты не пил?

— А мне трезвому девушки не нравятся. Извини. Косу из-за Жирного намочил всю...

— Алкоголь возбуждает секс, это правда, — неожиданно подтвердила Таня. — Даже врачи советуют.

— Ты уверена? — фыркнула Саша, окуная линзы в специальную баночку.

— А все-таки я справный парень, — проникновенным голосом, глядя на себя в зеркало, сказал Синяк. — И девушкам еще нравлюсь — да, Таня?

— Да, — подтвердила Таня. — Такой крупный, сильный...

— Оденься, — строго сказала Саша.

Роман стоял у окна. За высоким забором фырчала труба молокомбината. Теперь она шумела не круглосуточно, как раньше, а только по четным дням. А вот диспетчеры на Казанском вокзале орали сейчас к ночи по-старому: грубо, невнятно, иногда с оттенком мата.

Синяк спустился к машине за арбузом. И сейчас соби-
рался вскрыть ему череп.

— Представь, что это голова Сикина, — сказал Роман и,
сдергивая с велотренажера чехол, предложил Тане: — А вы
покатайтесь пока, чтобы не скучать.

— У Ваньки спер, — заботливо напомнил Синяк. —
У бедного человека.

Таня подошла к велотренажеру, но кататься не стала —
юбка коротка. Зато обнаружила за «Кеттлером» интерес-
ную картину, выполненную черным фломастером прямо
на стене. По светлым грязноватым обоям на кривеньких
шатких ножках целеустремленно шел по самой блядской
улице Парижа Сен-Дени «беллетрист Роман Бадрецов»,
помеченный заботливой стрелочкой, чтобы не ошибиться.
Моросил дождь, по его озабоченному лицу текли утри-
рованные капли, но Роман сосредоточенно топал по бу-
льжной мостовой, задрав воротник залатанной телогрей-
ки. Из-под мышки у него торчала папка с надписью «Вши-
вая рота». А с обоих тротуаров из-под прозрачных глубо-
ких зонтов тянулись к нему оголенные барышни всех мас-
тей. Вот одна бросилась наперерез — негритянка с косич-
ками.

— Вши-ва-я ро-та, — склонив голову, по складам прочи-
тала Таня.

— Жирный у нас писа-атель, — протянул Синяк.

— Ой, а ваш роман у дочки в школе проходили, по лите-
ратуре. А вас с натуры писали или по памяти? — спросила
Таня.

Синяк чуть не захлебнулся арбузом.

— Ну, дела-а... — протянул безнадежно Роман. — Если
сходство так очевидно, надо вешаться... Или гусей пасти
или вином спиться...

— Вином, Жирный, не получится. Для этого мозги нуж-
ны. Танечка, это Иван нарисовал. Он в Париже не был, но
знает его наизусть, промесил в полный рост по картин-
кам. Талант. А вот ее начальник, — Синяк указал на Сашу, —
сука Сикин, Ванечку нашего в тюрьму посадил. И что ха-
рактерно, живой ходит до сих пор...

— Юра — мой начальник, и обсуждать его не желаю! — перебила его Саша.

— Ой! — воскликнула Таня, уклоняясь от нехорошего продолжения, которому она не обязательно должна быть слушательницей. — Гурит что-то!

Саша пошла на кухню.

— Надо Ваньку попросить пидора сегодняшнего пририсовать, — пытаюсь смягчить ситуацию, добавил Синяк, тыкая пальцем в настенную живопись. — Как раз место есть.

— Ну зачем вы так? — негромко сказала Таня.

Саша принесла противень с подгоревшими бутербродами.

Роман выгтащил из буфета старинное Липино блюдо. Таня стала перекладывать бутерброды.

— Эдик балетное училище кончил... А потом спину сломал...

Синяк притянул Романа за бороду и зашептал горячо:

— У нее вольты в бегах. Не ту взяли, Жирный, гадом быть. Давай съезжу, заменю, пока не задутый?

— Я тебе заменю!

Роман даже замахнулся на него, но в голове у него прокрутился вопрос: а чего он, действительно, так уж запал на эту беззубую полудурку? Ведь, похоже, и правда она малость не в себе... И понял, что его так привлекает. Нераздражающее отсутствие чувства юмора. Естественное существо. Даже чересчур.

— Танечка, а что вы на Кипре забыли? — спросил он, упустив, что про Кипр все уже вроде выяснили.

— Ну... — замялась слегка Таня, — я уже говорила. Меня мой товарищ постоянный возил. Дружочек мой любимый. Очень красивый... Брюнет с голубыми глазами... У меня фотография есть. Хотите посмотреть? — Она протянула Саше снимок.

На Сашу нагло смотрел молодой Ален Делон на русский манер, стриженный бобриком, с хамоватой ухмылкой.

— Какой неприятный. — Саша вернула фотографию. Именно такие хорошенькие с наглым взглядом ей нравились

с детства. Ни волоокий полноватый красавец араб, ни сухой прокуренный пьяница Билл, ни даже громила Синяк, ну и, конечно же, не Юра, которого и мужиком можно назвать лишь условно. Ее кадр — именно такой пацан.

— А это дочка. Леночка.

— Угу, — незаинтересованно сказала Саша, практически не глядя на протянутую фотографию. — Симпатичная девочка. А сколько ж ему лет?

— Кому? Игорььку?.. Двадцать четыре. Будет двадцать пять седьмого ноября.

— А тебе? — совсем уж по-хамски спросила Саша.

— Тридцать семь... Нет, тридцать восемь. Его прямо в лесу убили, еще живым...

— То есть? — не понял Роман.

— Его убили ножом, зарыли в землю, а он еще был жив, — прояснила Таня. — Он машины чужие воровал.

— Значит, на морду брал, — насторожился Синяк. — В смысле: у своих.

— Смотри, чучело, — пробормотал Роман, повернувшись к нему. — Убьют еще живым, будешь тогда знать.

— А когда его похоронили, — продолжала Таня, — у меня такой стресс плохой начался, я даже секс потеряла...

— Вольты в бегах! — вслух повторил Роман давешнее Синяково заключение. — Психиатр требуется.

— А я была, — кивнула Таня.

— Секс нашла? — поинтересовалась Саша.

— Не очень, — сказала Таня, рассматривая фотографии на стене.

На самой большой из них, цветной, рядом с парижским сюжетом резвились на свежем воздухе нудистского пляжа в Голландии бывшая жена Синяка Светка, сам Синяк и нынешний муж Светки, сорокалетний лысый студент Кристиан, приобретенный Светкой через брачную контору в Голландии. Все трое, разумеется, голые.

Как бы для уравновешивания здесь же в уголку кротко взирала на грешную жизнь Казанская Божья Матерь — картонная иконочка с ладонь, завещанная Роману неверующей, почти партийной бабушкой Липой.

Напротив окна висела карта мира, где Липа в последние сумеречные годы перед богадельней, уже пошатнувшись разумом, отмечала политические события, стабильно путая Африку с Латинской Америкой.

Синяк смешил дам. Обмотал длинной укропиной сразу три кильки и, держа их за конец травинки, спустил рыбешек в распахнутую, белоснежную даже с исподу пасть, как положено, ногами вперед.

Саша нет-нет да и поглядывала на фотографию с голой Светкой. Наконец не выдержала.

— Что за дама? — небрежно бросила она, не оборачиваясь к стене.

— Жена моя прошедшая, — не чувствуя подвоха, отозвался Синяк. — Корефанка наша с Жирным была.

— У нее фигура, как у Мадонны, — не к месту влез Роман. — Несмотря на изобилие детей.

И Саша взорвалась.

— Да у вашей Мадонны вообще никакого сложения!.. И, кроме того, сейчас у женщин рот важен, а у нее рот никуда!..

Таня вспомнила, видимо, про свои зубы, невольно дотронулась пальцем до воспаленной верхней губы. Чем привлекла внимание разоравшейся Саши, которая прищурилась, отерла пальцем уголки рта и, шумно втянув воздух, выпалила:

— А трудно, скажи мне, было на эту работу устроиться?

Таня промокнула губы салфеткой. Счастливый чело-
век: уж Сашка из себя выходит, чтобы ее достать, а ей хоть бы хны, не реагирует.

— У нас одна девочка ездила в Москву.. Потом нам в отделе посоветовала. Пока фабрика все равно не работает, мы в бессрочном отпуске... Нам зарплату уже год не выдают. Только пряжей или суровьем. Иногда носками...

— Интересно... — раздосадованно протянула Саша. — А техника безопасности?

— Так я не постоянно. Я временно, пока Леночка в институт не поступит.

— А Леночка знает? — совсем очумела Саша.

— Я прошлым летом за двумя бабушками ходила, — сказала Таня, решив, видимо, как-то оправдаться. — Одна лежачая, другая полулежачая. Платили хорошо — двести долларов и питание. Но одна бабушка такая капризная. Я все старалась с ней пораньше управиться, чтобы сварить и постирать. А она мне: «Что это вы все спешите меня уложить, Татьяна Владимировна? Я никуда не топлюсь».

— Татьяна Владимировна, а давайте я вас в секретари возьму, — предложил Роман заплетающимся языком. — Стаж будет идти... Жить будете у меня... А хотите, и в секретари и в жены?

Саша поперхнулась дымом. Она знала, что уже два раза Роман брал себе в жены малознакомых дам в пьяном виде. По полному чину, со штампом в паспорте.

— Ты лучше закусывай, — сказала она совсем по-бабьи и тут же пожалела, уж очень это на ревность смахивает. Только еще этого не хватало — к проститутке ревновать!

А Таня сосредоточилась на предложении Романа, увела взгляд вверх, что-то прикидывая.

— Сейчас я не могу, — замедленно сказала она. — Пока Леночка не поступит...

— Как-кая ты, Таня, красивая, — не совсем то выговорил не совсем трезвый Роман, и даже слеза навернулась у него на глаз.

— Очки надень! — бросила Саша.

— На, Жирный. — Синяк протянул Роману свои очки. — Она в очках еще даже лучше.

Роман нацепил очки, придвинулся к Тане, впервые разглядел ее возраст, но не разочаровался, а наоборот, растрогался. Даже еле заметный шрамик над бровью его умилил. И крестик не раздражал.

По реакции мужиков Саша вдруг поняла, что проигрывает. Опасная Танина бесхитрость их завораживала. И самое страшное — нравится Синяку, а это уже вообще ни в какие ворота не лезет. Надо срочно менять тактику. Хватит ее подкапывать, давать ей возможность быть наивной провинциалкой.

— Таня, а как у вас в городе жизнь? — спросила Саша.

— Плохо. Воду отключили, с реки в ведрах таскаем. У нас хорошо только бандитам и туристам. Коммунисты у власти. Они еще хуже евреев.

Роман даже малость отрезвел.

— А что вам, Танечка, евреи сделали? Нормальные ребята, только вида не показывают, — усмехнулся он.

— А Израиль — обалдеть, — вмешался Синяк. — Мы с Жирным в том году были у сына его...

— Так вы еврей? — растерялась Таня.

— Да что вы, Танечка, — вступился за друга Синяк. — Это он просто оброс, у него куделя в пейсы заворачиваются, если его обрить налысо — он на татарина похож пожилого.

— А вы в Мертвом море купались? — заинтересовалась Таня, забыв про евреев. — Там грязь полезная на дне.

— Там нырять без толку за грязью, — сообщил Синяк. — Живая соль, и нет никого, ни рыбы, ни растений...

— Ни эллина, ни иудея, — заплетающимся языком добавил Роман.

— А евреев, Танечка, я тоже не жую, кстати, — завел Синяк любимую свою застольную тему. Без малого сорок лет подначивал он Романа по национальному вопросу. — Чего хорошего они сделали? На скрипках играть?.. Так это и у нас в саду Баумана слепые пилили, причем бесплатно. Приходи — слушай.

— Ну, чего ты несешь, морда твоя тюремная? — с любовью произнес Роман, пересаживаясь поближе к Тане. — Тань, он в тюрьме провел детство, отрочество и юность...

— Согласен, — подтвердил Синяк, благодушный оттого, что разговор нормализовался. — Было дело. Семь лет в неволе. А Жирный меня подогревал. Пришлет открытку: «Тебе скоро двадцать пять лет. Ты должен стать умным». Я открыточку раздеру — там четвертак. Хотя Жирный сам бедный был — ходил в тещиных трусах на босу ногу. — И пихнул Романа. — Болтай дальше, Жирный, гони пургу, развлекай дам.

— Тебя кто от сифилиса лечил? — задумчиво поинтересовался Роман и сам ответил: — Наш добрый доктор Вас-серман...

Саша слегка подалась в сторону от Синяка. Сифилис был чем-то новеньким в их репертуаре.

Синяк заржал.

— Да врет он все, не журишь, — он притянул Сашу на место.

Саша тем не менее вырвалась, пепел, отросший на сигарете, накренился, готовый рухнуть на скатерть.

Синяк пододвинул к ней пепельницу:

— Сбрызни.

— ...а подохнешь, — благодумствовал Рома, наливая себе виски, — под чью музыку тебя понесут? Под нашу, под Мендельсона...

— Гляди, Жирный, напьешься, секс с Таней не найдешь. Кстати, предупреждаю, если я раньше тебя кони брошу, меня только в бледном гробу хоронить, а то засунете в красный... коммуначий.

А Саша тем временем лениво — просто чтобы не отстать от разговора — доила память. Вроде Мендельсон не погребальное?.. Вроде он свадебное писал?.. Что у нее самой-то на свадьбах звучало? На первой свадьбе, во Владимире, магнитофон сломался, только отцова гармонь осталась. Кричали «горько». Абд эль Джафар не целовался — им не положено, — прикрывал лицо белой арафаткой.

А с Биллом?.. В Кувейте? Какая там свадьба? Там шампанского днем с огнем не сыскать...

На Синяке запищал пейджер.

«На права ты сдал. Гуд найт. Иван», — прочитал вслух Синяк и поднял свой персональный стопарь с гравировкой «Вовка Синяк», застолбленный еще со школы. — Все! Еду в Германию. Кто со мной?! Александра?!

Саша решительно встала, раздраженная, что не разобралась с Мендельсоном.

— Александра едет домой, — и улыбнулась Тане. — Приятных сновидений.

Можайский творог скрипел на зубах, как свежевывмытые волосы. Роман высыпал его в миску для приبلудных кошечек, оставленных на зиму летними садоводами. Вернулся в дом, заправил пишущую машинку и затарахтел... Но выходило блекло. Посмотрел в холодильнике, где привык держать ленты про запас. Нету. В Москве есть, а здесь хрен ночевал. Видит Бог, хотел писать гневное обличение Сикина, заклеить, пригвоздить, забить. Даже название придумал — цитату из Окуджавы: «Чтоб не пропасть поодиночке...» Начало такое:

«Чтоб не пропасть поодиночке, необходимо поставить перед Международным Исполкомом КСП вопрос, могут ли в руководстве Российского Клуба Свободных Писателей находиться вчерашние стукачи?..» Стоп! Блеклая лента, блеклый текст... Одно к одному — в общем, ногти на ногах закорючиваются — верный признак пошлятины. Читать эту мякину никто не станет. Какое уж тут обличение?..

Роман взглянул в окно. Соседка, Анна Васильевна, потомственная дворничиха, в спортивном костюме, в бигудях под косынкой, похожая на старого маленького спортсмена, облокотясь на прожилину забора, недовольно наблюдала за двумя тощими странно одетыми мужиками, вяло ковырявшими запущенный огород Романа.

Роман закрыл машинку футляром, задвинул ее под стол и вышел на крыльцо.

— Приветствую, Анна Васильевна. Горный воздух — мечта туберкулезника.

— Привет, Ромочка, привет, — невесело отозвалась дворничиха и для разгона пожаловалась: — Корявая стала — с ног валюсь. Напала на лекарства — вроде полегче. Еще беда: приехала с Москвы — на постели черноплодка. Откуда, думаю? Попробовала: крысиное кало. Стало быть, крысы.

— А у меня кран водопроводный похитили, — пожаловался ответно Роман.

— Твои и свинтили, — кивнула соседка на чужих мужиков. Роман пропустил ее заведомый навет мимо ушей.

— Какие виды на урожай, Анна Васильевна? Поливать яблони ввиду зимы или как?

— Какой полив?.. Ты все равно не будешь. А во-вторых, три дождя весной в мае — и по нашему региону воды не надо...

«Регион». Лихо. А все — телевизор.

— А телевизор работает, Анна Васильевна?

— Цветной привезла. Вчера на ночь хороший фильм передавали, с переживаниями. Ты сериал-то не глядишь?

— Ну, почему? — вежливо уклонился Роман. — Порой бывает...

За спиной соседки чернели свежевскопанные, без единого сорняка уголья. Грядки плотно обжимали со всех сторон крепкий домик. Заросший бурьяном участок Романа норовил по весне распространить сорняки на ее территорию, что соседка тяжело переживала — отдать ей должное молча.

Чтоб конфликтовать минимально, Роман и привлек для окультуривания своей земли рабсилу. Мужики на его крохотной неплодоносившей латифундии были психбольные из ближайшего рабочего поселка, где с приходом демократии распустили дурдом, вернее, перевели его на самокупаемость. Проще говоря, пациентов почти перестали кормить. Небуйные отощавшие дурдомовцы с утра до вечера слонялись по окрестностям в поисках пропитания.

Весной, когда оттаяли овраги, они было обосновались на общетоварищеской помойке в песчаном карьере, где для проживания вырыли себе норы меж корней вязов, удерживающих склоны. Но вскоре «сикилетов», как их называла Анна Васильевна, поперли оттуда здравомыслящие и предприимчивые бомжи.

Роман привадил двух психов; придел их в списанную израильскую форму, которую приволок его сын Димка из пустыни Негев во время прохождения воинской службы в танковом полку каптером.

Психи были счастливы; главным образом радовались они бездонным накладным карманам на штанах, куда складывали заработанное подаяние.

...Все это прекрасно, размышлял Роман, покуривая на свежем воздухе, сдобренным живым фекалом, ибо за бедностью садовые товарищи удобряли тощие подмосковные глины непосредственно содержимым своих уборных. Вот кошка Анны Васильевны поймала глупую мышь и мучает ее на бетонной потрескавшейся дорожке, пробитой вялыми осенними лопухами. Все это хорошо, пленэр и пейзаж. Но что с Сикиным делать? Вот в чем вопрос...

— Кошка у меня хозяйственная... — умиротворенно сообщила соседка. — Всю улицу у нас облавливают... заботливая... Одно беспокойство — котята. Нынче, правда, им прививку стали делать от беременности.

Роман вынес на крыльечко вскипевший чайник, но чаепитие не состоялось — его вдруг осенило!..

У Ваньки есть собственная справка, где, когда и кем Ванька, Иван Ипполитович Серов, был привлечен к сотрудничеству с органами. Пусть Иван по ее образу и подобию «оформит» такую же на Сикина. А Роман ее опубликует с комментарием. А потом пусть разбираются: натуральная справка или домодельная? Главное ведь, что по сути-то все правда. Роман завел машину, оставил ее греться, а сам пошел забрать пустые бутылки и мусор — по дороге выбросить на помойку. Психов он оставлял без опаски: перекопают, уйдут.

...Компостная куча Ильи Ивановича, родного дядьки Синяка, который и завлек Романа в это не очень дружественное садовое товарищество, была завалена битой антоновкой, распространявшей райский винный дух. Обычное дело: хороший урожай — беда.

Сам же Илья Иванович, «чертов гном», как величала его родная сестрица, мать Синяка, занимался важным делом, а именно — натягивал детский носочек на шипящий клюв рассвирепевшего индоселезня с хохлом на башке и

трясущимся от злости зобом. Войну с иностранной птицей старик вел с прошлого года, когда сдуру по жадности прельстился на базаре ее пресловутой мясистостью. И тогда же, сразу после сделки, окаянная утяра больно укусила старика за впуклое брюхо сквозь телогрейку, пиджак, кофту, рубашку и исподнее.

Сейчас Илья Иванович сводил с индюком счеты. Ноги индюка были связаны. Илья Иванович натянул-таки полосатый носочек с помпоном на расщеперенный плоский клюв птицы и туго замотал содеянное изоляционной лентой.

Роман от хохота еле вылез из машины.

— Пусть теперь пощиплется, пидор, — тяжело отпыхиваясь, сказал старик. — Уж и так ему, падле, червяков кидаешь, а он все сзади норовит... Ликвидирую...

— Пожалей животную, Иваныч...

Илья Иванович задумался. Снял заморскую кепку, подарок Синяка, вынул влажный вкладыш из газеты «Завтра», которой был подписчик, и выложил донце свежей прессы, оберегая от засаливания синий шелк подкладки. Потер поясницу.

— Костеохондроз одолел... Сам-то куда, за вином?..

— Позвонить надо.

Москву дали сразу.

— Ответьте Дорохову, — приказала телефонистка Ивану.

— Писатель Дорохов? — ответил Иван. — Приболел никак?

— Ванька, слушай меня! Ты делаешь на Сикина справку, такую же, как у тебя, мы ее публикуем. Сикин от стыда вешается, я живу с чистой совестью, ты живешь...

— Я не живу, — оборвал его Иван. — Я сижу. Ты бы еще из кабинета Сикина позвонил.

— Иван, прости Христа ради. Но ты понял?

— Рома, — педагогически внимательным голосом начал Иван, чтобы не взбесить Романа, — ты обернут в воспоминания...

— Ответь однозначно: ты справку делаешь?!

— Жирный, ты рехнулся! У тебя вспенилось самолюбие. Сикин ноль, вошь подретузная. Ему в лучшем случае — два тычка плюс ложка крови. При помощи Синяка. А твоя праведная вдохновенность и воспаленная революционность и всегда-то были малосимпатичны, а сейчас и подавно... Кому все это надо?..

— Мне это надо! Мне! — заорал Роман на весь переговорный пункт. — Тебе все равно, а мне нет! Я член КСП! Он — директор. Значит, мой директор!.. А ты, видать, от своей богомолки заразился милосердием!.. Это не милосердие, а попустительство!..

Роман орал так, что телефонистка высунулась из своего дупла, а пожилые граждане кавказской национальности, скромно сидевшие на корточках по стенам в ожидании очереди, по всей видимости, армяне-шабашники, вышли деликатно на лестницу.

— Рома, кончай истерить, — грубо оборвал его Иван. — Истерика хороша у старых дев и оперных теноров. Советскому писателю она как слепому зухер!..

Ай да Ванька! Поди позлись на него толком.

— Иван, у меня куража нет больше тебя убеждать. Последний раз... Не хочешь справку делать — напиши в двух словах, как он тебя посадил...

— Донос писать не буду.

У Романа в кармане запищал пейджер, завещанный Синяком на время германской отлучки. Он и рвется, вероятно.

— Погоди, Иван. — Роман достал пейджер, прочитал сообщение. — Слыш, Ванюх, Синяк на проводе. Послезавтра на даче будет. Тебя требует и барышень.

— Проститутку будешь приглашать?

— Это ты про Таню? — напрягся Роман.

— Нет, это я про Сашу.

Догадливый Иван Ипполитович. По рассказам все про нее просек, хоть ни разу не видел. Обидно, конечно, за Синяка, но из песни слова не выкинешь.

— Сам-то приедешь, Ванька?

— Дык, — сказал Иван многозначительно.

— Ясно. В дому запой?

— Отчасти.

— Тогда целую. Дождусь Синяка и приеду. Про справку думай. Кстати, что такое «зухер»?

— Да хреновина такая на объектив надевается. Рома, совет хочешь писательский?

— Ну?

— Если тебе нейдет так уж, напиши про Сикина рассказ. Без зубовного скрежета, как бы благожелательно. Слегка со стороны. Остраненно. Как Толстой советовал с подачи Шкловского. А для эпического уравнивания перемежай повествование описанием встречи с твоей Таней, поподробней. Пиши, не думая, что могут об этом сказать мать, жена и папа...

— У меня же нет ни того, ни другого, ни третьего...

— Тем более, — сказал Иван, и Роман увидел, как Иван в этом месте кивнул удовлетворенно.

— Ладно, — сказал Роман. — Целую. Буду Тане звонить.

Таня была дома. Конечно, приедет, привезет чеснок. Зачем? Но разговор кончился.

Бутылки позвякивали на переднем сиденье.

Роман думал о Ваньке. Умница Ванька все-таки. А ведь по логике должен был сгинуть в лагере: не здоровяк, не боец, не «пламенный революционер». Спасли его стихи, хотя он прекрасно сознавал всегда, что стихосложение — дело не мужское, более того — нездоровое, порожденное комплексом неполноценности, ибо, если комплекс полноценный, зачем заниматься графоманией? Уже написан Вертер. Ан, нет. Расписался в лагере за себя и за того парня. Тем более что память отменная: ни карандаша, ни бумаги не надо. Досочинялся до того, что перевел «Парус» Лермонтова («Белеет парус одинокий...») на свой лад: «...Чтоб собачился капитан, И скрипел полосатый шкафут, Чтобы не было счастья и там, Как не было счастья тут...»

Обратно Роман не спешил — дело-то сделано. Ивана все-таки озадачил. Облака низко висели над дорогой. Не облака — минвата.

Роман свернул к помойке. Вороны сосредоточенно клевали отбросы. Роман подрулил к ободранному вагончику бомжей и, хотя из трубы шел невзрачный дымок, заходить не стал. Погудел, прислонил бутылки к двери и отъехал, помахав вышедшему хромому мужику.

— Хна на спирту не интересуется? — крикнул ему вдогонку бомж. — На стекольный для шампуней завезли. Коньяком отдает, только моча черная.

Бомжи были очень почтительные. Роман ценил их расположение: в полутрезвом здравии они щедро делились биографиями. Трезвые бомжи были мрачны, подозрительны и неинтересны. Жили они двумя парами, сторожили помойку. Дело это было грязное, но нехлопотное и доходное. К ним частенько подруливали мусоровозы аж из самой Москвы, которых хранители свалки сначала для острастки посылали на далекую помойку под Гагарином, а потом, сжалившись, по сходной цене допускали нелегально вывалить груз у себя.

За их вагончиком был склад запчастей к услугам нуждающейся округи: аккуратно составленные неработающие телевизоры, пожелтевшие холодильники без дверей, велосипеды без колес и два ржавых остова «Жигулей».

Кроме биографий Роман имел у бомжей постоянный кредит. Услуги были обоюдными не только по бутылочной части — прошлой весной Роман помог жене одного устроиться в институт Федорова исправить полувыбитый глаз.

...А может, и действительно не надо было все это кадило раздувать, орать на Ваньку? Роман засомневался, как всегда, сделав важное дело. Эх, посоветоваться не с кем!

Гуревича два года назад сбил автобус. Люся получила премию в Париже, вприклад к ней трехмесячную стипендию и теперь обретается в Нормандии, среди коров, пишет и скучает.

Были у Романа еще друзья, но, увы, не для советов.

Сереню Круглова, с которым знаком был с яслей, сократили на радио, вместе со всем радио. И он, дождавшись, когда Роман надолго уедет за рубеж, не попрощавшись, слинял в Данию. Сереня был замечательный редак-

тор, но сильно запереживал, когда у Романа неожиданно пошли дела в гору. Ему казалось, что это несправедливо. Он и школу, и техникум, и институт — все окончил с неизменным отличием, а фишку схватил Роман. Правда, зависть свою, отдать должное, Сереня скрывал изо всех сил. Да он бы сам и не свалил, все жена Нинка-длинная: «Дети, дети...» А какие там дети. Вывезла самогонный аппарат из Москвы, споила безропотного Сереню в шесть секунд и сама хань лакает почем зря. А параллельно делится, по слухам, недорастраченным темпераментом с выходцем из Югославии, сербским художником-станковиком.

Юля? Юля пятнадцать лет защищал диссертацию по износу подшипников колесных пар. Не защитил. Пары стали не нужны. Похоронил родителей, одичал, несмотря на немалое наследство: две машины, две квартиры, два гаража, дача плюс деньги. Все сгнило, заржавело, обтрухалось, похезалось. Он из упрямства никак не менял жизнь, уверен был, что она сама поменяется, как будто она ему чем-то обязана. Не поменялась. Теперь он ходил дома голый, чтобы не изнашивать одежду, и с тревогой высматривал в зеркало пробивающуюся седину. Советы Романа, Синяка, Ваньки отвергал стойко, все чохом, без рассмотрения.

Завел себе дома куру Петю. Петя приносила ему каждый день шершавое кривобокое яйцо, подернутое зеленой какашицей. Питались Юля и Петя из одной пластмассовой бочки с овсом, доставленной его бывшим студентом-заочником с периферии.

Славка Биллов?.. Биллов прогорел в своем кооперативе «Зебра», где был вице-президентом, скрылся от кредиторов, экстренно поглупел от страха и определился в самодельный монастырь под именем отца Пантелеймона. Случайно Роман встретился с ним на Ленинградском рынке, тот закупал остроты для изготовления аджики на зиму, чем изрядно удивил Романа, который сам в свое время работал истопником в деревенской церкви и был в курсе религиозного рациона. Славка попросил сто долларов на нужды монастыря и долго говорил о Спасении. Роман

спросил, как живут его дети. Славка важно заявил, что не знает, ибо знать сие не положено ему по чину.

Роман сто долларов не дал, на том свидание и окончилось.

...Синяк объявился через два дня. На почти новенькой синей «ауди», которую гнал на продажу.

Погудел у калитки — безрезультатно. Зашел на участок. Военнослужащие недружественной армии тупо уставились на него. Из беззубого рта одного из воинов свисала долгая слюнная шлея.

— Как жизнь, мужики?! — гаркнул Синяк, несколько озадаченный их внешним видом и окружающей тишиной. — Херово? Знаю. Стронгу принять не откажетесь?..

— Не смей! — донесся из уборной знакомый голос. Засупониваясь на ходу, к нему спешил Роман. — Ты их опоишь — они товарищество разнесут со товарищи... Пройдите в хату, гражданин.

В кресле-качалке возле теплой печки Саша громко смотрела «Санту-Барбару», потому и не слышала, кто приехал.

— Во-овка! — заорала она, кидаясь на шею Синяку. — Где ты был? Почему так долго?!

— Всего неделю, — опешил Синяк и добавил не очень уверенно: — Соскучилась?..

Может, и не очень стерва, засомневался Роман. Нет, просто чувствует, что Сикин с вещами на выход предполагается, и активно формирует местоблюстителя...

В окно, освещенное закатным солнцем, за содержимым домика сосредоточенно наблюдали приблизившиеся психи.

Синяк поставил Сашу на пол, замахал на дураков, чтобы сгнули.

— Идите к своему папе! Жирный, уводи бойцов! У нас секс-час.

Саша решительно задернула занавеску.

Дорога к родне была припорошена навозом. Илья Иванович начал потихоньку завозить с колхозных полей к

себе удобрение. Заслышав машину, он бойко прихромал к воротам. В разрозненном костюме, синем бабьем линиялом берете, калошах. Без зубов.

— Дядил! Ты прям, как миротворец, — крикнул Синяк. — Голубой берет!..

— Стронг привез? — строго поинтересовался Илья Иванович.

Синяк не успел ответить — из машины вышла Саша.

— Кто это? — осевшим голосом спросил Илья Иванович.

— Баба моя, — скромно сказал Синяк, обнимая старика.

Илья Иванович, забыв отозваться на родственные чувства, вытянув шею, с трудом выглядывал над плечом Синяка.

— Врешь... Небось, Романова.

— Вашего, — кивнула, улыбаясь, Саша и представилась: — Саша.

— Илья, — хрипло пискнул старик, выкручиваясь из объятий племянника. — Пойду зубы надену.

— Ма-ма-ня! — заорал Синяк. — Выдь на Волгу!.. Воспомоществование привез! Стипендию нояберскую!..

Синяк каждый месяц давал матери пятьдесят долларов, которые она, разумеется, не тратила, прятала, а куда? Илья Иванович не ведал и нервничал по этому поводу: помрет раньше его, где искать? И поинтересоваться не мог, ибо они с сестрой не разговаривали уже лет двадцать. А все из-за того, что Илья отписал свои пол-избы бабе из деревни Гюмино, которую, несмотря на преклонный возраст и клюку с хромотой, еще навещал.

— Мама-аня! — надрывался Синяк.

— За-анятая! — отозвался низкий голос, женский вариант Синякова баса. — Чеснок сажу!.. Роман тут?! Пусть в среду зайдет — стюдию дам.

— Ишь ты! — ехидно покачал головой Илья Иванович. — Ни брату, ни сыну родному рожи не кажет, а чужому человеку — стюдию! Озорница!

— Спасибо, Татьяна Ивановна! — отозвался Роман. — Приду обязательно. — И повернулся к Синяку: — Ты бы ей психов моих арендовал. От давления.

— Не помрет! — Синяк таскал из багажника ящики: питва разнокалиберная, мясо, овощи. В Белоруссии по дешевке купил матери наперед копченого мяса, картошки отменной, сала... — У нас порода долгая. Прожиточный минимум 85 лет. Они с Ильей еще друг друга переживут, да, дядил?!

Илья Иванович не отвечал, он вил восьмерки вокруг Саши. Рассматривал, дотрагивался, как бы невзначай. Саша посмеивалась над липучим стариком, поворачивалась с поднятыми, как на рентгене, руками.

Роман потихоньку слинял на Синяковой машине на станцию встречать Таню.

Танечка прибыла точно по расписанию — такая же красивая, беззубая, с косою и, слава Богу, не в спецодежде, а в длинном джинсовом сарафане на водолазку. Барышня-крестьянка. Привезла целую сумку чеснока.

— Матушки! Чего ж я с ним делать буду? — обрадовался Роман.

— Посадим. Ты же говорил, что чеснок маринованный любишь.

Роман взял у нее сумку, поцеловал.

— Работу прогуливаешь? Ленину изменяешь?

Таня засмеялась.

— Заявление подала по собственному желанию.

Роман распахнул перед ней дверь.

— А ты говорил, у тебя «Жигули».

— Это не моя, Синяк пригнал.

— А я замуж выхожу, — сказала Таня, — за капитана.

— «Выйти замуж за капитана» — фильм такой был. Плохой.

— Он хороший. Мы учились вместе. Он на Севере служил, теперь у нас в пожарной части. Непьющий. Правда, очень упрямый, во всем видит плохие происки... Леночка не против.

— А как у нее дела?

— Ой! Сочинение писала «Моя любимая книга». Про «Квартеронку» Майн Рида. Учительница исправила на

«Квартирантку». И брюки «кlesh» с мягким знаком сделала. Теперь хочет ей четверку вывести, а Леночке ведь медаль нужна. — И без перехода мягко продолжила: — Мы с тобой последний раз, наверное, видимся. .

— Второй, — сказал Роман и добавил: — Не так уж и мало — большинство людей вообще ни разу не видятся... За всю жизнь.

Илья Иванович за время отсутствия Романа индоселезня ликвидировал. Сейчас он стоял возле избы в окровавленном фартуке и поливал безголовую птицу кипятком, чтобы легче отходило перо.

Таня вышла из машины.

— Одна другой краше... — недовольно пробормотал старик, вытирая руки о фартук. — Где ж вы их чеканите?

— Здравствуйте, дедушка, — улыбнулась Таня.

— Какой я тебе дедушка! — обиделся старик, снова принимаясь за птицу, без рукопожатия, однако беззубость углядел. — Самой-то передок вон весь выставили... Выпивать-то будем когда? — пробурчал он в сторону племянника. — Вторую неделю не пивши...

— Не вижу логики, дядил, — сказал Синяк. — Чего ж ты всю помойку яблоками завалил? Нагнал бы вина отменного и пил-сосал с Францем втихаря. Он жив, кстати?

— Куда он денется! Молоко должен принести. А с яблоками я мудохаться не буду! — он вырвал последнее неподдающееся перо из бывшего врага. — Пропади они пропадом!..

Синяк принял оципанную птицу и на пне в момент изрубил ее на шашлычные доли.

— Все гот-о-ово-о! — протяжно крикнула Саша с крыльца. — Только рюмок не нашла!..

— Бокалы ставь! — грубо велел старик.

— Чашки, — перевел Синяк.

— У меня свой стопарь. — Илья Иванович достал из кармана неровно обрезанный коричневый конус из пластмассовой пивной бутылки с завернутой розовой крышкой.

— Дядил, ты мне все-таки объясни, — перебил его Синяк, — зачем ты яблони сажал, если яблоки тебе не нужны?

— Все сажали, — огрызнулся старик и, почувствовав, что сдает позиции, набросился на Романа: — Ты бороду то сброй... Тебя по телевизору показывали: уж ты чухался-чесался... То ли пьяный, не поймешь, то ли вшивый?..

— Точняк, — охотно подтвердил Сияк. — Жирный весной по телику бухой вылез.

— «Поле чудес» начинается! — известила Саша. — Кто хочет?

Сияк нацепил разрозненого индюка на шампуры и полил, чтобы не обгорал, зацветшей водой из бочки.

— Ты бы лучше из лужи, — посоветовал Роман, озираясь. — А куда, интересно, Таня подевалась? Татиа-ана!

— А вон она! — сказал Сияк навстречу Тане. Таня вымыла руки в той самой бочке, из которой Сияк поливал шашлык.

— Я с бабушкой вашей познакомилась, — сообщила она. — Нормальная такая приличная бабушка. На Володю очень похожа. Рома, мы чеснок посадили на твою долю. Бабушка за ним будет ухаживать. А я приеду на следующий год, замариную, как ты любишь.

Роман посмотрел на нее и сказал негромко, чтобы никто не услышал:

— Куда ты приедешь? Ты замуж поедешь. Забыла?

Таня кивнула.

— Забыла... А я недавно купила Сличенко и по-новому поняла Есенина...

— «Поле чудес» началось! — опять крикнула Саша.

Таня переполошилась, побежала в избу.

— Сегодня у Якубовича одна женщина должна быть из наших, из Владимира!

— ...а Солженицына вашего правильно сняли с передач, — договаривал свое Илья Иванович, хромя в избу, — только воду мутит. Земство ему подавай!

— Дядил! — крикнул со двора Сияк в открытое окно. — Развлекай женщин, ты ж у нас жентельмен, голубые яйца! Расскажи про Бухенвальд.

Синяк размахивал в полумраке над мангалом чем-то круглым, только искры во все стороны летели. Конечно, крышкой от помойного ведра, благо, никто не видит.

Дважды просить старика не пришлось. Он сдержанно и потому очень правдоподобно поведал, как был в Бухенвальде. Стоял у газовых печей, где жарили коммунистов и комиссаров. Бывало, увидит коммуниста в очереди, хват за рукав и в сторону — спасал...

Синяк принес огнедышащие шампуры, раздал. Дядьке дал кусок с гузкой врага. И теперь разливал всем драгоценное мозельское вино «Либефраумильх». Старик, на всякий случай скривившись, нюхнул янтарное вино, поднес ко рту и выпил, страдальчески морщась. Синяк, на свою беду, перевел название вина:

— «Молоко любимой женщины».

— Тьфу, ё! — Илья Иванович плюнул на пол. — Дай хлеба зажевать.

Посмеялись, поели. Роман посмотрел на часы, подошел к телевизору.

— Я на секундочку переключу, что хоть в столице?..

— Жирный, ты мне весь тост смял, — занял Синяк.

— А ты говори, не обращай внимания. — Роман пассатижами вертел обглодок переключателя программ черного белого «Рекорда».

— Александре Михеевне Джабар, моей возлюбленной женщине вручается, — торжественно заговорил, поднимаясь, Синяк, — чтобы она ножки свои царственные зазря не била, не топтала, вручается... как было обещано... под цвет глаз... автомобиль. Бляу!

Саша потеряла дыхание.

— Не ругайся при женщинах, — одернул Илья Иванович племянника.

— «Бляу» — голубой по-немецки, — пояснил Роман, не находя нужную программу. — Михеевне фарт.

— Чего? — подался вперед старик. — Машину подарил?..

— Жирный! — разбушевался Синяк. — Подари Танечке тоже что-нибудь для рифмы! В смысле, для симметрии.

— Дарю! — не оборачиваясь, покорно сказал Роман. — Металлокерамику дарю! На свадьбу! Обоя зуба!

— Горько! — заорал Синяк и полез целоваться, сначала к Саше, потом к Тане. — Правильно, Танечка, Жирный — пацан деловой. Две свадьбы в одну сольем!... Экономия...

— Да я не за Романа выхожу, — внесла ясность Таня. — Я за одноклассника. Капитана. Его Костя звать.

Саша, с трудом восстановившая дыхание от первого сообщения, снова его потеряла.

— Ты замуж выходишь?..

— Тихо! — скомандовал Роман, докрутившись до звука. На экране председатель Фонда защиты гласности Алексей Симонов, больше похожий на своего отца, чем сам Константин Михайлович, сообщил, что минувшей ночью был арестован известный поэт и правозащитник, уже отсидевший восемь лет в советских лагерях за инакомыслие, Бошор Сурали.

— ...Бошор пытался найти защиту для себя и своей семьи в нашей обновленной стране. Однако наши чиновники оказали посильную помощь восточным коллегам; не оказав помощь Бошору. — Алексей Симонов, набывчившись, недобро посмотрел в кинокамеру и, боднув седой красивой башкой прямой эфир, картаво добавил: — Верной дорогой идете, товарищи!

На экране его сменила фотография Бошора, еще с двумя ушами, смеющегося во время получения международной премии в Союзе журналистов.

— Убьют, — Роман выключил телевизор, обернулся и долгим затычным взглядом обозрел Сашу.

— Чего уставился? — огрызнулась та. — Я почти все документы уже оформила... А, кстати, где ему в Москве жить, интересное дело, со всеми детьми? У тебя квартира есть!

— Засохни, — прошипел сквозь зубы Синяк.

Роман задумчиво почесывал бороду.

— Значит, Сикин меня не понял, — пробормотал он. — Моя вина...

— Ладно, Жирный, не журишь, — успокоил Синяк, — будешь теперь пережевывать всю дорогу. Поедешь, прове-

ришь, жить он у меня может. Я у Сашки. А Сикин?.. Сикин свое огребет. Покат пойдет — он к стенке прислонится.

Но Роман мысленно был уже далеко; зачесался, как всегда, когда волновался. Верный признак — что-то отчудит. Скорее всего в Москву ломанется.

— Жирный, очнись! — окликнул его Синяк. — Ну, все, Жирный, проехали...

Илья Иванович недовольно ерзал на стуле. Ну, посадили и посадили. Если бы хоть русского!..

— Меня вот тоже сажали, — проворчал он. — Ну и что теперь, усраться?

— Тебя посадили, потому что ты листовое железо во время войны спер, — рассекретил дядькин «Бухенвальд» Синяк. — Там тебе и ногу повредило. Тебя тюрьма, можно сказать, от войны спасла. А тут другой расклад.

— Это-то да, — справедливости ради согласился Илья Иванович, — Михеевна, а вот скажи мне по совести: ты бы дала черножопому? Только по совести!

— Ну-у... За большие деньги... Мэй би...

— Ты мне, Михеевна, такую же, как самая, привези. Я денег дам. У меня много есть.

— Ты ж не черножопый, дядил, — опешил Синяк.

— А зачем издалека возить, — небрежно сказала Саша, поправляя макияж, испорченный Синяковым целованием, и, не меняя позы, спросила: — Танюш, подработать не хочешь?

— Чего-о? — Синяк угрожающе повернулся к Саше.

— Тихо, — сказал Роман и снова включил телевизор, теперь уже первую программу.

— ...от приступа острой сердечной недостаточности в следственной тюрьме скоростно скончался поэт Бюшор Сурали, — будничным голосом сообщил диктор.

— Убили, — пробормотал Роман.

Синяк зачем-то встал, налил себе водки, выпил и выдохнул, уставившись в Сашу:

— Пшла на хер вон отсюда!

Проснулся Синяк рано и не по своему почину — до крови прикусил все еще не обношенными зубами щеку изнут-

ри. Замычал и встал с закрытыми глазами — с целью опохмелиться. Побрел к холодильнику. Нащупал бутылку, хлебнул и выплюнул: уксус. Теперь уж проснулся окончательно.

Светало. Дядька храпел. Синяк припомнил вчерашнее, пока фильм не прервался. Лучше и не вспоминать, мрак, хоть вешайся. Он вышел на крыльцо. В Юмнине кричала единственная на всю округу корова Франца Казимировича — отставного пастуха, собутыльника Ильи Ивановича. Корове небойко поддакнул ранний петух.

Синяк нашел в багажнике «Беловежскую горькую», вспомнил, что подарил машину, захлопнул шумно багажник и отрегулировал «Беловежской» разлаженный и опаленный уксусом организм. Закусил почерневшим индюшиным крылом и, зябко поеживаясь, отошел к забору, расстегивая на ходу джинсы. В косе жужжал застрявший жук, но даже подумать о том, чтобы его вынуть, Синяк был не в силах. Выжить бы.

В дальнем конце огорода в утреннем полумраке над грядой что-то темнело.

— Ма-ам! — негромко прокричал туда Синяк, чтобы не будить гостей, и поплелся в огород.

Татьяна Ивановна не отвечала. Она стояла на коленях, сложившись в поясе, уткнув голову в подернутую ледком гряду. Из-под косынки у нее торчал здоровенный лопух — «от давления». Под животом был маленький бочонок, который она подкатывала для облегчения полевых работ.

Синяк, почуяв неладное, замер с поднятой ногой.

— Мам!..

Опять не ответила Татьяна Ивановна, ибо еще вчера отдала Богу душу, так и простояв дугой на огороде всю ночь, пока они женились-разводились...

Синяк стоял над мертвой матерью и плакал.

Первым он разбудил Илью Ивановича. Тот пощупал у сестры отсутствующий пульс, затем вместе с племянником безуспешно попытался разогнуть покойную, как будто это могло ее оживить.

— Вот оно, наше хозяйство, — проворчал он, — так буквой «зю» на бочке в рай и поехала...

Он принес рулетку, обмерил сестру и похромал в сарай готовить негабаритный гроб.

Синяк разбудил Романа. Роман тихо выбрался из постели, чтобы не разбудить Таню, еще не вышедшую замуж и посему спавшую вместе с ним.

Они вышли из дома.

— Чего так рано? — зевая, спросил Роман, отходя в сторону.

— Журчи потише, — попросил Синяк. — Мамаля умерла.

На тот свет Татьяна Ивановна в силу дурного характера перебиралась не по-людски. Смерть свою она в ближайšie годы не планировала, и Синяку пришлось ехать в Рузу за халатом большого размера.

Хоронить себя в Москве она категорически запретила еще загодя. В церковь ее, перегнутую пополам, поставить не решились.

Пока старик ладил гроб, а Синяк с Романом ездили в Рузу за халатом и медсестрой, подтвердившей смерть, Татьяна Ивановна лежала, закрывая со всех сторон пожухлой помидорной ботвой, как всегда недовольная сыном, с открытыми глазами. Таня обмыла покойницу и облачила ее в привезенный халат. Глаза покойницы от возни запылились и стали не такими грозными. Таня протерла их мокрым полотенцем. Наконец чудной гроб с Татьяной Ивановной через окно просунули в дом и поставили на стол постоять.

Могилу вырыли «сикилеты».

— В Москву правильно решили не везти, — одобрил Илья Иванович племянника. — Куда такую тяжесть, а вот в церкви хоть чуток все ж таки поддержать неплохо.

Синяк с Романом в паре с «сикилетами» понесли гроб в церковь.

Церковь была на запоре до воскресенья, когда батюшка приезжал на службу. Роман, вспомнив религию, возмутился.

— Сегодня же суббота, всенощная. Батюшка должен быть.

Но оказалось, в связи с малочисленностью прихожан субботнюю всенощную молодой батюшка перенес на воскресенье и служил вместе с обедней для экономии времени.

Роман разошелся.

— Церква не театр! — орал он. — Богу служат, а не зрителям! Из Христа кормушку сделали!..

Но, как выяснилось из разъяснений сторожа, по благословению архиерея службы можно спарить. А у батюшки в Москве и без того много дел.

Назад Татьяну Ивановну не повезли, тем более что кладбище с готовой могилой недалеко от церкви. Закопали под вечер. На обратном пути купили в круглосуточном магазинчике при церкви все для поминок. Продавцом был церковный сторож.

К невеликим поминкам подоспел Франц Казимирович из Гюмнина, принес Татьяне Ивановне молоко.

— Ишь ты! — озадачился он, узнав новость. — А куда ж мне теперь молоко девать, интересное дело?

Он пристроил велосипед к забору, закинул голову назад, чтобы тяжелые, как у Вия, веки не мешали зрению, и вошел на участок.

— У меня вот тоже... Лидка старшая, в прошлом... нет, в позапрошлом годе чего отчудила... Смеялась все смеялась, потом купила ножик в Тучкове за тридцать тысяч. Сначала в Дорохово поехала, там ножей не было, там санитарный день был, она в Тучкове купила. Помылась, попарилась и зарезала себе живот, как японский янычар. А insult у вашей, это нормально. Это излияние мозгов. Бывает.

8

Ванька прыгнул выше головы. Разоблачительную справку на Сикина он рисовать не стал. Он сделал несоизмеримо больше: свел Романа с демократическим генералом ГБ, тем самым, с которым некогда познакомился на телевиде-

нии в совместной передаче и который ознакомил Ивана с его досье.

Генерал, разочаровавшись в наступившей демократии, порывлся в своей генеалогии и добыл там одну шестнадцатую еврейской крови по материнской линии, как у Ленина. И теперь в скором времени отбывал на историческую родину.

— Озлобленный я становлюсь на нашу интеллигенцию. Думал, она бойчее, — сказал генерал, вручая Роману справку, подтверждающую сотрудничество Юрия Владимировича Сикина с органами.

Роман обомлел от подарка. В совершенно секретной паршивенькой бумажонке размером с телефонный счет с пометой наверху от руки «Спец. учет» сообщалось, когда, где и кем был привлечен для сотрудничества Юрий Владимирович Сикин. Семейное положение, партийность, адрес... С каким отделом сотрудничает. Привлечен в качестве доверенного лица. Пункт 12. Псевдоним... Прочерк. Стало быть, не удостоился.

Роман сделал большую ксерокопию — с машинописную страницу — и помчался в КСП.

Саша была на месте.

— Сикин у себя? — спросил Роман как можно спокойнее.

— В Египте, — не отрываясь от компьютера, ответила она.

— У тебя кнопки есть?

Саша подвинула к нему коробочку с кнопками. Роман взял несколько штук.

Перед кабинетом Сурова он остановился, достал справку, разглядел ее и прищипил на дверь директора. Отошел, поглядел: неплохо... Сзади раздался легкий звон колокольчика. Роман обернулся: по коридору навстречу ему шла колесом девочка, а может, и мальчик. Нет, девочка — косички развевались, на одной болтался колокольчик.

— Пол-то грязный, — восхищенно пробормотал Роман, уступая дорогу.

Девочка крутанулась еще раз и пошла на руках.

— Потом вымою, — напряженным баском ответила она снизу. — А где дядя Юра?

— Идет тропой Моисея.

Девочка остановилась.

— А тетя Саша?

— Тетя Саша здесь.

Девочка развернулась и на руках пошла обратно. Роман, заинтересовавшись, побрел следом.

Девочка перевернулась и открыла дверь к Саше.

— Здравствуйте.

— Здравствуй, — ответила Саша. — Иди, вымой руки.

Девочке было лет двенадцать.

Она вытерла руки о джинсы и направилась в уборную. Уши у нее были заткнуты магнитофонными затычками.

Роман, сам не зная зачем, ждал ее возвращения. Интересно все-таки. Не каждый день по учреждениям дети на руках ходят.

— Роман Львович, — представился он, когда девочка вернулась. — Беллетрист.

— Аня, — девочка подала ему руку, на которой было написано «Анюта».

— Тушью? — заинтересовался Роман, разглядывая ее запястье.

— Спичками, — сказала девочка и свободной рукой потянулась за яблоком на столе. На этой руке было написано «Тоша».

— Кавалер? — поинтересовался Роман.

— Гребем вместе, — кивнула Аня, впиваясь в яблоко. — Он на каноэ, я на байдарке. У меня и по акробатике первый разряд.

Роман выудил у нее из уха музыкальную затычку и, подув на нее, вставил в свое.

— Кто поет?

— Курт Кобейн. Он уже не поет. Он самоубился. А дядя Юра скоро приедет?

Саша, не отвечая, резко сунула Ане телефонную трубку.

— Позови Фируз по-английски.

Аня выплюнула недожеванное яблоко в ладонь, отдала Роману, взяла трубку, сказала: «хай» и заверещала по-английски. Потом вдруг поскуचनाла, сказала вяло «ба-ай» и положила трубку.

— Он говорит: Фируз не хочет подходить.

Саша отвернулась к окну. Роман заметил, как у нее влажно заблестели глаза.

— А ты знаешь, Анна, — сказал Роман, — у тебя нос, как у целлулоидного пупса, из двух половинок склеен, посредине — рубезочка, шовчик...

Аня подошла к зеркалу, провела по носу пальцем.

— Очень некрасиво?

— Наоборот. Ни у кого нет, а у тебя есть. Ты кто дяде Юре будешь?

— Племянница.

— И какие трудности, племянница?

Аня достала из рюкзака, исколотого разнокалиберными булавками, лист бумаги. На нем было написано:

«Уважаемые преподаватели! Если вас не затруднит, сообщите два-три слова об успехах (неуспехах) моей племянницы Анны Куликовой. Заранее благодарен. Юрий Суоров».

Внизу от руки было написано: «Хорошо», кроме литературы». И подпись.

— Та-ак... Читать, значит, не любишь? А «Сказку о царе Салтане» кто написал? — спросил Роман.

— Кто-то на «Ш», кажется...

Роман погладил ее по голове.

— Умница. Пушкин. А кто эту бумагу придумал, дядя Юра?

Аня кивнула.

— Если нет троек, он мне двадцать долларов дает.

— А если есть?

— Все равно дает.

— Лихо пристроилась, — усмехнулся Роман. — Любишь дядю?

— Ага... — Аня закинула рюкзачок за спину. — До свидания.

— Стоп. — Роман достал бумажник с меховым кенгуром.
— Можно погладить? — Девочка потянулась к бумажнику.

— Можно. Это друган мой школьный подарил. Синяк Владимир. Не слыхала? А зря. — Роман протянул девочке деньги. — На. Держи двадцать долларов и гребни дальше. Тоше привет.

Девочка не поняла, что случилось, но проворно цапнула денежку и исчезла.

Зазвонил телефон, Саша подняла трубку.

— Але!.. Фируз?.. Саламат!.. Хэлло!.. Йес.. — И вдруг перешла на русский: — Родила?.. Ты?!.. Кого?!.. От кого?!..

Роман подошел к двери. Да, ключ от «ауди» забыл отдать. Он положил ключ на стол перед Сашей.

— Документы в бардачке.

Несмотря на еще не оконченный рабочий день в Клубе, уборщица уже занялась мытьем полов. Сейчас она полы не мыла. Она стояла возле кабинета Сурова, с интересом изучая справку на двери.

Аня расположилась у окна, рассматривая на свет деньги.

— Не фальшивые? — спросил Роман.

— Вроде нет.

Роман подошел к уборщице.

— Впечатляет?

— Интересно, — кивнула женщина. В прошлой жизни она была кандидатом филологии. — Натюрель или самопал?

— Обижаете, — развел руками Роман. — Из архивной пучины.

Аня сложила доллары, сунула их в задний карман джинсов и направилась к выходу.

— А чего это вы читаете? — поинтересовалась она, проходя мимо кабинета Сурова.

Все было нелепо. КСП, убитый в тюрьме Бошор, справка на двери казенного дятла и эта племянница, ходящая на руках. Синяк, спьяну подаривший машину напар-

нице дятла, и ее дочка Фируз, сдуру, по всей вероятности, разродившаяся в раскаленном Кувейте, на другом краю земли... Да-а... Линять отсюда надо, а не выводить дерьмо на чистую воду.

— Да так, ничего, бумажка, — ответил Роман. Ане и сорвал справку с двери, остались лишь уголки под кнопками.

— Все, — подмигнул он уборщице. — Хватит. Шутка такой. Писатели шуткуют.

Уборщица улыбнулась.

Роман начал возиться с кнопками, в кармане у него что-то запищало.

— У вас, наверное, пейджер сигналит? — вопросительно взглянула на Романа уборщица.

— Точно, — кивнул Роман.

Надпись гласила: «Жирный, верни пейджер. Мы с Ивановом едем к тебе рисовать на стене Эдика из Музея Ленина. Подваливай быстрее. Синяк».

— Без меня, гады, не жрите! — заорал Роман в пейджер, как в телефонную трубку.

Во дворе он догнал Аню.

— Ты до метра? Пошли вместе. Кстати, Аня, запомни: «метра» говорить нельзя, нужно — метро.

ИТОГО

Невеселая сложилась в результате книжечка, но ведь и жизнь на Руси не мюзик-холл.

А раз уж пошел доверительный разговор, еще вот какие интимные подробности.

Жив Меркулов Владимир Иванович (Петр Иванович Васин — «Тахана мерказит»). В Израиль он, правда, не съездил, зато по-прежнему строит огромный несбыточный дом, собирается осенью справлять семидесятилетие. Сватья его Елена Васильевна Образцова (в повести Мерцалова Ирина Васильевна) по-прежнему поет, здравствует, молодеет. Невзорванный (на самом деле) Пашка вдруг очутился от детского сна и обжорства — похудел на пятьдесят килограмм!!! Заканчивает армейскую службу в Израиле, хочет быть чего-то менеджером. Сестра его Мири стала очаровательной барышней, с братом больше не дерется. К сожалению, оба так и не выучили русский язык и повесть про себя знают только в пересказе. Меня по-прежнему зовут по фамилии, полагая, что это имя. Родители Пашки — мои друзья — не огорчились, что я «взорвал» их сына, и более того, даже гордятся повестью. Если Пашка ведет себя с их точки зрения недостойно, пугают его: «Смотри, сволочь, вот Каледин придет».

Мои немолодые возлюбленные из «Ку-ку» умерли, зато благоденствует немка Габи, сменившая к автору с годами гнев на милость.

Спервоначалу, после публикации повести, мои бывшие коллеги во главе с Воробьем решили, что «Смирненное кладбище» — художественный донос, и пригрозили мне суровой карой. Протрезвев, посетив одноименный спектакль в «Современнике», просмотрев фильм, приговор отменили. Александр Сергеевич Воробьев (Лешка Воробей) жив. Он не до смерти зарезал соседа, отсидел семь лет и сейчас тихо трудится на одном из московских кладбищ.

Со стройбатовцами сложнее, след их затерялся. Кто сел, кто самоубился, а кто определился в бандиты. Дружбы выпускники моего стройбата не поддерживают.

Интересно другое, Главный цензор Главлита Солодин тормозил не только мой «Стройбат», но и все, что хотело свободно двигаться. И место его в новые времена, казалось бы, у параша. Ан нет — сразу же после расформирования Главлита он был назначен... министром информации.

Вокруг «Подлодки золотой» не все так хорошо, как хотелось бы, но некоторые подвижки есть: удалось согнать с насиженного места генерального директора русского ПЕН-центра Стабникова В.Ю. (Сикин-Суров в повести). Он убыл, как сам выразился, «в другие сферы».

Мой школьный товарищ Синяк умер от жестокого хмеля и удара бревном по животу. Так же, как и в жизни, убивают его и в моей не вошедшей в эту книгу повести «Берлин, Париж и «Вшивая рота». Оживил я его на время плавания «золотой посуды», ибо без него не срастался текст.

Художник-документалист Ванька Серов (по понятным причинам настоящую фамилию сказать не могу) жив, здоров. Ему надоела Москва, и он с женой, продав квартиру и выдав дочку замуж, переселился куда-то за Петушки. Но не по печальному маршруту Венедикта Ерофеева, а гораздо благополучнее: купил дом в деревне, хочет строить баню. Короче, опрощается. Зовет в гости.

Аня Куликова, в действительности моя племянница, спасая в повести названного «дядю» Сикина от неминуемого позора, стала полувзрослой красавицей, на руках, к сожалению, уже не ходит, зато учится в институте туристскому и гостиничному бизнесу, а также торгует в ГУМе французской косметикой.

Опальные поэты — туркмен Ширали Нурмурадов и таджик Бозор Собир — совокупленный прототип Бошора Сурали, оба с ушами, слава Богу, живы, получили политические убежища: Ширали — в Швеции, Бозор — в Америке...

СОДЕРЖАНИЕ

5	Как я начал вышивать
7	Тахана мерказит
77	Ку-ку
143	Смирненное кладбище
223	Стройбат
293	На подлодке золотой
378	Итого

Редактор
Выпускающий редактор
Художественный редактор
Технолог
Оператор компьютерной верстки
П. корректоры

О. С. Ляуэр
Е. Д. Шубина
С. А. Виноградова
С. С. Басипова
А. В. Волков
В. А. Жечков, С. Ф. Лисовский

Издательская лицензия № 065676
от 13 февраля 1998 года
Налоговая льгота – общероссийский
классификатор продукции
ОК-005-93, том 2: 953000 – книги, брошюры
Подписано в печать 27.09.2001
Формат 60х90/16
Гарнитура Баскервиль
Печать офсетная. Объем 19 печ. л.
Тираж 3 000 экз. Изд. № 1736
Заказ № 2479

Отпечатано во ФГУП ИПК
«Ульяновский Дом печати»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

Издательство «ВАГРИУС».
129090, Москва, ул. Троицкая, 7/1.
Электронная почта (E-Mail) –
vagrius@vagrius.com

Получить подробную информацию о
наших книгах и планах, авторах и
художниках, истории издательства,
ознакомиться с фрагментами книг,
высказать свои пожелания и задать
интересующие Вас вопросы Вы
сможете, посетив сайт издательства в
сети Интернет:
<http://www.vagrius.ru>

Оптовая торговля:
«Клуб 36'6»

г. Москва, Рязанский пер., д. 3, этаж 3
Тел./факс: (095) 265-13-05,
267-29-69, 267-28-33, 261-24-55
E-mail: club366@aha.ru
Книги почтой:
107078, г. Москва, а/я 245 «Клуб 36'6»
г. Москва, пр-д Черепановых, д. 56
Тел.: (095) 156-86-70
Факс: (095) 154-30-40
Электронная почта: shop@kvest.com

Фирменный магазин
«36'6 – Книжный двор»

(мелкооптовая и розничная торговля):

Проезд: Рязанский пер., д. 3, этаж 1
Тел.: (095) 265-86-56, 265-81-93

Интернет-магазин:

<http://www.24x7.ru>

ISBN 5-264-00715-2




ВЫПУСТИЛО КНИГИ
СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ПРОЗАИКОВ

Василий Аксенов	Александр Генис
<i>Негатив положительного героя</i>	<i>Довлатов и окрестности</i>
Петр Алешковский	Анатолий Гладилин
Владимир Чигринцев;	<i>Большой беговой день</i>
<i>Седьмой чемоданчик</i>	Анастасия Гостева
Юз Алешковский	<i>Притон просветленных</i>
<i>Карусель, Кенгуру и Руру</i>	Юрий Давыдов
Чабуа Амирэджиби	<i>Жемчужины Филда; Бестселлер</i>
<i>Гора Мборгали</i>	Николай Дежнев
Сергей Бабаян	<i>В концертном исполнении</i>
<i>Моя вина</i>	Нодар Джин
Григорий Бакланов	<i>Учитель</i>
<i>Мой генерал</i>	Андрей Дмитриев
Андрей Битов	<i>Закрытая книга</i>
<i>Неизбежность ненаписанного</i>	Борис Екимов
Юрий Буйда	<i>Пиночет</i>
<i>Скорее облако, чем птица</i>	Венедикт Ерофеев
Дмитрий Быков	<i>Записки психопата</i>
<i>Оправдание</i>	Фазиль Искандер
Борис Васильев	<i>Софичка</i>
<i>Утоли моя печали...;</i>	Александр Кабаков
<i>Картежник и бретер, игрок и дуэлянт;</i>	<i>Последний герой; Самозванец;</i>
<i>Глухомань</i>	<i>Путешествие экстраполятора;</i>
Михаил Веллер	<i>Считается побед</i>
<i>А вот те шиш!</i>	Николай Климонтович
Марина Вишневецкая	<i>Последняя газета</i>
<i>Вышел месяц из тумана</i>	Юрий Коваль
Владимир Войнович	<i>Суер-Выер</i>
<i>Запах шоколада;</i>	Андрей Лазарчук
<i>Сказки для взрослых</i>	<i>Все, способные держать оружие</i>
Эдуард Володарский	Эдуард Лимонов
<i>Дневник самоубийцы</i>	<i>316, пункт "В"</i>
Андрей Волос	Дмитрий Липскеров
<i>Недвижимость</i>	<i>Сорок лет Чанчжоз;</i>
	<i>Последний сон разума</i>

ВЫПУСТИЛО КНИГИ
СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ПРОЗАИКОВ

Владимир Маканин	Ирина Ратушинская
<i>Андеграунд, или</i>	<i>Одесситы</i>
<i>Герой нашего времени;</i>	Владимир Рецепттер
<i>Удавшийся рассказ о любви</i>	<i>Ностальгия по Японии</i>
Юрий Малецкий	Дина Рубина
<i>Привет из Калифорнии</i>	<i>Высокая вода венецианцев</i>
Юрий Мамлеев	Анатолий Рыбаков
<i>Черное зеркало</i>	<i>Тяжелый песок</i>
Наталья Медведева	Ольга Славникова
<i>А у них была страсть...</i>	<i>Стрекоза, увеличенная</i>
Митьки	<i>до размеров собаки</i>
<i>Про заек</i>	Алексей Слаповский
Анатолий Найман	<i>День денег</i>
<i>Славный конец бесславных поколений;</i>	Александр Солженицын
<i>Любовный интерес</i>	<i>На краю</i>
Олег Павлов	Людмила Улицкая
<i>Казенная сказка</i>	<i>Медея и ее дети;</i>
Виктор Пелевин	<i>Веселые похороны</i>
<i>Жизнь насекомых; Generation "П"</i>	Борис Хазанов
Юрий Петкевич	<i>Город и сны</i>
<i>Явление ангела</i>	Марк Харитонов
Людмила Петрушевская	<i>Возвращение ниоткуда</i>
<i>Дом девушек; Настоящие сказки;</i>	Михаил Шишкин
<i>Найди меня, сон</i>	<i>Взятие Измаила,</i>
Евгений Попов	<i>Всех ожидает одна ночь</i>
<i>Подлинная история</i>	Галина Щербакова
<i>"Зеленых музыкантов"</i>	<i>Год Алены;</i>
Вячеслав Пьецух	<i>Подробности мелких чувств;</i>
<i>Государственное дитя</i>	<i>Моление о Еве</i>
Эдвард Радзинский	Асар Эппель
<i>...и сделалась кровь</i>	<i>Шампиньон моей жизни</i>
Валентин Распутин	Сергей Юрский
<i>В ту же землю</i>	<i>Содержимое ящика</i>
	Борис Ямпольский
	<i>Арбат, режимная улица</i>

И з д а т е л ь с т в о  В А Г Р И У С

ГОТОВЯТСЯ К ИЗДАНИЮ

Аркадий Арканов
Рукописи возвращаются

Николай Кононов
Магический бестиарий

Людмила Петрушевская
В садах других возможностей

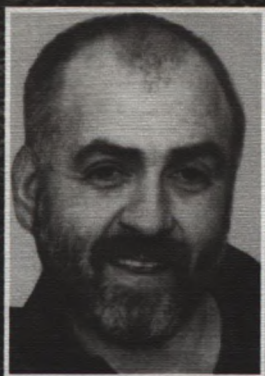
Валерий Попов
Очаровательное захолустье

Екатерина Садур
Обочина желаний

Нина Садур
И тогда я прыгну

Дарья Симонова
Половецкие пляски

Александр Хургин
Ночной ковбой



Когда советские критики ознакомились с первым произведением Сергея Каледина «Смирненное кладбище», они назвали автора «гробокопателем», не подозревая, что в этом есть доля правды — одно время писатель работал могильщиком. Написанная в 1979 году, повесть вышла в конце 80-х, но даже и в это «мягкое» время произвела эффект разорвавшейся бомбы. Судьбу «Смирненного кладбища» разделил и «Стройбат», также написанный на автобиографическом материале. Военная цензура дважды запрещала публикацию повести — ведь там впервые было рассказано о нечеловеческих условиях службы солдат, руками которых создавались десятки дорог и заводов. Герой новой повести С. Каледина «Тахана мерказит» — Петр Иванович Васин, волею судеб приехавший на «землю обетованную». Поначалу ему, мужику из российской глубинки, в Израиле все кажется чужим и странным. Но «наш человек» нигде не пропадет, и скоро Петр Иванович обзавелся массой любопытных знакомых... Повесть получилась очень веселой и очень печальной, ибо в конце ее Васин погибает, став случайной жертвой террориста...

РУБ

98.00

В А Г Р И У С